

ШПАКОВСКИЙ А.

ЗАПИСКИ СТАРОГО КАЗАКА

Около двадцати лет, по воле судьбы, мне пришлось прослужить в рядах Кавказского линейного казачьего войска, в сословие которого я был зачислен, по особому Высочайшему повелению, навсегда с потомством. Я начал боевое свое поприще в конной № 14-го казачьей батарее, урядником.

Много привелось мне в этот период времени видеть, испытать и перенести на Кавказе в боевой, тогда тяжелой и тревожной, службе, переходя со своим взводом из одного отряда в другой, то в большой и в малой Кабарде, то в обеих Чечнях, на лезгинской линии, или в северном и в южном Дагестане, наконец на правом фланге, за Кубанью, на передовой лабинской линии. Во 2-й войсковой бригаде, в которой я водворился на жительство, мне пришлось нести должности то станичного атамана, то командира сотен, конно-ракетных команд и пластунов; был я и воинским начальником, и заседателем полкового правления; всего же долее находился в должности адъютанта управлений начальника лабинской линии и командира 2-й бригады Кавказского линейного казачьего войска.

Начав службу урядником, мне пришлось ознакомиться не поверхностно, а вполне с жизнью и бытом линейного казака. Пришлось волей-неволей примениться к новым порядкам и освоиться со строем общественной войсковой жизни; одним словом, пришлось быть вполне казаком.

При поступлении на службу мне было 18-19 лет, а в этом возрасте человек без большого труда переменяет ту обстановку, в которой он рос и воспитывался, на совершенно новую и более суровую; поэтому мне не было особенно трудно из гардемарина превратиться в гусарского юнкера, и затем в истого казака. [188]

Живя теперь семейным, мирным гражданином, частенько переношусь мысленно в прошлое былое, невозвратное, в котором было немало прекрасного и обаятельного, грустного, тревожного и подчас страшного. Вспоминаю лихих начальников и товарищей, преждевременно отправленных пулей, кинжалом или шашкой горца в лоно Авраама, их славные боевые подвиги, в которых не раз приходилась и для меня доля, и частенько раздумываю о завидной смерти не от горячки, лихорадки или старческой немощи. Но время идет, изглаживая в памяти много славных, доблестных дел и отдельных эпизодов из подвигов линейцев, совершенных до покорения Кавказа.

Случай позволил мне быть очевидцем или соучастником многих таких подвигов и эпизодов и, как живая легенда, я постараюсь правдиво, не мудрствуя, передать, как сумею, на память родным и друзьям, о нашем кавказском былом.

Теперь я жалею, что не вел дневника (впрочем, тогда это дело было почти невозможное); потому в рассказе я не буду придерживаться хронологического порядка, а буду говорить, как придется вспомнить, сохраняя, по возможности, имена личностей и мест, где, что и как случилось.

Чтобы выяснить то положение и состояние лабинской линии, в котором она находилась в период с своего основания до конца пятидесятых годов, необходимо сказать, насколько припомню, о тогдашнем делении военных границ Кавказа.

Кавказ делился на три главные части: правый и левый фланги и центр.

Правый фланг начинался от станицы Васюринской, границы Черноморского войска, шел через станицу Усть-Лабинскую (1-й кавказской бригады), при устье реки Лабы, затем вверх по ее течению, берущему начало в ледниках двуглавого исполина кавказского хребта Эльбруса, или Шат-горы, и охватывал пространство до Георгиевска (Кавказские минеральные воды, Пятигорск, Эсентуки, Железноводск и Кисловодск, составляли свою кордонную линию и относились уже более к центру). Центр заключал в себе обе Кабарды, часть военно-грузинской дороги, обе Чечни и поворачивал на город Моздок, от которого до Каспийского Моря, по рекам Тереку, Сунже, и Сулаку, простирался левый фланг.

Все эти три отдела совмещали в себе, станицы, посты, укрепления и крепости, пограничные с землями непокорных горских племен. Дагестан же и Закавказье составляли особые отделы. [189]

Так как большая часть записок моих будет относиться к правому флангу, то нелишним считаю ознакомить читателей с бывшею лабинской линиею и с прежним ее значением, как главного, передового пункта, подвергавшегося частым вторжениям хищников и служившего сборным местом отрядов, назначавшихся для наказания их.

До 1841 года за Кубанью было лишь несколько укреплений и постов, по рекам Уруп, Чамлыку, Окарту, Тегеням и Большому Зеленчугу. Эти передовые пункты, по своей раскинутости и незначительности гарнизона, мало приносили пользы, и партии, минуя их, прорывались за Кубань для грабежа.

Обстоятельство это вызвало необходимость занять реку Лабу населением станиц, как более сильным и крепким оплотом. Сделать это заселение было поручено начальнику кубанской линии, генералу Зассу, который, произведя рекогносцировку для определения пунктов более удобных как в климатическом, так и стратегическом отношениях, поручил в том же году адъютанту своему, ротмистру П. А. Волкову, водворить на новой линии четыре станицы, построить между ними посты и сформировать Лабинский казачий полк. Для населения станиц вызывались охотники, назначались по жребию и высылались люди буйные и сектаторы из всех казачьих войск, тогда населявших Кавказ.

Размещение первых станиц — Урупской, Вознесенской, Чамлыкской и Лабинской — промежуточными постами и укреплениями в шахматном порядке, на реках Уруп, Чамлык и Лабе, принесло большую пользу впоследствии и оказалось лучшею мерою, как для взаимной поддержки, так и для отстранения вторжений хищников в наши пределы.

С 1841 по 1858 год населено было более 25 станиц, и сформирована из них 2-я лабинская бригада, в составе трех конных полков и одного пешего батальона. Укрепления с постами заняли не только реку Белую, впадающую в Кубань, но перешли за нее к Черным горам, а берега рек Окарта, обеих Тегеней и других, заселились станицами. Состав жителей, водворенных на линии и слившихся в одно целое, был очень разнообразен; надо было много усилий и воли для того, чтобы устроить и удержать эту массу, состоявшую из старых кавказских сектаторов, персидских выходцев, татар, армян, грузинов, малороссиян, донцов и разного люда со всей матушки-России. Постоянное ожидание [190] тревоги и стычки с неприятелем выработали из этой массы воинственно-удалое, стойкое и храброе население.

Лабинская линия, начиная от станицы Усть-Лабинской, шла вверх по Лабе на расстоянии более 300 верст и замыкалась почти перпендикулярно зеленчугской линией, заключающейся в трех укреплениях: Надеждинском, Бельширском и Зеленчугском.

Пространство за этими линиями, до снежного хребта, занимали горские племена: карачаевцы, дженгет и даур габлы, баговцы, тамовцы, беглые кабардинцы, бесленеевцы, махосевцы, темиргоевцы, натухаевцы, абадзехи и другие более малочисленные, тянувшиеся к перевалу за хребет на восточный берег Черного моря, к сильным племенам убухов и шапсугов.

I.

ПЛАСТУНЫ: УРЯДНИКИ ДЕМАНОВ И ЗИМОВИН И КАЗАК КОРОТКОВ.

(Пластун, производное слово от пласт — лежать пластом)

Черноморское казачье войско, образовавшееся из остатков Запорожской Сечи и части присоединившихся к ним некрасовцев, сохранило много прежних своих учреждений и обычаев.

В составе войска рельефно выдается пластун. Эта личность могла сформироваться и выработаться именно в то только время, когда казачеству, окруженному со всех сторон врагами, приходилось быть всегда настороже. Пластуны, сформировавшись в команды или товарищества, были твердым оплотом против внезапных покушений и хитрости неприятеля.

Пластун Сечи, изменяя наименование запорожца на черноморца, не изменился в своем характере: как на порогах Днепра, так и на Кубани он та же личность, только с новой обстановкой. С учреждением лабинской линии, была сформирована на ней и особая команда пластунов, не по назначению, а из охотников, которым впоследствии предоставлено было право избирать в свой состав товарищей из строевых и нестроевых казаков. Для поощрения им предоставлялась, по призовому праву, вся добыча в личную собственность. На линии было более сотни пластунов. В обязанность им вменялось охранение границ от внезапных вторжений легких партий, разведывание намерений горцев, осмотр и изучение местности и дорог, так чтобы они могли быть верными проводниками нашим отрядам: это были главные обязанности пластуна; затем вредить хищникам и истреблять их насколько [191] хватит сил, возможности и умения, о чем, впрочем, напоминать ему не было нужды.

Эта охота за людьми привилась вполне к подготовленной натуре казака и обратилась в страсть.

Пластуны отправлялись в горы больше пешие, чем конные, и редко вместе более 5-6 человек. Случалось, и не раз, что пластун пропадал по месяцу и более, исключался без вести пропавшим и вдруг являлся цел и невредим с добычей. На спрос: «где пропадал?» всегда один ответ: «да у татарвы», а что делал, это уже его тайна, да того, с кем он тягался на смерть.

Триумвират таких друзей, Деманов, Зимовин и Коротков, отправились, осенью в сорок шестом году, к вершинам Лабы, конными. С неделю дела их шли удачно, но как молодцы ни хитрили, следы их были открыты, и человек 30 горцев окружили их близ Черных гор. С полудня до ночи хлопцы отбивались, пользуясь превосходной позицией; на помощь рассчитывать не приходилось — и волей-неволей нужно было что-нибудь придумать; к тому же у двоих кони были убиты. Думали крепкую думу друзья; но куда ни кинь, так клин — и вот, наконец, решили: оставили коней с перерубленными шеями, чтоб не достался татарве, и, пользуясь темнотою, свернули бурки, надели на них папахи и усадили

чучел к разведенному костру; сами же как тати сползли в ущелье и бродом по ручью пробрались между стережимими их горцами. Дело было отважное и трудное, но вполне удалось.

Отойдя верст с десяток, друзья неожиданно наткнулись на конный табун голов в полсотню, стережимый двумя горцами. Подкрасться и покончить с сторожами было нетрудно, так как оба они спали, и проснулись уже прямо в раю Магомета, куда отправили их кинжалы друзей-охотников до поживы. На другой день к вечеру, без особых приключений, табун был пригнан в станицу.

Утром начался торг конями — и за ведро, много за два, водки, можно было выменять трех или четырех лошадей. Из этого можно заключить, какую ценность имела водка, и какую пропорцию относительно ее составляла опасность, да и самая жизнь для пластуна.

Перепившись и, как водится, наткнувшись по-приятельски по несколько раз на дружный кулак, помирившись и снова подравшись, друзья, дня через три или четыре, опять отправились в горы на новую опасность и за новой добычей. Мы не раз еще [192] встретимся с этими оригинальными личностями, составившими себе имя и известность как у своих, так и у горцев своими подвигами.

II.

ПРИКАЗНЫЙ ЛЕДОВСКОЙ.

Дежурство, т.е. личный конвой начальника линии и командира 2-й бригады состоял из ста казаков 1-го, 2-го и 3-го конных лабинских полков. Эта команда находилась почти бессменно в штабной Лабинской станице; людей из нее отпускали на побывки в свои станицы только частями. В начале пятидесятых годов, осенью, пять казаков 2-го Лабинского полка 6-й сотни, станицы Константиновской, с приказным Ледовским, были отпущены на несколько дней из конвоя домой. Пробыв там дозволенное время и, как водится, угостившись на прощанье, они, в веселом расположении выехали из станицы перед вечером, рассчитывая добраться до Лабинской не совсем поздно, так как от реки Чамлыка, на которой стоит их станица, по прямой дороге приходилось проехать какие-нибудь 18 верст. До выезда их в станице не было получено ни цыдул (Цыдула, известие посылаемое с нарочными по всей линии о принятии меры осторожности, о прекращении сообщений, кроме конных, между станицами, а также полевых работ. Открытое предписание было разрешение всего, что воспрещалось цыдулой), извещающих о сборе или вторжении хищников для набега, ни сведений от пластунов о том же, а потому ехали они спустя рукава. Казак, подгулявший более других, вздумал даже поджигитовать, т.е. показать свою наездническую удаль: выхватил из чехла винтовку, намереваясь стрелять; но Ледовской, зная что за фальшивую тревогу плоха разделка, как старший распорядился отнять оружие и связать руки несвоевременно разжигитовавшемуся дурню. Таким образом они доехали благополучно до кургана, верстах в трех от станицы Лабинской, где был постоянно дневной пикет, который уже съехал, но секреты еще не залегли. В это время из опушки леса над Лабой, откуда нельзя было ожидать своих, показались одновременно три партии человек по десяти и более, быстро несшихся и старавшихся окружить казаков, причем один горец так опередил товарищей, что почти налетел на команду, но поплатился за то жизнью: подгулявший джигит-казак, которому, при виде опасности, развязали руки и отдали винтовку, ловким выстрелом ссадил его с коня. В этот же момент остальные [193] линейцы быстро спешили около убитого, сбатовали коней и, составя таким образом живую ограду, положили на седла винтовки и условились стрелять не разом, а через ружье, и стрелять только почти в упор, так как быстро наступавшая

темнота не давала возможности целить в даль. Вероятно боязнь произвести тревогу в станице удержала хищников сделать залп, а вслед затем броситься, по обыкновению, в шашки. Надеясь на свою численность, они окружили казаков и, как было видно, начали совещаться; затем несколько человек, спешась, начали подползать; но казаки не дремали: винтовки на седлах противу конных, винтовки севших на землю промеж коней для ползунов, держали горцев на благородном расстоянии. Казаки, зная по опыту, что заряд в дуле то же что голова на плечах, не открывали огня. Разбойничья натура не выдержала: горцы, выстрелив, бросились в шашки, но меткие выстрелы положили трех. Выстрелы эти, за сильным ветром дувшим от станицы, не были ясно услышаны часовым на вышке (Вышка есть крытая на столбах беседка, высота которой, смотря по местности, бывает более 40 аршин. Вышка имеет для входа лестницу, и во время тревоги на флагштоке часовым, после выстрела из ружья, выкидывается днем флаг, а ночью красный фонарь); сверкание же их казак считал за огоньки на горевших кучах навоза, который, как ни к чему непригодный, у нас вывозится и сожигается за станицей. Несколько раз возобновляли горцы по частям нападения, но безуспешно, платя всякий раз жизнью или раной товарища. Убитые лошади казаков составили бруствер, из-за которого лицейцы производили верный и меткий огонь. Видя упорство казаков, которые как будто были заколдованы от пуль, горцы сделали залп и бросились в шашки всюю уже массой. Этот звук, более ясный, и постоянное сверкание огня на одном и том же месте заставили вышкового поднять тревогу: сверкнул выстрел, и едва затих его гул, как поднятый красный фонарь на флагштоке вышки встрепенул станичников. Между тем молодцам нашим приходилось уже плохо; но в это время орудийный выстрел с станичной батареи и осветившаяся местность от факелов несущейся дежурной сотни заставили разбойников спасаться врассыпную. Команды, выскакавшие на тревогу, бросились преследовать бегущих, стараясь сбить их на те броды, где были секреты и натянутые тенетные путы (Путы эти состояли из длинных веревок, скрученных из лык, привязывались в несколько рядов по деревьям, между которыми вилась дорожка к броду, на разной высоте, и оставались на земле до тревоги или переправы неприятеля на нашу сторону; тогда они подымались и привязывались туго секретными к противоположным деревьям, что составляло в несколько рядов барьеры. Неприятель, особенно в темноте, налетал на них и падал с конем). [194]

Дело вполне удалось и 23 тела остались в наших руках. Казаки выдержавшие более часа далеко неравный бой, были все поранены, так что каждый имел от трех до семи ран.

За этот подвиг приказный Ледовской произведен в урядники, а товарищи его получили награды по 5 рублей. Они все выздоровели и один только не мог поступить в строй: так его покалечили. Долго горцы дивились, передавая друг другу эту схватку, и, по своему верованию в заговоры, не хотели допустить мысли, чтобы казаки перераненные так долго держались. Название «шайтан-казук», то есть «чорт-казак», было самым лестным прозвищем Ледовского и товарищей.

III.

КАЗАЧКА СЕРДЮКОВА.

Анна Сердюкова была девка лет 16, рослая, стройная, красивая, и не один станичник и наш брат благородье засматривались на черные огненные ее очи и роскошную русую косу; но строгий суровый казак-отец держал ее, как говорится, в ежовых рукавицах, так что баловаться не приходилось, несмотря на вообще далеко нестрогую нравственность станичного прекрасного пола. Подвиг, совершенный Анной, выходит из ряда обыкновенных и рельефно выставляет те условия, среди которых вырабатывались

характеры, вращалась жизнь и воспитание казачества. Осенью, в сороковых годах, в праздничный день, вечером, Анна, с братом своим, мальчуганом лет одиннадцати, отправилась за станицу на свой огород, крайний к Лабе, и, как следует доброй хозяйке, до того углубилась в уборку овощей, что только крик брата заставил ее оглянуться, и можно представить ужас девки, когда она увидела пятерых горцев, бежавших к ней. Страх отнял язык; но ноги еще не изменили и она бросилась бежать по хайвану (Хайван — главная дорожка в виноградных садах и огородах, которые, быв обнесены плетнем из хвороста, имеют всегда густо наложенный терновник наверху, в защиту от воришек, и, служа своего рода укреплениями, не раз спасали жизнь) к калитке, между тем как казаченок с своим ружьем, забившись в кусты под забором, выглядывал сурком на эволюции сестры и джигитов, боясь не только выстрелить, но и крикнуть. [195]

Ужас окрылил Анну: она не бежала, а летела, и хищник, ближе за ней гнавшийся, боясь поднять тревогу и упустить лакомую добычу, на бегу бросил кинжал в свою жертву; но судьба не дала ей погибнуть: кинжал, пролетев с боку, воткнулся далеко впереди Анны. Приостановясь инстинктивно, она схватила упавший кинжал, держа его острием назад. В это время горец набежал и охватил ее, но, каким случаем, она сама не помнит, кинжал прошел на вылет через живот хищника, повалившегося вместе с ней. Страх придал силы вырваться из этих далеко немилых объятий, но сбил с толку, и Анна бросилась не к калитке, а на забор, и, ухватясь за него руками, хотела перескочить... В этот момент, другой набежавший горец шашкой рассек ей зад (хотя и не глубоко). Боль и страх ошеломили бедняжку... она опомнилась уже за Лабой, сидя за седлом, привязанная ремнем к поясу всадника. Их было пятеро, убитого же везли перекинутым через седло. Отъехав на значительное расстояние от Лабы, горцы остановились на ночлег, развели костер и...

За-полночь горцы улеглись спать, и так были уверены в своей безопасности, считая себя уже дома, что не только не связали пленницы, но даже не очередились караулом: эта-та оплошность спасла Анну, лежавшую возле жоака.

Великолепная кавказская ночь, озаренная полной луной и окружающая тишина, нарушаемая только сильным храпом джигитов, успокоили душевное волнение пленницы. Невзирая на физическое изнеможение, она тихо приподнялась, с намерением бежать; страх быть настигнутой дал ей решимость: придерживая одной рукой ножны, казачка вынула кинжал у жоака и мгновенно всадила ему в горло. Горец не успел даже пикнуть, так был силен и ловок удар.

Вид крови ошелолил и обезумил девку: она схватила шашку и пистолет убитого, принялась рубить спавших и прежде, чем они пришли в себя и поняли в чем дело, еще трое поплатились жизнью. Последний успевший вскочить на ноги, видя кровь и убитых товарищей, под влиянием панического страха, так потерялся, что бросился как угорелый бежать; но остервенившаяся Анна погналась за ним и выстрел положил и его на месте.

Не раздумывая долго, Анна обобрала, по обычаю горцев и казачества, оружие и одежду с убитых, переловила стреноженных коней, побатовала их и, навьючив их трофеями своей победы и мести, утром добралась до Лабы, выше станицы верстах в семи [196] или восьми. И не странно ли, что, совершив уже столько, она не решилась переплыть Лабу, так ей страшна показалась переправа через ревущую и летящую стрелой реку. С противоположного берега пикет увидел татарина с конями (Анна переделалась и вооружилась горцем), и полагая встретить мирного или бежавшего от своих горца, переправился и доставил казачку с трофеями в станицу.

Недолго хворала Анна в госпитале, хотя следы остались на всегда. Вскоре появилась она снова между станичниками, такая же бойкая и говорливая, как была прежде. Золотая медаль за храбрость на георгиевской ленте, пожизненный пенсион в 50 рублей сер., и золотой браслет — подарок главнокомандующего, князя Воронцова, были наградами ее необыкновенного подвига.

IV.

УРЯДНИК ПОДРЕЗОВ.

Самая личность Подрезова была уже замечательна: высокий, широкоплечий, стройный детина с геркулесовской силой, с бородой по пояс, с сверкающими плутовскими глазами и сатанинской улыбкой, не сходящей с губ, невольно внушал почтение горцам, ценившим выше всего силу, отвагу и плутовство на все руки, а этими великолепными качествами Подрезов обладал вполне. Давно уже он произведен в офицеры, но имя, данное уряднику, «Гришка Отрепьев», осталось за ним. Закоснелый раскольник по вере, он был далеко не безукоризнен в своих деяниях: обмануть, надуть — лишь бы от этого была какая-нибудь личная польза — составляли девиз молодца. Но нередко и в этой мрачной трущобе проявлялись светлые точки рыцарства, великодушия и даже честности, хотя и на свой лад.

В первые годы населения линии, во время весенней пахоты, горцы, вопреки своего обыкновения тревожить казаков сборами партий в разных пунктах, как бы затихли. Эта ложная тишина если не совсем обманула, то успокоила тогда еще не осмотревшуюся горсть станичников, и расчет хищников, казалось, был верен: они хотели обмануть и усыпить бдительность тишиной, потом напасть на несколько пунктов разом и разъединить и без того незначительные силы к обороне. Вышло, однако, не так: лабинцы доказали, что не посрамят старого казачества. Партия хищников, до тысячи человек, неожиданно напала на плуги [197] пахавших жителей станицы Лабинской, тогда как другие сильные партии угрожали станице Вознесенской (Надо заметить, что горцы правого фланга, как более зажиточные, никогда не собирались в набег пешие, разве какой-нибудь шальной «бей-гуш», т.е. бедняк, пускался очертя голову. Дрались вообще более стойко и отважно, нежели чеченцы, мечиновцы, тавлинцы и лезгины, как на открытой, так и на лесистой и пересеченной местности, и по шавдонам, т.е. болотам, что можно отнести к исправному вооружению и доброму коню, и к более или менее сытому желудку. Самое управление их не было так деспотично, как управление Шамиля: князя, и впоследствии шейх Амин-Магомет, пользовались только влиянием на умы, а не на благосостояние горцев, и последние необязаны были кормить пришлецов, как чеченцы, дагестанцев — мюридов Шамиля). Завязался одиночный, отчаянный бой и две местные сотни, несмотря на бешеную храбрость, были подавлены численностью неприятеля: прежде чем пехота подросла в дело, много уже было побито и захвачено в плен (по большей части женщин и детей). Среди этой свалки, Подрезов дрался как сущий черт, и его пример увлекал не одного; но все усилия оставались тщетны и наши лишились человек с полсотни, хотя и горцы, в свою очередь, понесли значительную потерю. Захватив добычу, стали они отступать, гоня скот и несколько пленников, под прикрытием лучших своих джигитов. Наш Гриша не выдержал: надел папах на винтовку и, подняв ее, махнул над головой в знак вызова на единоборство (Этот маневр всегда употреблялся охотниками подражаться с обеих сторон, подобно тому, как рыцари бросали перчатки); навстречу ему выскакал джигит — как теперь вижу, в белом папахе, белом чекмене и на белом коне (Абреки и джигиты, как давшие зарок ничего не страшиться, имели по преимуществу белую одежду и коня, чтобы и ночью быть более заметными). Быстро слетелись враги, сверкнули выстрелы и оба коня грянули наземь. Вскочили на ноги противники, бросились друг на друга с шашками, но, по незнанию правил фехтования, рубка с плеча не могла долго

длиться: шашка Подрезова разлетелась в куски, а у горца вылетела из рук. Одно только мгновение стояли ошеломленные враги и, как бы сговорясь, бросились друга на друга. Вой с обеих сторон, казалось, притих; внимание всех сосредоточилось на борющихся — и, по-истине, было чем полюбоваться. Сила была на стороне Подрезова, ловкость на стороне горца. Несколько мгновений они крутились по земле, и то тот, то другой был наверху — и все втихомолку; наконец Подрезов, окровавленный, поднялся на ноги с кинжалом по рукоять в боку; горец же не поднялся. Раздался с обеих сторон гик (Ги, гик, пронзительный звук, заменяющий ура, употреблялся и нашими, и горцами), закипела борьба за тело горца (Тела горцы стараются привести домой семейству убитого, а иначе аульные кунаки, т.е. товарищи-друзья, обязаны содержать до возраста семейство, убитого: это адат, т.е. старинный обычай; вот причина, почему горец нередко сам скорей ляжет мертвым, чем оставит тело в руках врага), [199] задавленного руками Подрезова, который, в это время, отошел назад, осторожно вынул кинжал, захватил лапами бешмета раны и, шатаясь, поплелся в станицу. Придя к нашему медику Золотареву, Подрезов упробил перевязать рану на дому, не соглашаясь никак лечь в госпиталь. Раны были зашиты и забинтованы. Подрезов успел-таки у экономки доктора выпросить стакан водки и, вместо того чтобы лечь в постель, поймал шлявшуюся по станице лошадь убитого казака, сел на нее и, выскакав за станицу, примкнул к своим, верст за семь от станицы перестреливавшимся с горцами. Горцы думали уже торжествовать удачный набег, но горько разочаровались. Все резервы укреплений, постов и станиц Чамлыкской и Урупской линии, переправясь ниже места боя за Лабу, и следуя один за другим по сакме (Сакма — след на траве или песке, по которому всякий почти казак скажет наверное, сколько коней или людей прошло и давно ли), пробрались незамеченными наперерез неприятеля, залегли на пересеченной местности и дружным ударом отбили скот, пленных и жестоко отплатили за смерть товарищей: более 30 тел было притащено в станицу.

Примкнув к своим, как уже сказано, Подрезов ухитрился выстрелом убить еще горца, поймал его лошадь и тогда уже, изнеможенный и растревоживший раны, этот дуб повалился с коня. Через два с небольшим месяца Подрезов выписался из госпиталя и опять был на коне, как будто ничего и не случилось особенного, кроме получения Георгиевского креста, которым был награжден за это дело.

В том же году, в декабре, в сильную метель, как лучшую помощницу для набега, Подрезову приказано было отправиться, с десятком пластунов, за реку Белую для пригона высмотренного у махашевцев конного табуна, голов в 500; для охранения, при возвращении с табуном команды, было выслано по две сотни казаков на реки Чахрак, Ходз и Псефир и три сотни со взводом конной артиллерии и конно-ракетной командой на реку Белую. Почти перед светом, отряд, пройдя до 80 верст, по «одометру» (Почти у всех орудий на Кавказе к колесу прикреплялся одометр, аппарат, определяющий оборотом колеса пройденное пространство), остановился в лесу, на правом берегу Белой. Под прикрытием с берега, Подрезов, с пластунами и с несколькими казаками, переправился за Белую, несмотря на сильно шедший по реке лед. Долго [200] шли пластуны по приметам, но, буквально ослепляемые метелью, сбились с пути, и только случай наткнул их неожиданно на другой табун, голов в двести. Посоветовавшись между собою что делать, решили захватить хотя эту добычу. При обходе табуна, они наткнулись на пятерых спавших в кустах табунщиков. Вмиг четверых не стало, но пятый успел ускользнуть в чащу леса и поднял своим криком и выстрелами тревогу. Это обстоятельство заставило казаков поторопиться: быстро обежав табун скученный непогодой, накиннув на удачу арканы и надев взятые с собой уздечки, они повскакали на коней. Казачья натура живо узнает достоинство скакуна — и вот один пластун пустился вскачь к Белой; несколько выстрелов и гик шарахнули испуганный табун, а он понесся, как ураган, за скакавшим впереди, подгоняемый криком и выстрелами скакавших по бокам и сзади. Белая, видная

со взгорья, уже сверкала близко; но недалеко неслись и сторожевые из аула горцы: надо было позадержать их, и для того Подрезов сам-пят повернули коней навстречу. Горцы, ослепляемые метелью прямо в лицо и озадаченные несколькими удачными выстрелами, не зная силы врага, остановились; этого только и было нужно: табун с раскоку ринулся за вожаком прямо с кручи, и страшная пена от взбрызг бешеной реки точно пыль поднялась и закрыла берег. Еще полчаса — и кони пронеслись, минуя отряд, как бешеные, прядая, фыркая и обгоняя друг друга, преследуемые гиком и выстрелами казаков, заменивших пластунов; вместе с ними и Подрезов, несмотря на принятую ванну в Белой, продолжал охранять табун, до самой станицы скача без седла. Метель с рассветом поунылась и летучий отряд не торопясь отступал от Белой, изредка посылая гранату, ядро или ракету собиравшимся со всех сторон горцам. Соединившись с сотнями на бродах Псефира и Ходза, казаки на Чахраке вдруг перешли из отступного в наступательный порядок, и быстрой атакой отбросили гнавшихся в пустой след табуна горцев. К закату солнца отряд возвратился в станицу с незначительной потерей. Из 170 отбитых коней, за наделом пластунов и частей отряда, а также за заменой выбывших из строя в набеге, 70 штук было отправлено в барантовую комиссию (В крепости Прочный Окоп, при штабе начальника фланга, была учреждена барантовая комиссия, распорядившаяся продажей отбитого у горцев скота).

Подрезов с товарищами, получив свой пай, крепко сердились на метель сбившую их с пути к большому табуну, [300] ускользнувшему от рук по ее милости. Да оно и логично: опасность ведь та же, а добыча была бы вдвое.

V.

НАБЕГ.

Начальник фланга, генерал Ковалевский, в 1847 году сосредоточил значительный отряд, для наказания горцев, в станице Некрасовской (Некрасовская станица поселена в семи верстах от Усть-Лабинской, близ бывшего укрепленного стана некрасовцев, остатки которого еще сохранились: видны раскаты, батареи, потерны, ров и вал). Я, с пятидесятью пластунами, был послан вперед разведать и высмотреть, где и как было бы удобнее нанести более вреда.

Отправясь с вечера, мы наткнулись на горские коши: бляение овец и мычанье рогатого скота удостоверили нас в огромном их количестве. Оставя наблюдать за кошами пятерых и послав в станицу двух, мы пошли дальше к долинам Черных гор, как главному центру населения, и, чтобы скрыть свою сакму, высмотреть большее пространство, а также сбить с толку неприятеля, разделились на партии от 3-6 человек, условясь сойтись на месте нашего разделения. С собой я взял троих и, несмотря на свое командирство, охотно подчинился опытности пластуна Мандруйки. Первые лучи солнца, показавшиеся из-за гор, осветили нас на кладбище (Большая часть азиатских кладбищ расположены на высотах или на отдельных курганах; памятники из грубо-обделанного камня становятся торчмя; сверх того, над убитыми в делах ставятся шесты в роде значков и бунчуков). По совету Мандруйки, чтобы лучше высмотреть окрестности аула, я пополз со всеми предосторожностями на вершину и уже хотел подняться из-за камня на ноги, как встретился лицом к лицу с горцем, не менее меня удивленным и озадаченным. Зная по опыту, что «який-сь не схоменувся, тии пропаде, як бисова католицка вира, та ще и га», (В переводе: кто не спохватится вовремя, тот пропадет, как католик, да еще и хуже) (это не раз говорил незабвенный мой наставник в пластуnstве и верный преданный слуга в доме, Мандруйко), я быстро вскочил на ноги и ударом шашки раздробил башку своему партнеру в игру на жизнь и смерть. Отобрав оружие убитого и высмотрев местность, я

присоединился к товарищам, возвратившимся к кладбищу со своих более или менее удачных рекогносцировок. [201]

Поговоря и посоветовавшись, мы уже думали пробраться лесом и за доброго ума возвратиться ко своим на сборный пункт, как вдруг услышали вдали за собой орудийные выстрелы и ружейную перепалку. Раздумывать было нечего, да и плохо было оставаться на встревоженной местности; мы пустились в перегонку, прислушиваясь к выстрелам нашего отряда, и, пробежав по лесной трощобе, высунув языки не хуже гончих, верст 5-6, попали в самую жаркую свалку в ауле, занятом уже нашими. Кругом горящие копны сена и хлебов, зарево и глухая частая пальба с аккомпаниментом орудий, сказали сами за себя об участи аулов и кошей, осмотренных по пути пластунами, которые стали жожаками частям отряда посланным для истребления. Отбившись от своих товарищей, я забрался в старую башню или отслуживший минарет и, стоя на лестнице, принялся постреливать из своей пластунской нарезной двустволки по выбегавшим из горевших саклей горцам.

Охота эта надоела мне однако, да и пора была убираться: аул уже почти весь пылал. Только что я начал спускаться по спиральной искалеченной лесенке, как увидел гололобого оборванца, прицелившего снизу в меня винтовку и готового спустить курок, как только появится моя особа в более удобной позе. Дело было дрянь; но, вспомнив уловки Мандруйки, я не потерялся и, подавшись немного назад, с размаху прыгнул прямо на голову горца, ждавшего меня на извороте лесенки. По совести скажу, что этот салто-мортале совершен был мною далеко не по расчету, а безотчетно, инстинктивно, в виду неизбежной гибели. Горец, неожиданный такой нахлобучки, полетел стремглав вместе со мной считать ступеньки и растянулся на полу без чувств. Опомнившись и осмотревшись, поблагодаря Бога, что не вывихнул ничего и не переломал костей, я махнул кинжалом по горлу своего противника, не тронув оружия, опрометью выбежал из этой чертовой обсерватории, и скоро наткнулся на Мандруйку, искавшего меня. Хотя мне было далеко не до смеха, но я не мог удержаться, увидев эту рожу в крови, в порохе, с поднятыми на лоб бровями, разинутым зевом и вытаращенными глазами, когда я, его «серденко», как он называл меня в припадках чувствительности, т.е. когда выпивал чуть не гарнец горилки, предстал перед ним оборванный, замаранный в крови и пыли всех оттенков.

Видя мой смех, этот добряк-зверь успокоился и, обзрев мою персону, сказал: «дурень каже дурень, та и годи»; но, спохватясь, [202] добавил: «а ну-те ходимо». — Скоро мы выбрались за аул! и присоединились к отряду.

Отдав подробный отчет генералу об осмотре нами местности доступной и более скрытой для подступа к аулам, равно и мест, где можно ожидать засад и секретов (все эти пункты я обязан был обозначить на карте глазомерной съемки), я получил позволение отдохнуть до ночи. Обмывшись, перевязав ушибы, выпив и закусив, как следует доброму казаку, я уснул богатырским сном. Часу во-втором ночи меня разбудили. Отряд, разделенный на части, уже готов был к движению; жожаки из горцев (Часто немирные горцы сами сообщали о намерениях в горах, о сборах для нападения и водили отряды для разорения своих же; к этому руководило их не чувство мести, а деньги и подарки даваемые за услуги, на каковой предмет отпускалась довольно значительная сумма начальнику линии. Такого приятеля-жожака всегда брали на глазок: винтовка сзади следовавшего казака была всегда готова ссадить его с коня) и пластунов были в голове каждой колонны. Генерал, объезжая отряд, отдал последние приказания.

В грозной тишине, как нависшая туча урагана, тронулись войска. Нигде ни слова, ни огонька; орудийные и ракетные пальники в чехлах; только глухой гул копыт и колес, как дальний водопад, отдавался в ущельях гор.

Ночь была пасмурная; кругом нависли тучи; резкий ветер гудел в ущельях, гоня перед собою серый туман; казалось, сама природа негодовала за нарушение ее покоя.

Так мы прошли по пересеченной местности верст около двадцати. Главный отряд остановился, а части, назначенные для истребления аулов, кошей и хлебных запасов, в той же тишине тронулись каждая за своим вожакom. Я вел отряд основателя и начальника линии, полковника Волкова, незабвенного нашего героя-рыцаря *sans peur et sans reproche*, уважаемого всеми и грозного врагу. Маскируемые воем ветра, по лесным ущельям мы, незамеченные, приблизились к сильно-укрепленному большому аулу, расположенному в глубокой лесистой балке, и остановились над ней. Как змеи поползли пластуны... весь отряд превратился в слух: удачно ли снимут неприятельские секреты и не ошиблись ли пластуны местами их залога. Гробовая тишина тянулась около часу; но вот долетевший по ветру слабый крик и стон в нескольких местах сказали отряду, что все кончено для караульных. Затем в разных пунктах завывли шакалы (Для передачи условных сигналов пластунами и вообще казаками употреблялось подражание зверям и птицам, и они так искусно это делали, что трудно было различить от настоящих звуков), и по этому [203] сигналу отделились две сотни и повелись вправо и влево, обскákat кругом аул, чтобы отрезать возможность к побегу. Между тем, казаки, спешась и побатовав, передали коней коноводам и, как тени, спустились в балку к палисаду, ожидая сигнала ворваться в аулы. Томительно тянулись минуты ожидания... и только с первым появлением предрассветной зари, взлетела сигнальная ракета; за ней вслед дрогнула окрестность, потрясенная залпом дивизиона орудий — и эхо покатилося перекатом по ущельям. Не одно сердце забилося сильнее в груди; но раздумывать было некогда: прежде чем запыхало несколько саклей от гранат и ракет, казаки были уже за палисадом и началась резня. Испуганные неожиданностью нападения, и притом спросонья, горцы метались как угорелые, однако, скоро опомнясь, дрались и отбивались отчаянно. В час времени все уже было кончено для аула и его жителей, а сколько произошло в этот час отдельных сцен, страшных, отчаянных, ужасных, а иногда и смешных!.. Везде искалеченные трупы, между которыми линеец очень спокойно обирал что попадалось под-руку. Вот тут-то и было много смешного, когда, рискуя жизнью, несколько казаков ссорились до драки за какое-нибудь старое одеяло, в котором больше известных беловатых животных, чем ваты и стежек. Но затихла дробь выстрелов в пылающем ауле; только изредка слышится одиночный звук, раздающийся уже за аулом; прошла резня, и казаки с добычей, сколько достало сил захватить, бросились к коням. Пехота залегла по лесу, началось общее отступление.

Немного собралось горцев из соседних аулов провожать непрошенных гостей; многие аулы понесли почти одну часть с Муртузали.

Возвращаясь на соединение с главным отрядом, мы пожгли все хлеба и сено горцев, пригнали баранту, скот и коней.

Около полудня возвратились все отдельные отряды, приведя более сотни пленных, пригнав до 5,000 баранов и сот пять рогатого скота и лошадей. Развели костры, закипели котлы и явилась круговая чарка-чародейка; пошли разговоры и неизбежная похвальба подвигами; поднялся смех и слышалась подчас ловкая острота над хвастуном или наивным новичком... Только раненые охали да кряхтели в руках эскулапов и их ассистентов.

Набег вполне удался, благодаря употребленной хитрости — [204] собрать за несколько дней, в середине и в верховьях линии, сильные отряды, тем более, что накануне, после сожжения кошей, отряд отошел по направлению вверх по Лабe. Все это вместе обмануло

горцев: они никак не ожидали нападения в низовьях реки, твердо веруя в недоступность своих логовищ, ибо до тех пор никогда не бывало нападения отрядов в направлении от Черных Гор.

Потеря наша была, убитыми и ранеными, человек до сорока, да около сотни лошадей.

Весело возвратились к вечеру в станицу. За удачный набег вышли награды; на долю пластунов назначено было четыре георгиевских креста. Собрались товарищи, посудили, порядили, и как ни хотелось всякому иметь крест, но нужно было выбрать только четверых. счастливых, в числе которых единогласно избрали меня и Мандруйку. Я сам чувствую и сознаю, что не даром добыт мною этот знак отличия военного ордена; вдвое горжусь тем, что он мне приговорен единодушно такими специалистами в деле охоты за горцами, как бывшие пластуны.

VI.

СВАДЬБА В КАБАРДЕ.

В 1846 году, незадолго перед вторжением Шамиля в Кабарду, я стоял со взводом конной казачьей № 14-го батареи на Змейском посту, в нескольких стах саженьях от старого минарета, знакомого всем тем, кто проезжал по военно-грузинской дороге. Все кругом было в волнении, в ожидании скорого прихода Шамиля; слухи об огромном сборище и о решительных его намерениях давно уже ходили между горцами. Кабарда имела тогда слишком слабые резервы, и нам велено было начальником центра, князем Голицыным, быть осторожными и готовыми во всякое время оставить пост и присоединиться к своим, смотря куда будет удобнее и безопаснее. Осторожность эта не прервала, однако, наших частых сношений с кабардинцами и взаимные визиты не прекращались. Поэтому я и сотник С-в не отказались от приглашения князя К...ва на свадьбу его сына. Зная хорошо соседей, мы распорядились на всякий случай и, поручив каждый свою часть надежным помощникам, отправились за Терек в аул князя, предварительно высыпав весь порох из хазырей и натрусок, так как горцы непременно стали бы просить порохи: дать его, [205] значило бы дать на свою голову; отказать же хозяевам, не заслужив их вражды, не было никакой возможности. Приехав в аул только с вестовыми, мы были встречены в кунакской самим князем и введены с почестью в среду гостей. Явились муллы, кади, ефенди, музыканты, жених и его товарищи-поезжане, и все перешли в главную саклю князя. После молитв духовенства и благословения молодых, начался обеденный стол; молодые, окруженные каждый своими друзьями, заняли почетные места. Свадьба молодого князя была во многих обрядностях далека от прежних обычаев и всем тогда резко бросалась в глаза; но старый князь К* всегда был эксцентрик, а его богатство и слава были могущественны по влиянию на народ, и потому никто не смел осудить, а тем больше заметить о нарушении старых обычаев. Гости уселись, кто на тюшеки, т.е. подушки, покрытые коврами, кто просто припал на корточки, где кому пришлось удобнее, соблюдая, впрочем, уважение к старости, роду и заслуге. Все принялись терзать руками и ножами непряхотливую и далеко негастрономическую стряпню горской кухни, запивая аракой и бузой. По окончании обеда, гости порядком развеселились, перешли в кунакскую, где уже ожидали музыканты. Началась пляска: молодая, стройная и прекрасная, как гурия, танцевала лезгинку; молодой, скрестив на груди руки, стоял напротив ее и жадными глазами следил за сладострастными, дикими и грациозными движениями своей возлюбленной. В самом разгаре танца, старик-кабардинец, стоя за мной, сказал, коверкая слова: «тебя любят оба князя; наш адат велит; если хочешь почтить молодых, выстрели из пистолета под ноги молодой; но храни тебя аллах, если ее ранишь». Стреляя порядочно из пистолета и, желая похвастать как знанием приличий, так и

стрельбой, и при том, как небольшой охотник до арака и бузы, находясь совершенно в нормальном состоянии, я выстрелил и пуля впиалась в пол сакли у самых пальцев ног красавицы. Она едва вскрикнула от неожиданности приветов и снова понеслась как серна, стройно и величаво. Оглушительное «джигит Палон» («Молодец Аполлон». Горцы вообще редко называют по фамилии, а более по имени, и меня из Аполлона перекрестили Палоном) были наградой моей ловкости и любезности; дружески кивнул головой и молодой князь; светлая улыбка красавицы мелькнула на роскошных розовых ее губках... Я торжествовал, вполне довольный собой. В это время порядочно подкутивший С-в, выхватив из-за пояса пистолет, вздумал тоже побравировать, но не суждено было тому исполниться, [206] и другая ждала награда уже не его одного, а нас обоих. Пистолет осекся; он взял его левой рукой за ствол, взвел курок и только что стал насыпать на полку порох из обязательно-предложенной натруски, как раздался выстрел. Пистолет выпал из руки оторопевшего С-ва... молодой князь, стоявший прямо против дула, с тихим стоном упал без жизни, не отняв даже рук от груди — пуля попала ему в самое сердце. Отчаянный вопль красавицы, бросившейся на труп мужа, был заглушен ревом сотни пьяных горцев; ненавидевших в душе русских: сверкнули кинжалы и шашки, и плохо бы пришлось обоим нам на этой кровавой тризне, превратившей разгул свадьбы в похороны. Я отступил в угол, выхватил кинжал и шашку, и решился недаром продать жизнь. С-в уже был сбит с ног. Но в это время старый князь К* явился нашим спасителем. Бледный, как смерть, дрожащей рукой он поднял пистолет и видя, что курок на первом взвод, а полка откинута, вмиг сообразил, что у С-ва не было злого умысла убить его сына, а что это дело судьбы, предопределившей его участь. Дрожащим от волнения и слез, но все еще могучим и сильным голосом, старик, гордо и величаво окинув взором собрание, сказал: «аставар» (Остановитесь). Все, как будто под влиянием волшебного жезла, вдруг стихли и обратили глаза на князя. Подойдя к С-ву, он спросил: «давно-ли заряжен был пистолет», и на ответ «более месяца» грустно покачал старик головой. «Через этого человека», сказал он, обращаясь к своим, «великий Бог совершил непреложный закон своего предопределения; старый слежавшийся заряд тлел в стволе, и в нем была смерть моего единственного сына. Не виню неверного в умысле; он был: друг мне и сыну; мы давно ели с одной посуды и не раз доказали взаимную приязнь; но теперь между нами кровь и я один имею право канлы (Кровавая месть за убитого; впрочем коран допускает выкуп крови и взамен жизни можно откупиться презренным металлом). Немного погодя, старик, уже менее твердым и звучным голосом продолжал: «Радость и горе посылаются Богом и святым его пророком. Друзья, я собрал вас разделить радость, но горем я не делюсь и прошу теперь, дайте отцу, матери и молодой вдовице посетовать и не мстите невинным: они рука Провидения, а не злодеи; об них я сам распоряжусь». Понимая по-кабардински я передаю речь почти буквально; она глубоко запала мне в памяти. Гости с угрозой и упреком взглянули на [207] нас, но молча разбрелись по знакомым аула. Радость и веселье княжеской семьи, так трагически кончившиеся от неосторожности подкутившего С-ва, тяжело отозвались во всех сердцах. Как только вышли гости, князь нам велел следовать за собою, и мы, грустные и встревоженные пришли в небольшую новую его саклю. Молча он нас оставил там и запер на замок; но не прошло и часу, как явился его уздень (Уздень — дворянин, вассал князя. Уздени разделяются на степени первую, как наши столбовые дворяне, и на вторую — личные) и ввел наших вестовых и человек десятков горцев, вооруженных с ног до головы. Горцы расположились у дверей, не выпуская винтовок из рук. Это начало поколебало было в нас веру в рыцарство князя; но оставленное оружие у вестовых и у нас давало надежду продать дорого свою жизнь или, по крайней мере, свободу. Можно представить себе, как провели мы время до утра и какие картины рисовало наше услужливое воображение. Утро разрешило задачу: караул был приставлен единственно для ограждения нас от мести и оскорблений аульных жителей и гостей-кабардинцев. Всегда искреннее и глубокое чувство уважения останется у меня к памяти старого князя К*, который не поддавался влиянию чувств мести и ненависти, так свойственных

мусульманскому изуверству и дикой натуре горца. Князь нас сам проводил до переправы на Тереке и, прощаясь, сказал: «Да хранит вас ваш Бог! Я вас не обвиняю в смерти моего сына, и потому отпускаю не как врагов, а как орудие, посланное Богом наказать меня. Советую, перейдите на службу подальше отсюда: будете подальше от мести каждого кабардинца. Пистолет твой, С-в, я не могу возвратить; наш адат велит оружие крови иметь у себя, но вот тебе взамен мой, а тебе, Палон, мой кинжал; прощайте». Сказав это, благородный старик взмахнул нагайкой и как стрела полетел к аулу.

С невыразимой грустью вернулся я на пост и, как ребенок, плакал и молился; но я не стыжусь тех чистых, святых чувств, и многое в немногие мгновения пережила душа, тогда еще неотравленная неверием.

Через два дня Шамиль уже был в Кабарде; крепость Нальчик едва устояла; часть кабардинских аулов присоединились к Шамилю; но слабые силы наши окрепли, закаляясь в опасностях боя настолько, что скопища имама были несколько раз разбиты на Тереке и, наконец, прогнаны с позором генералом Фрейтагом, полковником Ильинским и Левковичем, в отряде которого [208] я дрался близ минарета, с утра до вечера. Будет время, и я расскажу об этом геройском и славном деле полковника Левковича, с его 4-м тенгинским батальоном, где один дрался против более чем десятка горцев.

Благородного старика князя К* не привела судьба мне более видеть: он в числе немногих не изменил и в преданности России, как был неизменен в дружбе.

VII.

БОЕВЫЕ РАКЕТЫ.

По сформировании на правом фланге конно-ракетных казачьих команд, ракеты в первый раз были употреблены в дело при отступлении от разоренных аулов Бек-мирзы и Изиго, жестоко наказанных за измены и разбой начальником лабинской линии В-вым. Грозно и стройно отступал отряд, преследуемый собравшимися толпами горцев, понесших огромную потерю. Массы конных и пеших завели перестрелку, наседая на арьергард и на боковые цепи. Атаки их были отбрасываемы картечью; но раздраженные горцы росли как грибы после дождя и роились как комары перед непогодой, ежечасно увеличиваясь вновь прибывающими. Так прошли теснину Шайтан-агач (Чертова верста, горное название ущелья) квадратных верст, окаймленная с двух сторон густым лесом и высившимися гранитными уступами Черных Гор. Эти вековые гиганты страшно зияли пастями своих ущелий, дымившихся туманом; впереди нас долину замыкала теснина, и чтобы не дать занять ее горцам, В-в приказал отбросить их непременно еще в долине. Усилился артиллерийский огонь в цепи; но горцы, на время отбитые, с новой энергией бросались вновь и вновь, тесня нас и стараясь; во чтобы то ни стало опередить отряд и занять ущелье. В-в, видя, что дело может принять не совсем хороший оборот, велел мне выдвинуться за цепь с моей ракетной командой в полном ее составе (Состав был из 54 станков, 24 на штативе из железа с желобком и 30 деревянных колодок, ползунов) (до этой минуты команда шла в главной колонне, скучая бездействием). Встрепенулись молодцы, обрадованные случаем представиться и заявить о себе гололобым хозяевам, так назойливо угощавшим гостей.

Сомкнувшись в густую колонну, на полных рысях, [209] выдвинулась за цепь команда. Горцы, сгруппировавшись в густые кучи, с удивлением смотрели, что за диво, что сотни три донцев (Донцы стоят вообще во мнении горцев невысоко. Всякий новоприбывший на линию полк нес значительные потери от незнания новичками местности, образа войны и

уловов неприятеля. Для отвращения этого, впоследствии смены делались через три года не полным составом полка, а половинным: это принесло пользу и горцы стали бояться грозных пик. Преимущественно же славились полки у нас на линии Ягодина, а на левом фланге Бакланова — грозы чеченцев) так смело идут в атаку, на массу более чем впятеро сильнейшую. Не торопясь, они готовились хорошенько пугнуть смельчаков, и нам отчетливо было видно, как стрелки, спешась и брося винтовки на погон левой руки, привынули шашки. Еще минута — и колонна наша, пронесаясь в карьер сажен сто, не укорачивая аллюра, развернулась фронтом и, как вкопаная, остановилась, имея невиданные треноги и чурбаны впереди; вслед за командой: «батареи залп!» пятьдесят четыре страшных чудовища, с огненными хвостами и густым дымом, врезались в массы горцев и пошла оглушительная трескотня от разрыва гранат. Не дав опомниться горцам, застанным густой пеленой дыма, я приказал производить пальбу через станок, возвыся угол для верхней действия снаряда, рассчитывая, что после губительного залпа горцы бросятся к лесу. За дымом, застилавшим сборище, мы минут десять не видали что случилось с горцами; но пахнул ветерок, и нам представилась страшная картина истребления: трупы людей и коней валялись на месте скопища, ускокавшего и рассыпавшегося по лесу, не подобрав даже, по обычаю, тел убитых и раненых товарищей. Поблагодарил нас задушевным словом обожаемый, незабвенный наш В-в, и отряд, нетревожимый уже решительно ни одним близким выстрелом, вернули на линию.

Потеря горцев, по словам лазутчиков, была огромна; долго после того они боялись нападать на донцов и, при виде пики, им все мерещилась ужасная ракета. Но и к этому чуду они привыкли, как привыкает человек ко всему; только кони их не мирились с ракетами и как вихрь уносили седоков, не слушая повода.

Вскоре после этого чертова боя, как выражались горцы, породившего тысячи догадок и предположений одно нелепее другого, мирные, уже слышавшие от своих земляков о новой урус-штукке, приехав на сатовку (Сатовка, мелочная торговля горцами с жителям линии, бывала обыкновенно в джуму, т.е. пятницу, чтимую мусульманами как у нас воскресенье. Они привозили свои произведения и менялись на наши зеркальца, иголки, сковороды, соль и разные побрякушки нехитрой работы. Эта ярмарка своего рода сблизая горцев с нами, много влияла на смягчение нравов, и давала хорошую и выгодную торговлю для казаков. Приезжавшие горцы останавливались за станицей и не пускались в нее ни под каким предлогом, и потому были негодяи, которые надували их очень нечестно) и увидя на бывшем в то время [210] практическом ученье часть ракетной команды, действовавшей ракетами, спрашивали меня: «ей, Палон, скажи пожалуй, какой ево тут шайтан: стреляй — нет, пошел есть, стреляй там!» Долго не решались мои кунаки на предложение мое рассмотреть этого зверя; они не только взять в руки ракету, даже и близко опасались подойти к ней, полагая наверное, что шайтан, сидящий в ней, вмиг взвьется и унесет их не в рай к гуриям, а прямо в пекло к черту.

VIII.

КУНАК.

Слово кунак имеет так много оттенков, что передать все тоны и типы куначества почти невозможно. Куначество перешло к казакам, как и многое другое, из обычаев когда-то дружно живших с ними горцев. Кунак — друг, на жизнь и смерть; в более обширном смысле — хороший знакомый, приятель. Кунаки менялись между собою оружием и связь между ними была так крепка, что один из них часто платил своею жизнью за жизнь кунака, или выкупал его, идя сам в кабалу. Тело убитого кунака друг обязан был доставить семье; иначе он обязывался кормить ее до возраста сыновей и замужества

дочерей. Клятву кунаки произносили на коране с обнаженным оружием и тут же им менялись; затем между ними ничего не было заветного и они составляли в двух телах одну душу. Наши кунаки-казаки между собой меняются крестами, как и везде христианские названные крестовые братья; с горцами же кунакство скреплялось словом чести, в роде клятвы, а больше подарками по силам и средствам, причем если кунаку что-либо понравится, кроме заветного, т.е. выговоренного, то непременно должно ему подарить, и он взаимно обязан отдарить на тех же основаниях. Вот тут-то и начинается изнанка в сущности весьма почтенного и благородного обычая. Кто был менее совестлив, тот оставался всегда в барышах, и для, некоторых личностей кунакство было просто промыслом, средством приобретать хорошие вещи взамен дурных и жить на чужой счет. В 1848 году я имел в числе кунаков [211] узденя махошевского племени, Магомет-Билея. Плут большой руки был мой кунак и ловко умел выманить понравившуюся ему вещь. Раз как-то я подарил ему старинные серебряные часы с турецким циферблатом и репетиром. Мой кунак пришел в такой восторг, что, невзирая на всю степенность и солидность своей фигуры, выкидывал разные уморительные штуки, так что мартышка позавидовала бы его искусству; то пожмет репетир, то к уху приложит, то высунет язык, приложит к стеклу и уверяет, что так лучше слышит. Изъявления и заявления дружбы, конечно, при этом он сыпал щедрой рукой, не жалея ни слов, ни объятий...

Вдруг пропал мой кунак и несколько месяцев о нем ни слуху, ни духу. Говорили, что он наделал что-то между своими и бежал в горы во избежание канлы (кровной мести); но я мало верил слухам, зная хорошо, что канлы есть общий щиток мирных горцев при всяких плутнях. Предлог этот употреблялся ими часто для того, чтобы лучше замаскировать свой побег в горы, неминуемым следствием которого было участие в набегах и грабежах у нас на линии или за Кубанью, а потом, извиниться необходимостью по адату, быть в партии, где он если и был на лицо, то не только не поживился чем-либо, а даже ружья не вынимал из чехла. Было время, что все это сходило им с рук. Кунак мой был одним из лучших наших лазутчиков и зарабатывал немало денег своим ремеслом, меняя тайны правоверных на рубли гяуров.

Начальнику линии необходимость военных соображений указала осмотреть верховья обоих Тегеней, и он, с летучим отрядом из нескольких сотен, отправился туда. На линии было по-видимому спокойно, день праздничный и мы, несколько человек офицеров, собрались на охоту за кабаном по рекам Чафраку и Хадзу. Вздумано — сделано. Явилось около сотни охотников-казаков; мы отправились. Погода была восхитительная; как-то особенно легко дышалось свежим горным воздухом, и мы гнали гай за гаем. Стрелки на пересадах не умолкали; кинжальники (Кинжальники — это охотники, предпочитающие кинжал пуле. Надо много ловкости и отваги, чтобы решиться встретить, стоя на одном колене, рассвирепелого зверя, летящего на дым выстрела с ужасающею быстротой. Кинжальник опрокидывается на спину почти перед рылом кабана, ничего невидящего вокруг себя, кроме дыма от выстрела, и в момент, как проносится над ним или около него зверь, всаживает кинжал ему в сердце или распарывает брюхо. Кинжальники обыкновенно становятся перед стрелками) работали смело [212] и ловко, а гаельщики так неистово орали, что, кажется, самые деревья готовы были от их крика пуститься вслед за кабаном. Было убито уже несколько секачей-одинцов (Кабаны, за семь лет от роду, как бы отчуждаются или изгоняются из стада и ходят большей частью в одиночку, почему и дано им название одинцов. Секачем называется кабан, имеющий огромные страшные клыки, и странно, что пока еще не остынет убитый кабан, клыки сохраняют остроту ножа; но с охлаждением крови они тупеют до того, что надо усилие, чтобы поранить самое мягкое тело. Секачи чрезвычайно свирепы и, невзирая на неуклюжесть свою, легки и поворотливы на бегу, так что надо доброго и хорошо-приезженного коня, чтобы увернуться от его клыков. Случалось убивать секача до 18 пудов. Убитого кабана

необходимо в ту же минуту распороть и выпустить внутренность; иначе мясо и сало получают такой неприятный запас, что нельзя есть), не говоря о стадных свиньях, кабанах и пороссятах.

Я ехал с урядником Подрезовым по опушке, и выскочивший кабан порядочно-таки нас помучил, выделявая такие эволюции, что того и смотри поранит коня. Наконец выстрел под ухо положил неугомонного, и мы стали поджидать казаков, чтобы разделать его и отволочь в общую кучу к убитым.

Вдали от нас, к горам, появлялись по временам всадники, но, завидя нашу потеху, быстро исчезали за лесом, и мы так были увлечены удачной охотой, что на явления эти не обращали никакого внимания. Все шло как нельзя лучше; даже не было, по обыкновению, посеченных кабаньими клыками; охота делалась все шумнее и веселее, и каждая угрожавшая опасность только разжигала задор наткнуться на новую и ловко отделаться. Вдруг наш часовой с дерева кричит мне, что давно уже какой-то татарин маячит (Маячить значить давать знать, что имеет дело к встречному. Маяк состоял в том, что делалось несколько вольтов полного круга в одну и ту же сторону, имея при том винтовку в чехле за спиной. Вынутая и положенная поперек седла винтовка означала вызов на бой. Отдать маяк значило сделать такое же число вольтов и в ту же сторону) и, как видно, его маяки недаром. Я послал урядника и двух казаков отдать маяк и спросить, чего ему нужно. Скоро вернулся урядник вместе с кунаком моим, Магомет-Билеом. Неожиданность встречи не озадачила меня; подобные случаи бывали часто; но меня крайне удивила та торопливость, с которою Магомет обратился ко мне. Слова и их лаконизм были новы в моем кунаке, который обыкновенно выражался витиевато в восточном вкусе, какою-то рогатою речью. Привычка, дело опыта, не доверять горцу, даже такому кунаку, как Магометка, заставила меня быть настороже. Он в коротких словах посоветовал нам поскорее убраться домой, бросить охоту, потому что большое скопище [213] горцев давно нас видит и большинство подает голос напасть на нас, а князья и вожаки советуют идти прямо на станицу Константиновскую отбить скот. На вопрос: «ты почему же это знаешь?» он ответил, что сам оттуда. «Я тебе кунак, ты мне подарил часы, каких нет у самого падишаха; ты не веришь нам, но не все и не всегда неблагоприятны; прощай же, пока не убедишься, что я недаром тебе кунак, да спеши и помогай своим, как знаешь». И, не ожидая ответа, как вихрь понесся и исчез за лесистой извилиной Ходза. Шутить, во всяком случае, было нечего; правду или ложь сообщила мне кунак, поверять было некогда. Жаль было бросить набитую дичь — не всякий раз случалась такая богатая удача — да ответственность была велика. Порубили кусками, что попало лучше и поскорее под-руку, приторочили к седлам и на полных рысях пустились домой. Больше двадцати верст до станицы мы сделали с небольшим в час. Сбросив с седел добычу, я велел не разъезжаться с площади, послал с резерва нарочного в Константиновскую дать знать об опасности местному воинскому начальнику, а между тем призывный набат зазвучал в станице с перекатами барабанов и труб, и все вооруженные живо собрались на площадь, в недоумении смотря на начальство. С вышек выстрелов никто не слышал; видно было только, что все ожидали невидимой, но верной опасности. Не прошло и часу ожидания, как загудели выстрелы, в направлении к Константиновке, и я, взяв полусотню свежих казаков и своих писарей (У нас было до 60 писарей; кроме дежурных в отделениях, остальные с адъютантом скакали зачастую на тревоги), понесся во все повода на тревогу, велел бывшим на охоте следовать прямо на Лабу к броду, против станицы Константиновской. Во время скачки восемнадцативерстного расстояния до станицы, усиленные орудийные выстрелы и перекаты ружейной пальбы становились все звучней и ясней; виднелась свалка под станицей. Вот нас разделяет уже только один Чамлык...

Посланный мною нарочный едва предупредил станицу об опасности, как вовсе неожиданная беда снегом упала на голову. Скотский табун, голов более 3,000, под прикрытием шести казаков, подгонялся к водопою близ станицы, нимало не тревожась, и был уже верстах в 5-6 от дому, как из-за Чамлыкской балки показалась значительная партия, человек за 300, не беспорядочной толпой, как водилось у горцев, но стройно идущая прямо по дороге; впереди красный с золотою бахромой значок, как раз похожий [214] на значок начальника линии. Стройность движения обманула приказного в табуне, да к тому же двое от отряда отделились, сделали маяк и, не ожидая ответа, подскружили на выстрел к табуну и чисто по-русски закричали: «не тревожьтесь; это отряд с Тегеней!» Обманутые табунщики поспешили перегнать скот через дорогу; поднявшаяся пыль не дала видеть беднякам, что они окружены, и прежде чем они это заметили, их уже не существовало: все пали под шашками, не обнажив даже оружия. Распорядясь так удачно, горцы погнали табун к станице. Жители, видя скот идущий спокойно, и следующий за ним отряд, вовсе не предполагали врага внутри линии, и ожидали только, как сказал нарочный, незваных гостей из-за Лабы; теперь они спешили, кто с бочонком на повозке, кто просто с ведрами, набрать поскорей воды и запереться в станице. Партии хищников станичники обрадовались, как неожиданной и сильной помощи, вовремя к ним подоспевшей.

Подогнав скот к броду, горцы, вместо водопою, гикнули на табун, сделав несколько выстрелов над ним, и скот, как бешеный, бросился за реку, напирая друг на друга, и выскочив на берег, рассыпался по равнине; тогда мнимый отряд бросился на жителей совершенно растерявшихся и началась хватка в плен женщин и ребят. Едва успели пехота и часть жителей занять ворота, чтобы не допустить горцев ворваться в станицу. Местная льготная сотня, бывшая в прикрытии скота, ничего не только не знавшая о неприятеле, но и неподозревавшая близости его, оставалась в поле, отправляя табун на водопой; но, услышав выстрелы, быстро принеслась и, беспорядочной массой, не успев выстроиться для боя, бросилась в свалку. Пользуясь этим промахом, горцы вмиг ее отбросили. Расстроенная сотня, бывшая еще в первый раз в бою, за исключением немногих старых линейцев, озадаченная натиском горцев, далеко промчалась в поле; но, опомнясь, собралась и начала строиться за углом станичного фаса, готовясь ударить вновь на превосходного числом неприятеля. Между тем, из-за Лабы уже неслось другое скопище горцев, более 800 человек. Видя все это и сообразив, что попасть между двух сильных партий с такой кучкой людей, как моя, дело весьма опасное, а пробиться к своим, как говорится по пословице, «старуха на двое сказала», я счел за лучшее, пользуясь общей сумятицей, распорядиться так: оборотив команду назад, бросился в карьер к Чамлыкскому лесу, переправился в брод в 7 верстах выше станицы, обскакал вокруг нее; ниже переправился снова за Чамлык, и послал сказать [215] станичникам, что буду на Лабинском броду и постараюсь сделать все что только будет возможно для отбития скота, и чтобы все спешили ко мне на выручку.

На Лабе я соединился с посланными мною туда казаками, бывшими на охоте, и мы, притаясь в густом лесу, ждали возврата непрошенных соседей-гостей.

Между тем, обе партии горцев соединились под станицей, но, не решаясь идти на штурм, предпочли собрать бешено-бегавший по равнине скот и угнать его в горы.

Много произошло под станицей отдельных эпизодов неравного боя, отчаянной храбрости и ловкой изворотливости. Так, казачонок, поселенец с Кубани, Сорокин, лет тринадцати или четырнадцати, ехавший на водопой на отцовской лошади с пистолетом за поясом, был окружен несколькими горцами, но не потерялся: подобрав поводья лихому коню, хлестнул его нагайкой, и, как птица, бросился напролом, успев в то же время ссадить в

упор из пистолета горца. Преследуемый хищниками, неся он стрелой, крича караулу на полевых воротах пустить его; ворота на миг распахнулись и мальчуган юркнул в них. Приехав домой, самодовольно потрепал он по крутой шее своего боевого товарища и побежал на батарею посмотреть что творится за станицей. Мальчуган Сорокин, по засвидетельствованию лиц видевших его первый смелый дебют, был награжден малой серебряной медалью за храбрость, на георгиевской ленте.

Приказные Ледовской и Володин, бывшие дежурными на станичном резерве с несколькими казаками, перескакав мостик на Чамлыке, отхватили штук 150 скота из рук хищников и отстояли его, перегнав к станице. Мельник-казак Несонов, с тремя завозчиками, спокойно молотивший до тревоги, засел было, как в крепости, в своей мельнице и обстреливал плотину, да казачья натура не выдержала засады: быстро бросились они на нехитрую узкую плотину, забрались в кусты и давай сбрасывать выстрелами наскაკивавших к мельнице джигитов, так что после боя нашли под плотиной шесть тел и до десятка лошадей. Мельницу все-таки, не дали ни зажечь, ни ограбить.

В противоположность этой находчивости, бедная казачка Фомина, поселянка с Дону; женщина лет под тридцать, возвращаясь с бочонком воды на волах в станицу, разряженная в кубелек и шелковый расшитый колпак (Дончихи долго еще на линии донашивали свой национальный костюм, далеко не живописный и состоявший из кубелека, капота в роде тех, какие носят монастырские фелички, с тальей под мышками, и застегнутый спереди дутыми серебряными пуговицами; на голову надевали шелковый вязаный колпак, шлык которого висел на бок), до того [216] растерялась увидя горцев, что сама бросилась к одному из них под защиту, и он, конечно, как вежливый кавалер, подхватил ее, усадил на седло, сел сам сзади и, не дожидая других, отправился вскачь за Лабу. Бедная женщина, протерпев все бедствия нераздельные с пленом, только года через полтора выбежала из гор, оборванная и изнуренная. Другая ее подруга подлезла под воз, и тем отделалась от участи Фоминой. Много было и других случаев; но теперь всех не упомнишь, да, кажется, и приведенных достаточно.

Горцы, под прикрытием лучших наездников, собрали скот и нестройной массой отступали к Лабе. Смежные с бродом посты Родниковский и Курганский, по малочисленности конного гарнизона, помощи дать не могли; сотня станицы Чамлыкской была на Тегенях, а сотня станицы Михайловской, по дальности расстояния, прибыла тогда, когда уже все было кончено. Как только горцы двинулись к Лабе, весь гарнизон и большая часть жителей выступили из станицы в преследование, надеясь хотя сколько-нибудь отхватить скота на броду — и не ошиблись в расчете. Вода в Лабе была велика, и в этом месте река имеет пять протоков, так что скот пришлось не в брод перегонять, а плавить на расстоянии более версты. Поднялась у горцев страшная кутерьма, чем я и воспользовался, сделав залп и бросаясь с двух сторон в шашки из нашей засады. Мои молодцы так неистово гикнули, что, озадаченные нечаянностью, горцы бросились уходить, стараясь выбраться скорей из воды; подоспевшая из станицы подвижная гарнизонная артиллерия, несколькими удачными картечными выстрелами, расстроила их наплаву. Нескученный скот уносился быстринной течения и выбирался, где указывал инстинкт, на берег или на косу, на ту или на другую сторону; жители рассыпались по лесу хватать свои животы, как они называют скотину. Горцы опомнились однако довольно скоро и тоже открыли огонь из-за каждого занятого куста и старались не давать скота. Были смельчаки, бросавшиеся наперерез плывущим и уносимым течением, стараясь завернуть их на свою сторону. Хаос был необычайный и у нас, и у них: никто никого не слушал, суетился и метался как угорелый. Громкий крик, гам, стрельба ружейная, орудийная, рев скота, шум бешеной Лабы — все сливалось в одну [217] адскую ораторию. Только быстро наступивший по закату солнца сумрак прекратил эту общую суматоху. Общими усилиями нам удалось

отбить обратно около половины скота. Преследовать за Лабу неприятеля было немислимо, и мы, пока совсем стемнело, собирали разбежавшийся и от страха одичавший скот. Немало его погибло и унесено Лабой, так что в результате горцы поживились менее чем 500 голов. Весь так хорошо задуманный и так в начале удачно исполненный набег обратился в игру не стоившую свеч, если принять в соображение ту потерю убитыми и ранеными, какая оказалась у них по единогласному свидетельству лазутчиков. Но все же дело было проиграно, и наград ожидать не приходилось, разумеется кроме утешения, что всякий из нас старался, насколько хватало сил и умения, исполнить свой долг. В этом табуне у меня было четыре пары быков, и мой старый батарейный боевой конь; достались ли они горцам, утонули ли в Лабе, для моего кармана расчет был все один и тот же. О таких потерях мы мало тужили: удачный набег — и опять пополнен убыток, да еще часто и с лихвой. Потеря с нашей стороны была человек до двадцати убитыми и ранеными, да шестеро взятыми в плен, женщин и детей; скота не досчитались до тысячи штук крупного и мелкого. Часу в одиннадцатом вечера, прибыл к нам с большого Тегеня начальник линии, наш обожаемый Волков, сделав в день более 120 верст. Ему было дано знать, с малого Тегеня, нашими разъездными казаками, заметившими партии, и он по сакме думал ее нагнать, или застать дело... Но было поздно: далеко до его прихода все уже было покончено. Отдав подробный отчет о ходе дела и получив задушевное спасибо, вместе с дельными замечаниями в упущениях, всегда глубоко врезывавшимися в память и частенько впоследствии выручавшими в трудной, разбойничьей нашей войне с горцами, мы остались ночевать на броду.

С рассветом переправились за Лабу и пошли преследовать хищников, но их и след простыл: несколько штук отбившейся скотины, частью с порубленными шеями, бродили по камышам и кустарникам. Пройдя верст 15 от Лабы, мы вернулись.

Кунак мой Магометка был, между горцами, ранен в этом деле, выздоровел и явился с повинной. Его простили не в пример другим, принимая во внимание ту существенную пользу, которую можно было извлечь из этого далеко не дюжинного и влиятельного между горцами плута. Долго еще мы куначили с ним и [218] он не раз доказывал свою твердость, пока его свои же не убили, окончательно убедясь в его двуличности.

Был у меня и другой кунак, Ахмат-султан, известный у нас на линии больше под именем урупского бешеного султана. Он был потомок, по боковой линии, грозного Чингиз-хана и владел несколькими мирными аулами, поселенными на правом берегу реки Урупа, против станицы Урупской. Султан был высокий, стройный, красивый мужчина лет тридцати; но странная устойчивость зрачков его больших и правильно очерченных черных глаз и какая-то во всем теле и во всех движениях торопливость дали ему прозвание «бешеный», т.е. сумасшедший. Если он действительно был помешан, то мания его была просто плутовство, тонкое, ловкое мошенничество на все руки; другой же никто не замечал. Основанием всей его дружбы был пекшеш, т.е. подарок. Бывало приедет, и на что только оставит свои неподвижные зрачки, то и подавай!.. А сам был скуп как жид. Надоело это до крайности, и я, необдуманной шуткой, положил разом конец нашему куначеству. Как-то пришел он рано утром и застал еще меня в постели. Глаза его остановились на висевшей на стене арабской винтовке, с золотой насечкой по всему стволу — подарке П. А. Волкова. Зная хорошо, что этой вещью я дорожу не по ее достоинству и ценности, а как памятью любимого человека, он и тут не выдержал и принялся хитрить, заходя со всех сторон: то рассыпался в похвалах моим достоинствам, выставляя меня каким-то сказочным героем, то находил во мне все источники доброты и преданности в дружбе. Как ни превозносил, однако, он мою личность и как ни хвалил винтовку, я не предложил ее в пекшеш и, не угостя даже гостя аракой и чаем, повесил винтовку на прежнее место, и отправился в штаб. Долго — говорили мне после вестовые — султан оставался в спальне,

не сводя глаз с очаровавшей его винтовки, потом, вдруг махнул рукой, с улыбкой вышел на двор, сел на коня и поскакал как шальной прямо за станицу. Спустя несколько дней, он явился опять веселый, разговорчивый и, проболтав с полчаса, позвал меня на двор взглянуть на приведенного жеребчика своего завода. Конь был действительно статный, обещал в будущем доброго скакуна, и стоил гораздо больше сотни рублей. Султан опять рассыпался в излияниях похвал, смешивая мои качества с его конем, и наоборот, и вдруг прервал речь, предложив мне прямо жеребчика в пекшеш. Поблагодарил я кунака, [219] похвалил подарок и угостил его, на славу. О винтовке ни слова, как будто он и не видал ее; но я хорошо догадался к чему разыгрывалась вся эта комедия, и положил не поддаваться надувале, а обрезать его разом, не рассчитывая, конечно, на последствия, чуть не покончившиеся для меня трагически. На следующее утро приходит снова ко мне кунак, жалуется на головную боль, говорит, что моя арака просто огонь. Я велел, однако, подать ему опять водки и рому. Он долго не соглашался пить один, зная хорошо, что, когда я выпью лишнее, всякий может обобрать меня как хочет. Ссылаясь на нездоровье и спешные дела, я наотрез отказался пить, а между тем усердно угощал кунака, а хотя он долго крепился, но наконец не выдержал, и чарка за чаркой полились в его широкое горло. Оживился мой султан; винтовка опять явилась на сцену. Полились рекой похвалы нашей дружбе и достоинствам винтовки; но вдруг, среди самых патетических излияний, я поразил оратора словами: «А что, султан, винтовка-то тебе видно очень нравится? Что ж, для такого кунака — изволь, я продам, давай деньги». Кажется, удар грома, разразившийся у ног моего кунака, не произвел бы на него такого действия, как эти слова. Вытаращив страшно зрачки, он быстро бросил винтовку на кровать и, как угорелый, ругая меня на всех знакомых ему диалектах, не исключая и русского, выбежал вон и с тех пор ни ногой ко мне. Посмеялись мы не раз с добрыми моими сослуживцами этой проделке, но казначей наш, сотник Иванов, сосед султана, отлично его знавший, советовал мне быть поосторожней в поездках по Урупу, чтобы не наткнуться врасплох на засаду бывшего кунака и не поплатиться головою. Прошло около году, а бывший кунак и носу ко мне не показывал; если и бывал в станице и случайно встречался со мной, показывал вид будто не замечает или не видит меня. Игра эта в незнайки смешила меня; но, скажу откровенно, и тревожила, выказывая всю ненависть, какая таилась в дикой натуре, не могшей преодолеть себя, при всей двуличности вообще характера горцев. Случай не замедлил оправдать и предостережение казначея, и мое предчувствие.

Возвращаясь раз ночью, прямой дорогой с Кубани, куда ездил по обязанностям службы, я должен был проехать через султановские аулы. Как усмотрел меня султан, не знаю, но случайной встречи с ним быть не могло. Только что я начал переправляться в брод по Урупу, озаренному чудным светом полного месяца, [220] как раздался выстрел; мой конь взвился на дыбы и, отчаянно крутя головой, кинулся в сторону, так что едва не выбросил меня из седла. Пуля пробила бедному животному храп. Бросились мои конвойные на выстрел, долго шарили в кустах и, наконец, притащили связанного арканом горца. Это был султан!.. В это время он действительно был бешеный: неудавшаяся, таившаяся столько времени на душе, месть — месть горца, бессильная злоба и страх будущего до того исказили его правильные и красивые черты, что решительно узнать было трудно; расширившиеся неподвижные зрачки светились как у волка, пена клубилась изо рта, он весь трясся как в лихорадке, судорожно вздрагивая. Думал было я отправить его в станицу и пошла бы процедура суда, да казачья натура взяла свое: я решил разделаться сам и поучить на славу кунака, т.е. я велел раздеть его догола, ввалить ему без счета добрых нагаек и бросить, как был привязан, к дереву. По нашему обычаю, взятому у горцев, оружие и шашку я отдал казакам.

Прошу не судить меня строго за эту разделку и вспомнить ту школу, через которую проводила нас судьба, те нравы и обычаи, среди которых вращалась жизнь наша на линии.

Как я узнал впоследствии, кунак мой оставался привязанным к дереву до полудня; его отвязали свои и, изъеденного комарами и мошкаррой, отвели домой, где он провалялся с месяц в постели. Оправясь, он бежал в горы, с страшной мстью в сердце, передав мне через своего узденя, что и за гробом отмстит свой позор. Но скоро его уколотили свои же, в горах, за какую-то подлую, даже и по их понятию проделку... Положа руку на сердце, скажу, что я стал далеко спокойнее и вообще осторожнее с его смертью: этот урок научил меня многому и был не без пользы впоследствии.

Аполлон Шпаковский.

Текст воспроизведен по изданию: Записки старого казака // Военный сборник, № 7. 1870

- © текст - Шпаковский А. 1870
- © сетевая версия - Thietmar. 2009
- © OCR - Over. 2009
- © дизайн - Войтехович А. 2001
- © Военный сборник. 1870

ШПАКОВСКИЙ А.

ЗАПИСКИ СТАРОГО КАЗАКА

(Продолжение.)

(См. «Воен. Сборн.» 1870 г. № 7.)

IX.

ДЕЛО НА УРУПЕ.

В первых числах апреля 1851 года, горцы правого фланга, возмущенные шейхом Амин-Магомедом, мюридами, подосланными Шамилем, и турецкими агентами, начали собираться в Теректли-мектеп (Теректли-мектеп, «место суда» сильный и хорошо укрепленный аул на верховьях реки Белой, спертый ущельем, вершины которого сходятся на расстоянии нескольких аршин. Река, замкнутая ущельем, бешено ревет в пропасти, едва сверкая; это место казни преступников, которых Амин приказывал бросать с моста с привязанной колодкой к ногам.), резиденцию Амина. Горские лазутчики и наши пластуны ежедневно давали знать о волнениях в аулах в об огромных приготовлениях к открытому вторжению на линию, с целью разорить станицы и увлечь в горы семнадцать аулов мирных бесленеевцев (Из довольно сильного племени бесленеевцев, семнадцать аулов замирившихся выдали аманатов, т.е. заложников, и были водворены на правом берегу реки Урупа, близ станицы того же имени, года за три перед тем.) с Урупа. В этих аулах, невзирая на заверения жителей, волнение умов было также заметно. Волнение было тем опаснее, что, живя среди русских, мирные если и не могли вполне знать всех мер и средств к ограждению линии, то могли иное видеть сами и об ином слышать от неосторожных болтунов, от которых мастерски умели выведывать все нужное, угостив их по-приятельски аракой. Пересылка сведений и сношений из гор и в горы шла с изумительной быстротой, невзирая на всю бдительность кордона, по причине свободно-открытого пути вверх [324] по Урупу и по обоим Тегеням, в то время еще незанятым станицами и постами.

Положение Лабинской линии, растянутой более чем на триста верст, было крайне затруднительно. Малочисленность расположенных на ней войск, при разбросанности их по станицам и постам, не позволяла сформировать в центральных пунктах конные летучие отряды для взаимной помощи. Причин тому было немало: начало возведения сильного укрепления на реке Белой с гиагинским постом, на реке того же имени (Первое наше укрепление на реке Белой начато возводиться в марте 1851 года, для батальона пехоты и для четырех сотен кавалерии, между укреплением и станицей Тенгинской. Здесь, через Лабу, был сооружен первый постоянный мост и на реке Гиаге строился пост. Для возведения их сдвинуты были войска с Кубани и сняты с Лабинской линии, предоставленной почти одним местным средствам обороны, так что начальник линии едва мог сосредоточить один небольшой летучий отряд, изнуряемый беспрестанными передвижениями, смотря по получаемым сведениям, часто не подтверждавшимся, о направлении или намерении движения скопища, предводимого Амин-Магомедом, численность которого еще не бывала за Кубанью в таком размере. Имам-эль-аазам (глава духовенства), Шамиль, если и не имел прямого влияния на горцев правого крыла, а тем не менее косвенное значение его и мюридизм, ведущий начало на Кавказе с 1780 года, с появления из Стамбула изувера муллы шах-Мансура, бывшего пастуха тугашинского ущелья и Кара-долины, близ крепости Анапы, тогда еще грозной турецкой крепости, преобладали фанатиками и влияли на умы. Тайные же агенты из Турции, разных наций,

шныряли, действуя посулами всякого рода и обещая прогнать русских со всего Кавказа. Эти проделки вначале вполне удались, пока горцы не убедились, что их надувают, и сами разделались с плутами. Надо помнить, что все это творилось перед началом севастопольской войны. Магомед-Амин, появившийся за пять или шесть лет до этого времени, с первого шага принял крутые меры против племенных князей и старшин, отнял у них я без того неважную власть; потворством же вассальным узденям и свободным горцам увлек умы всех, проповедуя единение, как оплот против назойливости русских в занятии их земель. В то время Амину было не более 35-40 лет. Прежде он был в Константинополе, где понатерся при дворе и поразвился, притом владел замечательным даром слова. Красивый и статный собой, он, говорят, был мальчиком продан в Турцию из чеченских племен.), перемена начальников фланга и, вместе с тем, неминуемые нововведения, не всегда применимые к местным потребностям, а также разного рода личные препирательства и столкновения. Амин-Магомед, хотя и не мог знать обо всем происходившем, но не мог и не знать главных капитальных реформ, отношений и столкновений. Все это вместе благоприятствовало намерениям горцев и давало им ручательство в успешном исполнении замысла.

Набросав беглый очерк положения Лабинской линии, не лишним [325] считаю коснуться событий, предшествовавших блистательному делу на Урупе 14-го мая 1851 года.

Начальник линии, Петр Аполлонович Волков получил положительные сведения о намерениях Амин-Магомеда: начать вторжение на линию и, прежде нападения на станицы, забрать бесленеевские аулы с Урупа, не столько с целью усилить и без того огромное скопище, но для того, чтобы, заставив их принять участие в набеге, тем самым поставить в невозможность опять обратиться в мирных (Мирные, какого бы племени ни были, были язвою для наших поселений: пользуясь титулом мирного, каждый горец старался пожить на счет русского, и, при первом случае, перерезать горло или всадить пулю считал делом славным. Только впоследствии сообразили все это и стали их высылать на водворение в Войско Донское.). Вследствие этого, около половины апреля, в станице Лабинской был собран летучий отряд, на сколько припомню, в составе трех рот Кубанского егерского полка, трех сотен донского № 45-го Золотарева полка, трех сборных сотен линейцев, при четырех легких и двух батарейных пеших орудиях, при взводе конной казачьей № 14-й батареи и четырех станках конно-ракетной команды. Весь отряд в строю имел до 1,250 человек. Этой горсти, сравнительно со скопищем, приходилось иметь дело, после изнурительных переходов, со свежими силами горцев, хорошо вооруженных и на бодрях конях и, притом, уже достаточно подготовленных Амин-Магомедом к более правильному и регулярному строю. Ежедневно получаемые сведения о скопище, готовом вторгнуться в линию, и неопределенность пункта переправы через Дабу ставили начальника линии в необходимость передвигать отряд то к станицам Чамлыкской, Константиновской, Вознесенской и Урупской, то возвращаться в Лабинскую. На пост Подольский (Пост Подольский, расстоянием от Лабинской 40, а от Вознесенской в 28-ми верстах, вооружен полупудовым длинным единорогом и 12 фунт. пушкой; гарнизон из № 3 линейного батальона, при офицере 50 солдат и 25 донских казаков. Пост командует окрестностью; с него видно на десятки верст. У подножия, почти на две версты ниже, остатки древнего укрепления Кол-Аджи, старая крепость, турецкая или венецианская; близ оной упраздненное наше укрепление того же имени. Таких остатков укреплений, как Кол-Аджи, немало в Псеменском и Длинном лесе; кем и против кого они строились, преданий не сохранилось; но что они древни, свидетельствуют вековые деревья, поросшие на валах, и во рвах еще хорошо сохранившихся.), как самый возвышенный пункт на нашей линии, был послан, для наблюдения местности за Лабой, есаул С-в, с приказанием дать знать отряду, как только заметит скопище, и следить за его направлением и после переправы. Мне, как [326] адъютанту, приходилось частенько скакать по линии с поста на

пост, для промера бродов по Лабе, и совершать таким образом верст по сотне и более в сутки, а затем, совершенно усталому, то передавать приказания, то собирать для доклада сведения от лазутчиков и пластунов.

По распоряжению командующего войсками на Кавказской линии и в Черномории, начальник линии вошел в сношение с начальником центра, князем Эристовым, и с генералом Граматиным, которые также собрали отряды: князь в составе до 4,000, генерал Граматин до 2,000; первый расположился за урупскими высотами к Тегеням, а второй к карачаевским ущельям, для прикрытия прикубанских станиц и селений. Медленность сообщений через кубанскую линию, с отрядом князя Эристова, вызвала необходимость посылать туда прямо нарочных по местности наблюдаемой неприятелем. Из четырех, одновременно посланных, урядников с пакетами, двое были убиты, а бумаги захвачены; обстоятельство это вынудило посылать уже не с письменными, а с словесными сведениями и распоряжениями, важность которых с часу на час увеличивалась. Посылать урядника или даже и офицера не всегда было удобно, особенно в важных случаях, а потому жребий этот выпал на мою долю. Сказать правду-матку, невзирая на прирожденное мое достояние — беспечность, как-то невольно жгало сердце, когда я вставлял ногу в стремя. Доехав с казаками до крайнего мирного аула, я переменял в нем коня и конвой и затем, в глухую полночь, проехал до отряда князя в сопровождении только трех кунаков-бесленеевцев, верст двадцать, без дороги, по пересеченной местности, наблюдаемой неприятелем. Предчувствие чего-то недоброго на этот раз не оправдалось. Поменявшись с князем всем необходимым в нашем положении, тем же порядком через день я возвратился, совершая путешествие по-совиному — ночью. Так мне пришлось три раза съездить туда и обратно. Во вторую поездку, со мной случилась такая оказия, что иной и ученый физиолог не разъяснит ее. Сев на коня в ауле, я выпил стакан рому, который, по-видимому, не имел на голову ни малейшего влияния. Но, приехав на рассвете в отряд князя и остановившись у начальника его штаба, майора В-ва, я совершенно забыл зачем приехал и для чего? Для меня как будто прошлого не существовало; сколько ни старался я заставить работать память, она была безответна: я был сущий автомат, двигался, говорил, но был в бессознательном [327] состоянии. Сперва В-в посмеялся, считая это состояние неуместной шуткой; но видя, что в сущности дело-то выходит не так, решил, что я просто рехнулся. Оставив расспросы о цели приезда, он дал мне стакан чая и предложил рому; едва я выпил, как память и полное сознание явились, будто сидели на дне стакана и, с последним глотком, вскочили в голову. Посмеялись мы оба этой оказии и занялись делом. Вскоре встал и князь. Все, что было нужно, было переговорено и обусловлено до себя; отказавшись от обеда, я лег, часу в двенадцатом дня, спать и проспал часов до десяти вечера. В это время меня разбудили, сказав о времени; я вскочил гоголем, как на тревогу, но память опять упорхнула неведь куда. Тогда В-в, уже не говоря ни слова, прямо предложил мне грогу: память с сознанием тотчас же явились в свою штаб-квартиру. Дальнейших превращений и исчезновений памяти, как носа в повести Гоголя, не последовало и комедия разыгралась только двумя актами. Объяснение этого феномена наш медик С-ий изложил так темно и неудобопонятно, что мы остались совершенно неудовлетворенными.

12-го мая, в отряд, расположенный в станице Вознесенской, прискакал с поста Подольского есаул С-в с донесением, что сборище, занявшее местность на огромном протяжении за Лабой, появилось против поста. Ругнул его недобрым словом В-в за личное появление в то время, когда он должен был следить до конца за самой переправой горцев, и велел мне удостовериться на месте о донесенном и докончить порученное С-ву.

Взяв с собой заводного коня и выбрав шестерых старых пластунов на добрых конах, к закату солнца я, со своей свитой, был уже на посту. Приняв команду над постом и

осмотрев местность, я распорядился залогом секретов на Лабе, поставил две конные заставы, каждая под командой пластуна, послал нарочных на смежные посты с тем, чтобы с них было дано знать сигналом по всей линии. При этом даны были следующие приказания: 1) тот пункт, близ которого неприятель начнет переправу, должен производить каждые пять минут выстрел боевым снарядом; затем, оба ближайших поста должны были делать тоже самое через семь минут, а последующие, по мере удаления, через 10 и 15 минут; 2) осмотреть подъемные мосты и, в случае нападения и неустойки, заклепывать крепостные орудия и взрывать посты, гарнизонам же присоединяться куда укажет необходимость; 3) усилить секреты и выставить конные [328] заставы. Из этих распоряжений, основанных на приказаниях начальника линии, видно, что он хотел дорого уступить горцам свое детище, свое любимое создание — Лабинскую линию.

Начальник поста, подпоручик Бондаренко, и я, вооружившись подзорными трубами, забрались на постовую вышку и до самого света любовались дикой картиной табора горцев, видного нам как на ладони, при свете огней костров. Всюду мелькали тени, то ярко освещенные, то скрывающиеся пламенем и застилаемым дымом, волновавшимся как чадры восточных красавиц от налетавшего ветерка. Всю эту движущуюся панораму озаряла, полным блеском, полная майская луна. Казалось, самый ветерок, по временам заглядывавший под соломенную крышу вышки, как шаловливый барич под шляпку красавицы, доносил до нас букет роскошной кавказской флоры — и невольно мысли переносились в прошлое, былое невозвратное, навеявая тихую безотчетную грусть... И настоящее, и будущее — все сливалось в призрачном фантастическом туман...

Но вот пахнул прохладой ветерок, предвестник зари, и вершины снежного хребта облились пурпуровым светом. Все выше и ярче являлись лучи; наконец, величавый диск солнца с вершин гор заглянул в ущелья, и седые туманы их, переливаясь и отражая радужные цвета, зароились как змеи, принимая чудовищные формы.

С появлением дня, как муравейник закопошились горцы и, как комары перед погодой, поднялись и начали собираться в кучки. Более тридцати значков развевалось в воздухе. Вся масса заколыхалась, двинулась к каладжипской переправе и покрыла долину, как саранча.

Выстроив по фасам поста людей готовых к бою, я взшел на главную батарею. Передав пост и последние распоряжения Бондаренко, я оставался на посту до конца переправы. Едва передовые горцы спустились к воде, как грянул постовой единорог и вслед затем глухо отозвались пост Шалоховский и укрепление Зассовское.

Во все время переправы горцев, длившейся более двух часов, с математической точностью раздавался каждые пять минут выстрел. Но вот сборище, точно чудовищная змея, висясь по окружающим отрогам Подольской горы, по левому ее откосу, миновало уже пост; главные массы наездников, столпившихся около зеленого значка Амин-Магомеда, поравнялись с батареей; однако ни один из джигитов не подъезжал близко, как бы пренебрегая [329] незначительным постом. Признаюсь, не выдержала оказавшаяся моя натура этой оскорбительной невнимательности: приложив глаз к диоптру, подвинтив клин, я скомандовал... и навесно брошенная граната разорвалась над головой горцев, не ожидавших такого салюта. Перекувырнулось несколько всадников и коней, но сборище, не обращая внимания, продолжало двигаться вперед, спускаясь в долину джелгетских высот, тянувшихся в направлении к станции Вознесенской и к Урупу.

Намерение скопища начало выясняться. Опустился и поднялся за нами постовой мост. Перекрестились мои пластуны; объехав пост справа, мы двинулись на рысях на высоты. Как горные козы, лепились мои пластуны над обрывами по извилистой тропинке. Справа, почти за отвесными обрывами, долиной двигалось сборище, по-видимому не обращавшие на нас внимания. Вдруг оно круто повернуло вправо, прямо в направлении к Урупу. В один миг птицей полетел пластун, рискуя, при каждом неверном шаге своего коня, свалиться в кручу, с донесением в отряд о принятом горцами направлении.

Так горцы прошли версты три или четыре; затем опять примкнули к высотам, приняв направление к станице Вознесенской. Таким образом, они меняли четыре раза свое направление, а между тем до станицы было менее десятка верст. После того оставалось ехать по высотам, огражденным недоступностью въезда, уже не более версты; далее уступы как бы расстилались и постепенно склонялись. Направление сборища ясно указывало на путь мимо станицы; иначе, горцам пришлось бы переправляться через реку Чамлык, текущую в крутых и топких берегах, и то через брод, выше станицы верстах в десяти. Нам же троим приходилось или вернуться назад, или проскользнуть вблизи скопища горцев, спустившись на левую сторону, и выиграть время, проскакав верст шесть или семь уже по открытой местности к Вознесенской. Я решился на последнее.

Долго и безотвязно гнались за нами несколько горцев; но, видно жалея коней для предстоящего или рассчитав незначительность поживы, бросили преследовать нас версты за четыре до станицы. В это время грянул выстрел с батареи, заявивший нам, что сборище уже видно с вышки.

Застав начальника линии, только что поднявшегося из-за стола и шедшего на батарею посмотреть церемониальное шествие скопища горцев, и рассказав ему в нескольких словах о результате [330] моей командировки, я, как голодный волк, принялся терзать остатка обеда, нимало не заботясь ни о скопище, ни о тех последствиях, какие ожидали нашу линию. Беспечность и привычка опять вступили в свои права.

Между тем, в зловещей тишине вся масса прошла мимо станицы, в порядке проследовала чамлыкский мост, не зажгла даже мельниц, и направилась прямо к бесленеевским аулам.

Наш отряд выступил из станицы вслед за скопищем, идя по следам его. Так отошли мы верст шесть или семь, как подполковник Л-ский спохватился, что рота его батальона кубанцев осталась забытой на станичном фесе, где была поставлена в ожидании нападения неприятеля. Обстоятельство это вынудило послать полторы сотни казаков за пехотой; между тем, отряд наш, дойдя до промежуточного поста, остановился в ожидании их, что и дало время Амин-Магомеду далеко опередить нас и занять свободно аулы.

Около полуночи к нам присоединились с Кубани четыре сотни ставропольской бригады с полковником Войцицким, а вскоре затем явились забытые кубанцы, сидя на крупах казачьих коней. Освещаемые заревом зажженных Амином аулов, мы подошли к реке Урупу, часу во втором ночи, и выстроились в боевом порядке, лицом к неприятелю, отделенные от него негустым лесом и рекой.

Начальник отряда, чтобы оповестить линию и указать, где находится неприятель и наш отряд, приказал, согласно уже прежде сделанных распоряжений, производить каждые пять минут выстрел. С этой целью я улегся между батарейным взводом с фонарем и часами: дрогнула окрестность, волны Урупа покатали перекатом тревожный сигнал... и не одна дрожащая спросонья рука казачки сотворила крестное знамение о дорогом существе, которого наутро, быть может, увидит убитым. Затормошились в аулах и ярче осветилась

пожаром окрестность; глухой гул и скрип ароб раздавались в стороне неприятеля в противоположность царившей мертвой тишине нашего отряда. Грянул второй и третий выстрелы, сопровождаемые ответами смежных пунктов, и пронеслись по линии зловещей вестью...

Не замедлили явиться несколько мирных горцев из аулов, кто подсмотреть, что творится в отряде, кто порассказать о распоряжениях Амин-Магомеда и сборища, а кто и с искренним чувством преданности; но, в нашем положении, ни разбирать вранья, ни верить искренности не приходилось: нужно было держать ухо [331] остро, и из всех вестей выбирать одно нужное и наиболее вероятное.

После шестого выстрела, сон начал одолевать меня до того, что, не надеясь на себя, я позвал фейерверкера, передал ему часы и фонарь, и заснул мертвым сном...

На рассвете холодная струя воды из бутылки прямо на лицо, вылитая В-ым, пробудила меня, после того как не могли растолкать ничем. Пробуждение было далеко несладостное...

Отряд уже был готов к движению... На противоположной стороне, по склону урупских высот, тянулись арбы забранных аулов; густой дым вился над лесом, обозначая места пожарища. Скопище, облитое первыми лучами солнца, игравшего на оружии, то съезжалось кучами, то, извиваясь лентой, следовало вверх по течению реки. Пейзаж боевой, кочевой, дикой жизни, с дивной местностью, так и просился на полотно художника; но нашему брату некогда было любоваться живой картиной. Отряд двинулся в параллель скопища, по-видимому не имевшего ни малейшего намерения вступать в бой. Так мы прошли версты три с ночлега и верст шесть или семь от станицы Урупской. В этом месте, лес, растущий по обеим сторонам реки Урупа, редееет, открывая оба берега; со стороны, которая была занята неприятелем, тянутся значительные высоты сплошной цепью до Тегеней; с нашей же, более низменной, стороны, начинается круча, со старым татарским кладбищем, усеянным надгробными камнями и провалившимися могилами. Едва поднялись сотни нашего авангарда, под командой подполковника Генинга, на высоту и миновали кладбище, как скопище, до сей поры шедшее, казалось, без воинственных целей, вдруг обнаружило сильное брожение: около значков, следовавших без порядка, стали строиться правильные колонны, и затем, быстро переправясь через Уруп, горцы бросились массой на едва успевшую занять кладбище 3-ю карабинерную роту и взвод пешей легкой батареи. Три сотни Генинга, повернув коней, примкнули к роте и образовали таким движением правый фланг позиции с конным взводом № 14-го батареи. Неприятель, стремительно налетевший с шашками, после сделанного на скаку залпа, был отброшен перекрестным картечным огнем и дружным залпом пехоты и казаков. Пороховой дым, как завесой закрыл горцев, а в это время остальные части отряда успели соколами взлететь на высоту и пристроиться к казакам Генинга. Следует заметить, что позиция наша на кладбище хотя и командовала [332] местностью впереди, но замкнута была сзади крутой балкой, идущей от Урупа котловиной, и притом поросшей колючей березой и шиповником. Слева от Урупа, до высоты занятой карабинерами, местность пересеченная, покрытая кустами и редким лесом. Отряд наш, быстро занявший высоту, принужден был выстроиться в одну боевую линию, не имея другого резерва, кроме нескольких артельных и ротных повозок, оставшихся в балке. Как видите, положение отряда в тактическом отношении было далеко не блестящее; но храбрость и стойкость закаленных в боях войск и могучая воля общего нашего любимца Волкова, являвшегося всюду впереди, где была наибольшая опасность, одержала верх над бешеным наступлением горцев, с остервенением бросавшихся на штыки. Девять раз горцы отчаянно кидались на левый фланг, угрожая в то же время центру и правому флангу, и, невзирая на

дружный картечный и ружейный огонь, врубались в ряды; по-суворовски штык-молодец, приклад и шашка опрокидывали гололобых, устилавших трупами равнину перед кладбищем. Редели и наши ряды; но каждая удача давала новые силы: никто не уступил шагу занятой позиции. Так длился бой, начавшийся с пяти часов утра, до полудня. Озлобленные неудачей и огромной потерей, горцы вздумали переменить тактику и пустить в ход разбойничью хитрость, которая едва им не удалась. Быстро отступив в долину, расстилавшуюся перед нашей позицией, и выйдя из-под картечных выстрелов, они приняли направление к Урупу, как бы намереваясь переправиться обратно к арбам бесленеевцев, остановившимся верстах в трех выше нас, на противоположной стороне реки; затем вдруг повертели коней и, как ураган, промчались и бросились на донские сотни, составлявшие правое крыло боевой линии, вместе с батарейным взводом и ракетной командой, которая выдвинулась вперед на позицию шагов на 200 и бросала ракеты вслед уходившему неприятелю.

Все это последовало так быстро одно за другим, что донцы, не ожидавшие нападения, дрогнули и повертели коней... Прислуга одного ракетного станка была вся порублена горцами, и командир ее, brave сотник Кушнарев, едва с остальными ускакал; к счастью, бросившиеся в разрез ставропольцы, с полковником Войцицким, вовремя удержали натиск горцев, врубившись в середину атакующих; явившийся же, как грозный призрак, Волков, повернул донцов и сам повел их в атаку. Ободренные донцы смело ударили в пики, а дружный [333] картечный огонь всей артиллерии завершил финальный акт кровавой сцены.

Не ожидавшие такого результата, горцы совершенно растерялись и пустились на уход врассыпную, преследуемые кавалерией до самого Урупа, так что сам Амин-Магомед едва спасся от плена, благодаря только быстроте и силе своего коня. Ошеломленные горцы не только бросали тела убитых и раненых товарищей, но оставляли спешенных, не пуская их не только сесть за седло, но и схватиться за стремя или за хвост коня. Они промчались, как испуганная стая сайгаков, мимо бесленеевских ароб, оставив их на произвол.

Преследовать бегущего неприятеля за Уруп одной кавалерией было немислимо; ряды наши слишком уменьшились; во всей артиллерии не оставалось и десятка картечных зарядов; орудийные кони частью были подбиты, частью поранены, а численность уходившего скопища была огромна. Легко могло случиться, что горцы, опомнившись, смяли и уничтожили бы преследующих, и тогда замысел их все-таки мог бы иметь успех.

Быстро сообразив все это, начальник линии, оставив пехоту и артиллерию на месте боя, со взводом № 14-го батареи и с казаками, двинулся к арбам, владельцы которых, видя бегство скопища, растерялись и столпились как стадо баранов, не помышляя ни о сопротивлении ни об уходе в горы; они молча ждали решения своей участи.

Полковник Волков приказал главному приставу мирных закубанцев, подполковнику Алкину, прибывшему с милицией уже в самом конце дела, отобрать вновь аманатов из лучших фамилий, бесленеевцев водворить на прежнем месте и зорко следить за ними до суда и расправы. Потянулись арбы, скрипя и покачиваясь с боку на бок, обратно.

Полные страха марушки (Марушка — замужняя женщина; кыс, кыска — девушка; баранчук — ребенок.) и даже дети без малейшего шума и крика поплелись вслед за возами, а мы возвратились к отряду и занялись приведением в порядок артиллерии и оружия, посчитали убитых и раненых, уложили их на прибывшие из станицы Урупской подводы и отправили с пехотой, донцами и пешей артиллерией в станицу Вознесенскую.

Между тем, глухо раздавались орудийные выстрелы на Тегенях, дававшие нам знать, что отряд князя Эристова встретил и провожает ошеломленное скопище. [334]

Переночевав на берегу Урупа, близ места боя, облитого кровью павших товарищей и окруженного трупами горцев, мы, с рассветом, двинулись на Тегени, к отряду Эристова.

Часу в десятом утра, князь, сопровождаемый своим штабом, со всеми подобранными его отрядом значками, брошенными горцами, встретил нас и велел преклонить трофеи нашей победы, приветствовал Волкова словами: «хвала и честь вам Петр Аполлонович, хвала и честь вам, победителю на Урупе!» Дружески обнялись старые знакомые... Гордый победой, наш летучий отряд был радушно принят войсками начальника центра, который, видя бегущее и расстроенное скопище, ограничился одним артиллерийским огнем встретить и проводить его, вероятно придерживаясь пословицы «что лежачего не бьют»... Благодаря этому, горцы ушли восвояси только с тою потерей, какую понесли на Урупе...

Потеря наша была велика: из 1,750 человек, бывших в бою, убито и ранено до 600; о лошадях и говорить нечего; неприятельских же тел, только на месте боя и брошенных во время бегства, насчитано более полутора тысяч. Поражение скопища Амин-Магомеда могло бы быть совершенное... ну да, что о том говорить...

По скромной и нехвастливой реплике, ваш достойнейший начальник линии, П.А. Волков, все милостивейше пожалован чином генерал-майора.

Рассказав правдиво, как очевидец, об успехах и о славном урупском бое, не могу не сохранить в моих записках имена доблестных воинов.

Капитан Примо, командир 3-й карабинерной роты Кубанского егерского полка, при первом бешеном натиске горцев раненый пулей в грудь навывлет, оставался во фронте до третьей атаки, во время которой схватил за повод коня налетевшего джигита, молодецким ударом шашки сбросил его на землю но изнемогая от потери крови и последнего напряжения сил упал без чувств, крикнув: «будь проклят тот, кто отступит на шаг». И храбрые кубанцы исполнили в точности его завет. После продолжительного и тяжелого лечения, Примо, награжденный чином майора, долго еще украшал собой ряды храбрых кубанцев

3-я карабинерная кубанская рота стойко выдержала небывалые стремительные и правильные атаки горцев, буквально врубавшихся в ряды не хуже любой регулярной конницы. После [335] четвертого бешеного натиска, все ротные офицеры были тяжело ранены и команду принял фельдфебель. Жалею, что забыл, фамилию этого молодца: он так работал штыком и прикладом, что любо-дорого было смотреть — и пал, как герой имея более пятнадцати ран шашками по голове, плечам и обеим рукам. Рота переходила под команду от одного к другому унтер-офицеру, и из числа вступивших в бой осталась в строю едва одна треть людей. Карабинеры награждены были двенадцатью знаками военного ордена св. Георгия.

Инженер-поручик Шатилов, состоя во все время сбора отряда при начальнике линии, умный и дельный офицер, заслужил общую любовь всех без исключения. Перед началом дела, он был в авангарде Генинга. Надо сказать, что Шатилов, атлетического сложения, ринулся в свалку и начал косить направо и налево, как Илья Муромец. Когда неприятель был отбит, он, будто колоссальный монумент, стоял перед отрядом, обгаренный

неприятельской кровью, с поднятой шашкой в руке. Шатилов, при конце дела, когда заколебались пики донцов, готовых на утек, первый, вслед за Волковым, остановил их, гаркнув могучим голосом: «назад!». Шатилов за это дело произведен в штабс-капитаны.

Сотник Кушнарев, донского № 26-го полка, крошка ростом, но не умом и храбростью, не говоря уже о толковом действии ракетами во время боя, перед последней атакой горцев на правый фланг, выскакал на позицию и едва успел бросить ракеты, как уже налетевшие горцы изрубили всех нумеров одного станка; но он успел подхватить станок на коня и, невзирая на то, что горцы порубили шашкой круп его коня, погнавшись за ним, подскакал к донцам, поставил свою команду — и опять ракеты полетели в ряды неприятеля. За дело на Урупе Кушнарев произведен в есаулы.

Сотник Безбородов, командир ставропольской линейной сотни, таким молодцом врубился во фланг атаковавшего донцов неприятеля, что прорезал своей сотней горцев и, пронесшись сквозь их ряды, быстро поворотил сотню и ударил с другого фланга, чем увлек и остальные сотни, которые, без лицепрятия сказать, дрались на Урупе один за десятерых. Безбородов получил орден св. Владимира 4-й степени.

Бомбардир Щеглов, № 14-го конной казачьей батареи, первый номер при единороге, посылая заряд в дуло, был сбит с [336] ног грудью налетевшего коня горца; но, не выпуская банника из рук, как эластичный мяч, вскочил на ноги и с размаху ударил стаканом банника по голове джигита, положил его наповал и прехладнокровно продолжал свою работу около орудия. За урупское дело Щеглов произведен в урядники.

Доктор Савицкий, бригадный наш медик, первый еще раз перевязывал раны под выстрелами в нескольких десятках шагах от места схватки, так как перевязочный пункт был на половине склона кручи сзади нас находившейся балки. Работы ему было вдоволь. Пули свистали и жужжали кругом, а он, нимало не обращая на них внимания, весь углубился в богатую практику, так что, перевязывая голову раненого, удивился только тогда, как несчастный казак опрокинулся навзничь от пробившей его пули прямо в сердце. Савицкий был награжден орденом св. Анны.

Хорунжий Подрезов. После третьей горской атаки, я, Подрезов и три пластуна спустились с кручи к Урупу и так ловко приютились, закрытые кустами, близ выдающейся дорожки, что, до пятой атаки горцев, нам удалось ссадить не одного джигита и поймать до десятка коней, пронесившихся мимо нас без седоков. Эта пересада крепко было заняла нас, да посланный отыскать меня казак разлучил нас. Что творил Подрезов и хлопцы там до встречи моей с ним во время преследования Амин-Магомеда — не знаю; но у молодцев была сложено у повозок порядочная кучка разного оружия и стояло десятка два оседланных горских коней. Когда бегство горцев сделалось общим и мы все бросились их преследовать, то Амин, со своим значком, улепетывал к Урупу, в сопровождении отчаянного вожака Пиюка Безрюкова, так знакомого нашей линии по непрерывным стычкам с его партиями. Я, с Подрезовым, столкнувшись и перекинувшись словом-другим, бросились за ними... Вот уже и аркан развил Подрезов, и лишь несколько скачков отделяли нас от эмира и Пиюка, как мой конь грянул наземь со всех ног, пораженный пулей, а Подрезов перекувырнулся через голову коня... Когда я вскакнул на ноги и подбежал к нему, считая его убитым, он тоже вскочил и с страшным гиком бросился пеший вперед... Но Амин и Пиюк были уже на середине Урупа... Послали мы им свинцовую погоню, да видно, счастливая их звезда еще высоко стояла, и нам впоследствии не один раз приходилось сталкиваться в бою с Пиюком. Потужили мы о неудаче нашей, да делать-то было нечего. Подрезов произведен был в сотники. [337]

Много было, во время этого славного дела, дивных эпизодов; они сгладились временем, но не изгладились до смерти в памяти горцев, бывших в бою, 14-е мая 1851 года на реке Уруп.

Х.

СОТНИК ФИСЕНКО.

Если отдается дань уважения геройским подвигами, совершенным линейцами в долгой период войны с горцами, то не менее мы должны почтить и память павших со славою товарищей в неравном бою, и хотя не одержавших победы, но не посрамивших русского оружия и славы казачества.

Еще до занятия Зеленчугской линии, начинавшейся от Кубани близ станицы Баталпашинской (5-й хоперской бригады), к верховьям большого Зеленчуга, за Кубанью, были два поста: большой и малый Зеленчугские. Если и самая линия во время ее цветущего существования, до укрепления Надеждинского, была слишком слабым оплотом от вторжения за Кубань горцев, то два незначительных поста и вовсе не ограждали верховья Кубанской линии, а середина и конец ее не прикрывались еще тогда Лабинской линией, имевшей, в 1837 году, в проезд военного министра графа Чернышова, лишь несколько постов (Орлов — пост, в 16 верстах от крепости Прочный Окоп, на реке Урупе; в 48-ми верстах — пост Вознесенский и в 50 верстах — пост Чамлыкский, оба на реке Чамлыке, и самый крайний, на реке Окарте, в 20 верстах от Вознесенского.). Так слабо прикрытая Кубань, имела незначительные посты и редуты, а между ними и за ними были расположены станицы и селения. Пользуясь этим, горцы делали набеги не только мелкими партиями, но и в больших сборищах. То было время безнаказанности за грабежи и разбои, но, вместе, и их лебединой песни.

Быстрое и толковое занятие Лабинской линии, о котором я уже рассказал в начале моих записок, и обращение казенных крестьян в казачье сословие положили предел хищничеству и послужили твердым краеугольным камнем к покорению правого фланга.

Этот небольшой пролог прольет свет на геройский, но несчастный подвиг, совершенный, более чем за пятьдесят лет, полковым сотником Фисенко с храбрыми хоперами.

Партия хищников, в числе от 30-40 всадников, перед закатом солнца, появилась и маячила за Кубанью. Начальник [338] промежуточного поста (Промежуточный пост был в 12 верстах, близ Кубани, от станицы Баталпашинской.), сотник Фисенко, завидев с вышки неприятеля, оставил на посту только необходимое число казаков-часовых, а сам, с полусотней, переправился за реку и быстро бросился преследовать горцев, не дав знать смежным пунктам. Эта отвага и погубила его.

Горцы, зная отчаянную храбрость и запальчивость Фисенко, с которым не раз приходилось им иметь схватки, придумали верное средство избавиться от него навсегда. Партия, то быстро уходя от него, то приостанавливаясь и как будто не решаясь на бой, снова уходила: такими маневрами она завлекала все далее и далее от Кубани разгорячившихся преследованием казаков. Казаки, уже не рассчитывавшие на помощь с линии, были уверены в своей силе и верной победе; но лишь только они поравнялись с зеленчугскими высотами, ничего не замечая на пересеченной местности, покрытой кустами, высокой травой и камышом, как были отхвачены от Кубани огромным скопищем горцев, притаившихся в засаде.

Окруженные со всех сторон, выросшими будто из земли горцами, хоперцы твердо решились предпочесть честную смерть в бою позорному плену. Спешась, они побатовали коней и из-за них отстреливались, посылая смерть за смерть товарищей; но ряды их, с каждым залпом перекрестного огня горцев, редели. Вот уже их менее половины; кони побиты или поранены, а надежды на спасение никакой... Бравый Фисенко не потерялся: сделав последний залп из винтовок, с шашкой в одной и с пистолетом или с кинжалом в другой, все бросились напролом — и пошла резня... Масса задавила и осилила последний отчаянный натиск этих достойных памяти молодцов; но ни один из них, даже израненный, не был трофеем горцев, дорого заплативших за свое торжество. Двое только казаков, пораненные пулями, и один из них с порубленной шеей, чудом сохранившиеся среди трупов товарищей, по уходе горцев, придя на заре в память, дотащились до зеленчугского поста и рассказали о гибели товарищей. Сотник Фисенко и в предсмертный час не изменил девизу своего хорасанского кинжала, гласившего: «без нужды не вынимай, со стыдом не вкладывай» (Кинжал покойного, достойный сын его, есаул Фисенко, добывший его от горцев, мне показывал, как фамильную святыню. Это был превосходный хорасанский клинок и на нем, славянскими буквами, вычеканено золотом с одной стороны имя и фамилия покойного, с другой надпись: «без нужды не вынимай, со стыдом не вкладывай». Правило далеко бессмысленное и свойственное честной и нехвастливой натуре доброго казака.). Он пал геройски. Самые горцы, далеко не охотники [339] прославлять подвиги врагов своих, еще в мое время с уважением вспоминали имя лихого сотника и его хоперцев.

XI.

СОБАЧАТА.

Лица, которых я хочу вывести на сцену, это малолетние казачата, дети офицеров и более зажиточных или заслуженных урядников. с разрешения начальника линии, по просьбе отцова, мальчуганы, от 13-17 лет, временно образовывали особую команду, состоящую в ведении адъютанта. Их брали в набеги и походы; ходили они и в секреты со старыми казаками, и нередко были награждаемы за свои подвиги медалями и даже получали венец наград — георгиевский крест. Так у нас исподволь приготавливались добрые казаки, надежда семейств и будущая гроза горцев. Старые казаки прозвали их, и вообще называли, «бисова собачата» — эпитет, как видите, неказистый, но не лишенный знаменательного смысла.

Помню, лежишь в секрете в какой-нибудь страшной трущобе в камышах; погода подлейшая; кругом зги не видно, хотя места для секретов преимущественно выбирались в низменной местности, чтобы, на окружающем горизонте, можно было яснее рассмотреть. Утомление дневным трудом, а главное свычка с опасностью делали старого казака до того беспечным с нашим заветным «авось и сойдет», что, невзирая на важность секрета, казак иногда зычно похрапывал; но «собачата» являли себя каждый раз на секрете сущими «собачатами-ищейками». Новизна ли положения, невольный ли страх на таинственном секрете, только всегда эта молодежь была неутомима на сторожке. Не только всплеск речной волны, даже шорох, произведенный спросонья птичкой, не ускользали от их слуха. «Собачата» не уснут во всю ночь; тревожно и зорко следя за всем, что окружает, они нередко вырвали своей осторожностью беспечность старого казака.

Я уже говорил, что, в конце сороковых и в начале пятидесятых годов, дерзость горцев доходила до крайности; мелкие партии непрерывно прорывались на нашу линию и даже за Кубань, несмотря на то, что редкой из них удавалось возвратиться домой безнаказанно.

В числе вызванных необходимости мер против назойливости горцев было усиление и увеличение секретов.

Сильный секрет, под моим начальством, был заложен [340] невдалеке от станицы Лабинской, на лучшем броду. В состав секрета первый раз были взяты четыре станка (ползуна), с 12-ю боевыми ракетами. На секрет были назначены и трое «собачат», офицерские дети: Потапов, Братков и Красновский; старшему из них не было и пятнадцати лет. Погода была отвратительная: то моросил мелкий осенний дождь, как через сито; то порывистый ветер гнал целые валуны черных и грозных туч, насыщенных электричеством; молния сверкала непрерывно, ослепляя глаза; удары грома, казалось, разражались над самой головой, будто залп батарейных орудий, и, постепенно замирая, глухо повторялись эхом ущелий, как ропот спросонья ворчливой старухи. Для неопытного новичка казалось невозможным избрать такую погоду для набега; но в том-то и сила, что и мы, и горцы, большею частью, пользовались подобными ночами, что добрый хозяин и собаки не выгонит на двор. Метель, гроза, проливень-дождь или туман, седой и густой, как молочный кисель — добрые вожаки для того, чтобы пробраться к неприятелю незамеченными: тут-то и надо держать ухо настороже, когда глаз не видит ни зги.

Время было около полуночи. Завернувшись в бурки и башлыки, мы лежали невдалеке друг от друга труппами. Около меня станки и «собачата». Малейший звук не ускользал от их слуха, и они, наперерыв, то и дело обращались ко мне с шепотом предостережения и подергиваниями за бурку или башлык; им во всем и везде мерещились горцы, ползущие на нас, так что не раз добрый туман был наградой за неуместную болтовню. Вдруг вспыхнула в нескольких местах молния и разрежала тучи, как взрывы сильных камуфлетов, и осветила реку, ясно обрисовав большую толпу всадников, кучами переправлявшихся прямо на нас. Мои «собачата» чуть не вскрикнули; пинок ногой образумил их. Получив шепотом отданное приказание, «собачата» торопливо, но осторожно отправились передать его секретным. Вынув винтовки из чехлов, поползли казаки к обрыву на въезд брода... Мальчуганы вернулись ко мне чуть переводя дух, боясь произвести шорох. За оглушительным ударом грома в могильной тишине, ясно слышался всплеск воды, перерезываемый грудью добрых коней, по временам храпевших от напряжения... Вот уже передовые кони, бултыхая, ступают легко по прибрежной отмели... Раздался мой сигнальный выстрел, направленный на всплеск (Стрелять на всплеск воды или треск камыша, т.е. на слух, дело практики; наши пластуны в этом искусстве были артисты.); [341] за ним сверкнули почти мгновенно выстрелы секретных и, будто огненные драконы, дымом и пламенем освещая свой след, понеслись четыре ракеты. Дрогнувшее эхо, стелясь по реке, далеко отозвалось, как похоронная песнь. Затем раздался не один вопль проклятия и мольбы к пророку, и не один звук достиг до нас от падения тяжелого тела в воду, как бы всплеск от брошенного могучей рукой камня. Сверкнули и торопливые выстрелы с реки по секретным, уже успевшим далеко откатиться в сторону с мест, обнаруженных их выстрелами. Смежный небольшой секрет у маяка (По протяжению линии, у нас ставились шесты в таком расстоянии, чтобы ясно можно было их видеть ночью. На маячный шест привязывался без дна бочонок с соломой и паклей, облитых смолой или нефтью, и с кусками серы, от которой вниз по шесту вился стопин. Около шестов редко клался секрет, но всегда не в дальнем расстоянии, так чтобы, пробравшись к нему, можно было зажечь маяк.) зажег его; замелькали тревожные огни вверх и вниз по линии.

Дрогнула окрестность от выстрела с угловой станичной батареи и осветилась брандскугелем местность за Лабой против переправы, и одно за одним, описывая огненную параболу, полетели светящиеся ядра. Две сотни казаков уже неслись из станицы, размахивая факелами, и тотчас же бросились на оторопевших на переправе

горцев: они толпились и мешали друг другу выбираться на берег. Нам живо из станицы подвели коней, и секрет, переправясь выше партии через Лабу, бросился в карьер для занятия Айгеского ущелья — единственный путь, дававший возможность обороняться. Еще раз удалось нам встретить хищников дружным залпом и ракетами, чем отбросили их на сотни...

Пасмурный рассвет, с моросившим и проникавшим до костей дождем, постепенно выяснял окрестность, окутанную матовым туманом, и озарял картину бегства и преследования джигитов.

Не один десяток тел не досчитали горцы вернувшись домой, и много пришлось работы их хекимам (Хеким — горский медик-самоучка, но зачастую великий практик.), перевязывая раненых, судя по тому, что в станицу было пригнано более сотни оседланных коней и понатаскано порядочно тел. Наша потеря была человек в пятнадцать убитых и раненых, да десяток другой коней. Надолго остратка эта отняла у горцев охоту пользоваться темной ненастной ночью, и уже редко стали они переправляться кучами на известных бродах.

Мои «собачата» вели себя на славу, не отставая ни на пядь от [342] старых казаков. Первой наградой для «собачат» был единодушный привет старых рубак крепким, но ласковым словом. В тот же день приказ по линии и бригаде отличил их имена и заявил как храбрых казаков, уже не ребят. Вскоре они были зачислены на действительную службу в сотни: верхушки их шапок, перекрестились урядничьим галуном, а груди украсились серебряными медалями «за храбрость» на георгиевской ленте.

Нужно было видеть восторг этих мальчуганов, чтобы сказать: да, я видел счастливых! И не одни малолетки, а и старые седые бородачи превращались в детей, надевая георгиевский крест: в то время у них не было никаких других желаний — они были счастливы всем своим существом.

ХII.

АЧХОЙ.

Главный чеченский отряд, под начальством генерал-лейтенанта Лабинцева, 19-го июня 1840 года выступил с Сунженской линии и, переправясь за реку Ассу, стройной колонной двигался по Ачхоевской равнине, обрамленной густым чинаровым и дубовым лесом; за лесом, на северо-запад, тянулась снежная цепь главного кавказского хребта, и Казбек, как исполинская сахарная голова, отчетливо рисовался на безоблачном небе. Дивна всюду природа Кавказа; но немного и там таких роскошных равнин, как Ачхой, недаром прозванной житницей Чечни по своему хлебородию. Эту-то, житницу шел отнять у чеченцев генерал Лабинцев, имея в виду построить на ней сильное укрепление Ачхой, как оплот владычества русских, и тем самым продолжить, вдоль Черных гор, линии укреплений от крепости Грозной, построенной грозой чеченцев, генералом Ермоловым.

В составе отряда был и мой взвод конно-казачьей № 14-го батареи, шедший в авангарде.

Кругом царившая тишина и весело светившее яркое солнце, игравшее на оружии войск, как бы приветствовали новых могучих владык равнины.

Быстро промчался вперед авангард, окруженный своей свитой и конвоем, величавый и статный начальник отряда. По его приказанию, отряд остановился. При полной тишине

раздались слова Евангелия, произнесенные отрядным священником, перед началом совершавшего напутственное молебствие. Набожно сняв шапки и держа оружие на молитву, крестили грудь старые усачи, не раз смотревшие [343] прямо в глаза смерти, и только изредка бряцавшее оружие нарушало торжественную тишину их молитвы.

В лесной опушке мелькнули горцы, и, как враждебный салют, раздался выстрел артиллерии имама, владыки Чечни. В ответ ему, среди молитвы, грянули орудия авангарда, выскакавшие на позицию; ядра и картечь, посвистывая как добрый молодец, начали ломать деревья. Все жарче и сильнее становился артиллерийский огонь... Уже явились из главной колонны и батарейные орудия, и пехота двинулась вперед для занятия леса. Но наибы Шамиля, поджав хвосты, отступили в глушь векового леса. Отряд, не понеся почти никакой потери, двинулся к реке Фортанге, и расположился на месте, предназначенном для возведения укрепления.

Наутро приступили к планировке местности. Через несколько дней явился широкий ров и заложено было укрепление. Пехота, точно муравейник, копошилась на работах. Горца молчали, и мы уже начали скучать бездействием. Но 20-го июля наибы Шамиля надумались, и перед вечером открыли из Гойтинского леса канонаду, бросая снаряды в широко раскинутый лагерь. Все живо встрепелось в отряде. Генерал приказал унять разворчавшихся наибов Чечни. Понеслись орудия за орудием, окруженные пехотой и кавалерией, и тотчас же открыли гибельный огонь. Не прошло и часу, как замолкли горные орудия, скрывшись за лес. И опять никто и ничто не тревожило отряда до 30-го июля.

Едва возвратилась пехота с рубки леса, как появились на опушке толпы конных и пеших чеченцев, прикрывавших четыре орудия большого калибра... И закипела канонада по лагерю. В это время я был в палатке начальника центра, князя Голицына, который, сидя перед походным столиком, отдавал приказания; но они были прерваны навесно влетевшей гранатой, ударившей в угол столика и начавшей на полу вертеться юлой. Раздумывать было некогда: набросив на гранату папаху, я схватил ее обеими руками и, выбежав как шальной из палатки, так удачно с размаха бросил ее о лежавшую вблизи груды камней, что деревянная трубка вылетела и тем избавила нас от неминуемой гибели...

Недолго пришлось потешаться горцам; они убрались с двумя подбитыми орудиями и потащили не одного товарища, раненого или убитого.

Во время канонады подъехал к моему взводу командир Навагинского полка, причудливый и храбрый генерал Полтинин, и, обратившись к № 1-му, старому и бравому бомбардиру Гридину, [344] сказал ему: «А что, молодец, ссади мне ядром вот того чеченца, что в красном балахоне, на белом коне; я дам тебе монет. Припал к орудию Гридин, навел его, сложив рядом большие пальцы рук, вместо диоптра — и ядро перерезало коня со всадником. Вытянулся молодец, махнул рукой по направлению выстрела и протянул ее за наградой. Генерал не только дал обещанное, но и велел придти к нему выпить стакан водки. В это время, ядро, почти уже обессиленное, ударило в хоботовую подушку и покатило дальше. Молодой казачок-фельдшер, первый раз видевший такую штуку, вздумал остановить ядро плетником, но оно, подскочив, ударило его по руке и беднягу потащили самого на перевязку. По возвращении с позиции, потребовал меня начальник отряда и, вместе с князем, поблагодарили за находчивость. Правду же сказать, не за что было благодарить: ведь у меня и мысли не было спасти князя, а все это случилось как-то случайно, по инстинкту самосохранения.

Около половины августа, в состав отряда прибыла с Дону конная батарея подполковника Я-на, уже с орудиями на железных осях и блестящих как золотые, одним словом, точно на парад; но эта-то щепетильность, невзирая на дивную выправку людей и статность коней, не понравилась генералу Лабинцеву, любившему простоту и пользу, а не франтовство. Поразговорившись с батарейным командиром, он высказал в таком духе, свое мнение и, в подтверждение своих слов, предложил сделать сравнительный опыт быстроты действия. Задетый за живое, Я-н предложил пари, что, поставив на расстоянии версты десять шестов, любой его взвод, несясь в карьер, снимется с передка, сделает выстрел и пронесется до крайнего шеста. Пари было принято; генерал потребовал к себе старого своего знакомого, сотника Рассветаева, который, с ездового до взводного командира, прослужил лет двадцать в одном и том же взводе и славился как практичный стрелок.

Объяснив ему в чем дело, генерал получил лаконический ответ: «не посрамимся, ваше превосходительство. Возвратившись в парк, Рассветаев приказал взводному уряднику дать по доброй порции людям и запрячь артиллерию. Выстроились взводы у шестов, которые были поставлены в две линии, и, по команде, понеслись с места в карьер. К первому шесту прежде прискакал донской взвод и, сделав выстрел, понесся далее; но рассветаевцы не зазевались и, поразмяв коней, не только первыми прилетели к [345] последнему шесту, а успели вернуться и у предпоследнего шеста вместе сделали выстрелы с донцами, еще недоскакавшими до призового шеста. Пари было выиграно и подполковник Я-н, убежденный опытом, воскликнул: «Да, ваше превосходительство, это не люди, а черти!.. Еще не осадив коня, прислуга кубарем слетала и подхватывала орудия с передков. Как бы то ни было, а быстрота и ловкость остались за линейцами.

Потянулись опять своей чередой мирные дни; опять стоянка в прикрытии рубки леса, да на фуражировке сменялась нарядом на ночь, для встречи выбегавшим целыми семьями чеченцам, селившимся под выстрелами укрепления. Все это время не было порядочных схваток и ограничивалось пустой перестрелкой на рубке леса. Спокойствие было томительное; вместо осторожности явилась беспечность.

Однажды, возвратившись в свой балаган с ужина от начальника отрядной артиллерии, нашего бригадного и батарейного командира, полковника фон-Штемпеля, я и, прикомандированный от № 24-го конной батареи поручик К-в, мой смоленский земляк, вздумали заняться туалетом и велели вычистить сапоги, несходившие с ног более месяца. Усердный деньщик К-ва, незабвенный Балацко, вычистив на славу, перемешал сапоги, а у К-ва ножка была благодатная. Ночью тревога... Чеченцы подкрались и сняли несколько оплошных на секрете. Пошла кутерьма — артиллерия запрягай... Вскочили мы оба спросонья, надел я чужие самоходы и ускакал, а бедный К-в как ни бился, а выехал перед своим взводом в одних носках...

В конце августа, отряд посетил наместник, князь Воронцов. Горцы, как бы в честь его приезда, вздумали заявить о себе.

3-го сентября колонна фуражиров, под командой подполковника Голубинского-Лебединского, выступила с рассветом на долину реки Натхой, окруженную Гойтинским и Ичкеринским лесом. Мой взвод был в авангарде. Придя на место, я велел отпрячь коней, покрыть оглобли ящика буркой и спокойно залез в холодок, покуривая люльку. Около полудня, подъехал ко мне подполковник Голубицкий, приветствуя словами: «здорово учена артиллерия» — слово, подхваченное зубоскалами от нашего добряка хорунжего Даркина. Едва он успел усестись в холодок и приняться за закуску, как раздулись выстрелы и гик в цепи милиционеров, которые, бросившись уходить, сбили не только

казачьи, но и пехотную цепь, и на хвостах внесли чеченцев в самую колонну. Повозки и фуражиры, [346] расплзшиеся по долине, как тараканы по избе, захвачены были врасплох, и, пока опомнились, немало легло люда под ударами шашек. Всюду слышался отчаянный призыв: «подавай сюда орудию!» Значит, дело было плохо, когда солдаты кричат «орудию!» Молодцевато заявил себя батарейный взвод поручика Буйвида в этом случае. Между тем, толпы горцев, конных и пеших, выдвигались из леса, и артиллерия наибов Талгика, Дуба и Ахверды-Магомы открыла огонь из семи орудий против наших четырех. Встрепенулись в лагере и верст шесть или семь, перегоняя друг друга, летела на выручку нас вся отрядная сила. Пошла потеха на славу: сбитые со всех пунктов, горцы бежали толпами, устилая след трупами. Полковник Штемпель велел мне стать у замаскированного кустами мостика через Натхой... Запрыгала картечь по сбившимся в кучу горцам; переправ на реке, текущей в крутых берегах, было мало, а до другого мостка было не близко, и много полегло, из числа забравшихся по сю сторону реки, чеченцев. Поражение было общее; горцы едва увезли свою артиллерию в лесную трупобу. Во время преследования бегущего неприятеля к реке Валерику, столь поэтически описанной Лермонтовым несясь в карьер со взводом, я был позван Штемпелем и, получив от него приказание, поскакал к взводу, исчезнувшему из глаз в густом бурьяне. При этом я едва не налетел на взвод шамилевской артиллерии, улепетывавшей во все повода, считая его за свой; по счастью, заметил вовремя разношерстных коней и не по шестерику, а восьмериками в орудиях... А то пришлось бы мне поплатиться головой или, что еще хуже, попасть на цепь в яму наиба.

Собрались войска после преследования; выстроились и прошли гордо и стройно мимо кургана, с которого наместник благодарил за дружный и славный бой. Того же дня, к вечеру, были лично награждены князем Воронцовым все наиболее отличившиеся в деле. Я получил дорогие золотые часы с цепью. Потеря наша была довольно значительна, но ничтожна по сравнению с понесенной горцами, оставившими три значка и зарядный ящик.

Дня через два уехал наместник. Мы, до 22-го декабря, имели, как и прежде, только незначительные стычки с чеченцами. Укрепление было окончено и вполне вооружено. Оставив сильный гарнизон, отряд возвратился на Сунженскую линию и там распущен по домам.

Текст воспроизведен по изданию: Записки старого казака // Военный сборник, № 4. 1871

© текст - Шпаковский А. 1871

© сетевая версия - Thietmar. 2009

© OCR - Over. 2009

© дизайн - Войтехович А. 2001

© Военный сборник. 1871

ШПАКОВСКИЙ А.

ЗАПИСКИ СТАРОГО КАЗАКА

XIII.

(См. «Военный сборник 1871 г. № 4.)

ЗЕЛЕНЧУГИ.

Пластуны Зимовин, Коротков и Мамоков пробрались в верховья Лабы в тамовские и баговские аулы и хозяйничали там на славу. Но баговский кунак Короткова изменил, и его в сакле, спящего, захватили и бросили в яму скованного по рукам и ногам. Зимовин с Мамоковым, прождав своего товарища двое суток в Длинном Лесу, пустились на розыск. После долгих и неудачных попыток открыть его след, наконец слепой случай и счастливая звезда Короткова навели их на аул, где он, голодая, томился, в ожидании суда Амин-Магомета. Тот же случай помог подслушать разговор двух горцев, из которого они узнали об ожидавшей участи товарища — и решились, во чтобы то ни стало, выручить друга. Еще прежде, расставаясь, они условились, на случай склички, «гукать филином», подражая ему теми звуками, как он зовет нежную подругу насладиться любовью. И вот, уже потерявший всякую надежду на спасение, Коротков слышит за полночь условный сигнал друзей... Сначала не верилось ему; но сообразив, что не время ночных совиных серенад, он тихо и заунывно отозвался... и стал прислушиваться. Долго не повторялся отрадный сигнал и он уже терял надежду, приписав поразивший его звук расстроенному воображению... Но вот филин опять затянул свое «нугу, нугу, пугу-пугу»... Вскочил гремя цепями узник и, в испуге, так неистово отозвался, что спавший караульщик-горец проснулся и, добрым тычком приклада, заставил его опомниться... Между тем, звуки все ближе и яснее звучали в ночной тиши. Отвечать было немислимо: дюжий детина-сторож мог догадаться и поднять тревогу, а тогда все прости навек... Скрепя сердце и притаив дух, вслушивался хлопец в условные звуки, то слышавшиеся вблизи, то удалявшиеся и замиравшие в лесной глуши... Бедняк страдал, не смея отозваться друзьям и указать свое логовище; но судьба берегла доброго казака. Сторож повозился, покряхтел, затем полез из ямы, вероятно за сменой себе, и [346] едва затихли его шаги, Коротков принялся усердно, но осторожно звать друзей...

Томительны были минуты ожидания. Вот филин гукнул над самой головой, и Коротков, забыв всю осторожность, отозвался своим голосом: «сюда хлопцы... я в яме... лестница с левой стороны». Еще минута — и три друга вместе в яме, и усердно принялись работать над цепью; но, заслышав сперва шаги, а потом голоса, притихли и стали около бревна с зарубами, служившего лестницей. Двое горцев, перебраниваясь, подошли к яме. Один из них начал спускаться по бревну, где два ловких кинжала ждали его... И грянул на дно ямы, тяжело простонав, труп горца. Товарищ его, услышав шум и предполагая, что он оступился и упал в яму, спросил: что случилось? Мамоков, отлично говоривший на местном горском наречии, с бранью звал его к себе на помощь, объясняя, что, оборвавшись с бревна, ушиб ногу и не может подняться. Обманутый горец (тот самый, который уходил за сменой), полез в яму; но и ему пришлось поплатиться тем же порядком, как товарищу. Затем друзья, обобрав убитых и освободив от цепей Короткова (на всякий случай у пластунов имелись отмычки, смычки и пилка), который вооружился исправно оружием снятым с убитых горцев, поспешили выбраться из западни сажени в четыре глубиной. Но едва Коротков выбрался на свет, как месть закипела в его сердце: он уговорил друзей отомстить изменнику-кунаку. Подобрались они к сакле предателя, натаскали всякого горючего хлама и зажгли ее со всех сторон... Поднялась тревога в

загоравшемся ауле... Никто из горцев не обращал внимания на казаков, считая по костюму за своих; каждый хозяин старался отстоять и спасти свое имущество. Из подоженной сакли, пылавшей в розвал, вдруг выскочил полузадохшийся спросонья горец — и, вместо огня и дыма, нашел смерть за измену от кинжала кунака... Все это так быстро совершилось, что пластуны, незамеченные никем, поживясь в суматохе, успели выбраться за аул, оттуда и пустились «задковать» («Задковать», — технический термин пластунов, означает «идти задом», чтобы обмануть неприятеля направлением следов. Кажется, что это дело не требует особенной ловкости и искусства, а на практике выходит далеко не так: нужно иметь много навыка, чтобы, идя задом, отпечатывать следы, человека, покуда идущего вперед. Опытный пластун не впадет в ошибку, если этого условия не соблюдено.) по лесу. Поравнявшись с аульным кладбищем, поросшим густым кустарником, они слышали [347] конский топот. Пластуны тотчас же залегли в кусты, откуда вскоре завидели едущего навстречу на добром коне горца, ведшего трех лошадей в заводу.

В воздухе свистнул кинжал, пущенный сильной рукой Мамокова, и по рукоять врезался в спину горца... Горец, не пикнув, свалился с лошади... Пластуны, вскочив на коней, и имея одного в заводу, стремглав полетели в лес... Около полудня, они были уже в Надеждинском укреплении. Здесь они явились к начальнику зеленчугской линии, полковнику Попандопулло, которому Коротков, рассказав свое приключение, доложил, что дня два назад в аул приезжал тамовский старшина Багир, который, не подозревая, а главное и не опасаясь пленника, знавшего отлично горские наречия, разговаривал с аульными стариками и звал из аула джигитов для набега на зеленчугскую линию. К этому Коротков присоединил, что уже более 2,000 горцев готовы сесть на коней, а не менее этого числа пеших, что пошли к Надеждинскому, чтобы обложить его, пока соберутся все для совместной «атаковки». Сведения эти, хотя и не столь определительно, уже были сообщены горскими лазутчиками полковнику, почему он, поблагодарив пластунов, угостив их и щедро наградив, приказал им поспешить на свою линию и доставить бумаги нашему начальнику линии. Зашили пластуны за курпай (бараний околыш) папах данные им грамотки (это были дубликаты отношений к начальнику линии об оказании помощи); потом продав на форштате укрепления одного коня, друзья купили два седла, позапаслись чем следовало и отправились в путь. На свету, пробираясь Псеменским лесом, они столкнулись с пластунами Демоновым, Мезенцовым и Левченко, которые приготовились было из засады угостить друзей, приняв их за «татарву», да скоро опознали друг друга. И вот, поменявшись и доброй чаркой горилки, и своими сведениями, все вместе поехали на линию.

Далеко еще до заката солнца пластуны прибыли в укрепление Ахмет-горское (крайнее нашей линии к Зеленчугам), где воинский начальник, капитан Грумецкий, дал им открытый лист на взывание от постов свежих коней по тракту к Лабинской станице. Алонцы перед светом явились к начальнику линии, который, сообразив с их рассказами полученные сведения из гор, немедленно распорядился собрать летучий отряд на выручку Надеждинскому.

Линия наша, в это время, имела сильные и свежие резервы, а потому не предстояло никакого затруднения в сборе десяти сотен [348] кавалерии при 6-ти конных орудиях и 20 станках конно-ракетной команды. Вследствие этого, еще в сумерки мы выступили прямо через Псеменский и Длинный Леса к Надеждинскому, а шести ротам пехоты при дивизионе пешей артиллерии и двух сотнях казаков, велено было идти форсированным маршем по открытой местности за Лабой в ее низовья. Мера эта обманула зоркость горцев, и они, следя за пехотой, не заметили, как мы пробрались до зеленчугских высот и

расположились в тылу неприятеля, уже обложившего укрепление и приготавливавшегося к штурму.

Скверная осенняя ночь спустилась на землю. Мелкий, как из сита, дождь, сквозь густой, волнистый туман, совершенно закрывал пространство между нашим бивуаком и неприятелем. Костры тусклыми красными пятнами светились по линии, а черные тени, как привидения, двигались вокруг огней.

Пластунам Мезинцову и Зимовину велено было пробраться в Надеждинское, и дать знать о нашем приходе. Диспозиция для предстоящего боя была готова.

Занималась заря, когда отданы были последние приказания. Костры едва тлелись... Туман рассеялся... Утро совсем наступило; блестящее солнце облило ярким светом бивуак.

Вдруг вдали раздался выстрел пушки. Встрепенулись все, и трубы по всей линии затрещали тревогу.

Звучным, полным голосом скомандовал начальник линии: «к коням! садись!».

Так как много славных подвигов было совершено лабинцами, то я считаю необходимым обрисовать личность основателя этой линии, генерал-майора Петра Аполлоновича Волкова, который с чином ротмистра в течение десяти лет оставался неизменным и славным деятелем, составившим громкую славу линии, и поселил страх среди горцев. Он вплел не один листок в победный венок кавказской армии.

Богатый ярославский помещик, московский студент, начавший службу в гусарах, П. А. Волков заявил себя, как храбрый и дельный офицер, еще будучи адъютантом знаменитых кавказских генералов: Гурко, Граббе и Засса. Выше среднего роста, могучий стройный стан его, казалось, весь был соткан из мускулов; открытый лоб, большие, прозрачные темно-серые глаза дышали благородством и, вместе, непреклонностью воли. Резко очерченный прямой нос придавал что-то сурово-важное его лицу, тогда как мягкий абрис губ и добродушная улыбка говорили другое. [349]

Храбрый рубака, великолепный стрелок, лихой наездник, он был любим и уважаем всеми: совет его, не говоря уже о приказании, был законом для нас. Это была одна из тех счастливых личностей, который берут, как дань, общую любовь и уважение, и невольно внушают страх малодушным и негодяям...

Весело и легко несли мы трудную, тяжелую нашу службу под его начальством, и всякий из нас готов был броситься на верную смерть из-за одного его «спасибо».

Снисходительный, готовый всегда помочь ближнему, кто бы то ни был, и не одним словом, а самым делом, в то же время он был грозный, неумолимый каратель подлости и трусости.

Кажется, само Провидение пеклось о храбрых линейцах, послав им на передовые линии такие личности, каковы были Волков на Лабинской и генерал-майор Слепцов на Сунженской. Они оба оставили по себе вечную память признательности в каждом добром казаке правого и левого флангов кавказской линии...

Быстро тронулся отряд с высот, и, закрытый местностью, почти незамеченный горцами, обложившими с трех сторон Надеждинское, отрезал их от леса и от их аулов. Дивизион орудий, замаскированный орудийной прислугой и прикрываемый с обоих флангов двумя

сотнями, на полных рысях приблизился к главной массе неприятеля — и губительная картечь засвистала... Одновременно открыли огонь остальные два орудия и шестнадцать станков ракетной команды, разделенные на две части, каждая под прикрытием двух сотен, против флангов неприятеля, охватившего укрепление (Надеждинское укрепление сооружено при устьях горных речек, быстрых и светлых как слеза, Кифар и Бежгон, впадающих в большой Зеленчуг, бешено катящий свои мутные волны от иловатых берегов, поросших густым лесом.).

Дрогнули горцы, не ожидавшие такого «подзатыльника», стремительно бросились к стенам Надеждинского, но перекрестный огонь с его батареей и смело выступившие из укрепления на вылазку две роты, с развернутым знаменем (гарнизон зеленчугской линии состоял из кавказского линейного № 7 батальона), после дружного залпа бросились в штыки... Горцы, попав между двух огней, отчаянно кинулись на оставленный форштат, заняли его и, казалось, твердо решили дорого продать свою жизнь; но, теснимые и выбиваемые из хат пехотой и спешенными казаками, ударились на уход, через огороды к лесу. Но лес ожил... [350]

Скрывавшиеся там в резерве четыре сотни, при четырех ракетных станках, отбросили их на пехоту и казаков. Отчаяние придало силу и отвагу горцам: поворотив вправо по болотистому грунту, они ринулись всею массой напролом к лесу. Хотя этот маневр им отчасти и удался, однако немного спаслось их, невзирая на то, что, как испуганная стая воронов, рассыпались они в вековом лесу. Гонимое до вечера по следам, и в своем крепком оплоте — дремучем лесу — горцы не нашли спасения: из числа собравшихся тысяч, едва сотни вернулись к своим очагам. Поражение было общее, и этот урок навсегда отнял у горцев охоту нападать на зеленчугскую линию.

Во все это время, потеря с нашей стороны была около сотни убитыми и ранеными, да побито и покалечено 70-80 лошадей, и вдобавок захвачены две-три пары быков и коров, которых не успели загнать в укрепление, когда подступали горцы.

Так окончилось неудачное предприятие горцев, приунывших и надолго залегших по своим логовищам.

Весело уселись мы за роскошный обед-ужин, радушно предложенный хозяином укрепления, полковником Попандопулло; дружно выпили за здоровье царя, обоих начальников линии и за славное дело на Зеленчугах.

На утро гарнизон приступил к исправлению поврежденных укрепления, а наш начальник линии с большею частью отряда отправился для рекогносцировки окрестной местности, еще нам незнакомой. Отойдя верст 15—16 на север от Надеждинского, мы остановились на живописной высоте, окруженной, с трех сторон, уступами исполинских скал, у подножия которых теснился густой девственный лес. На самой вершине высоты, среди кущи вековых чинаров и дуба, высился, из белого мрамора и дикого гранита, древний христианский храм, византийского стиля, внутри которого в алтаре стояли три восьмиконечных креста из серого мрамора, довольно хорошо сохранившиеся (кресты эти впоследствии были взяты и поставлены в Надеждинском укреплении). Храм невелик, но чрезвычайно живописен в своих развалинах: поросший вековыми деревьями и, как гирляндами, обвешанный плющом, диким хмелем и различного рода ползучими растениями. Он невольно внушал благоговение и располагал душу к молитве...

Сделав небольшой привал около этого храма, мы повернули на восток и, пройдя верст двадцать, наткнулись на берегу быстрой горной протоки на остатки какой-то древней

крепости, рвы, [351] валы, батареи и раскаты которой поросли огромными деревьями и среди них грудями валялись искусно отесанные камни и особого формата огромные кирпичи, свидетельствовавшие о принадлежности их к прочной постройке, бывшей на месте настоящих руин. Горцы называли крепость общим именем «кол-аджи», т.е. старая крепость, и таких кол-аджи немало в Длинном и Псеменском лесах, но против кого они строились и кому принадлежали, преданий не сохранилось... Среди этой развалины запылали костры нашего ночного бивуака, а пластуны были посланы разведать окрестность... Вместе с рассветом мы поднялись и двинулись за возвратившимися с поисков пластунами... Разорив несколько кошей, захватив на них скот, сжегши два небольших аула, пожегши сено и запасы хлеба, мы ночью возвратились в Надеждинское.

В сожженных аулах мало было молодежи: она большею частью участвовала в неудачном набеге и, ошеломленная, еще скиталась по лесам, опасаясь наткнуться на наших; но все-таки добыча наша была за тысячу штук разного скота и более двух десятков пленных.

Передневали мы у радушного Попандопуло, и часу в двенадцатом утра уже любовались чистеньким и красивым, как игрушка, постом Бельширским, а часу в пятом остановились у мрачного, старого, большого зеленчугского укрепления. Все время горцы издалека следили с высот за отрядом и, проводив нас до укрепления, успокоенные принятым направлением отряда, возвратились по домам. Но и тут расчет их был неверен...

«Расходился наш волк — нескоро уймется», — говорили казаки. И, действительно, расходился... Сделав дневку в укреплении, по выпавшему за ночь неглубокому снегу, мы пошли не на Кубань, как предполагали горцы, а вверх по малому Зеленчугу и поворотили в Длинный Лес... Идя в лесной глуши, мы еще издали слышали скрип ароб. Полковник приказал раздаться отряду, чтобы захватить нежданную добычу... Прошло с час времени, и шестнадцать ароб, запряженных по паре быков, были среди нас. Погонщики, не ожидая такой парадной встречи, развалясь похрапывали на тяжело-нагруженных возах... Схватились было они за оружие, но, сбитые с ног и скрученные по рукам и ногам, с завязанными ртами, были положены на воза, кроме одного, упорно защищавшегося и убитого на месте... Угрозы и обещания награды и свободы развязали язык одному старику: он рассказал, что они ехали на «сатовку» в аул князя Дженгета Наурузова, до [352] которого оставалось не более 6-7 верст. Старик стал нашим вожаком. Отряд, пройдя обратно с версту, поворотил прямо на аул. Оглушительный скрип ароб (Горцы никогда не мажут колес своих ароб, говоря: «зачем мазать? разве я вор». — Арба, на двух огромных колесах таратайка, поднимающая большие тяжести, чрезвычайно удобна в горной местности и легка на ходу по своему устройству.) заглушал звук копыт и колес по легкому морозу, и мы подошли к самому аулу, незамеченные оплошными горцами. Стащив с ароб связанных хозяев и сбросив часть клади, на каждую арбу улеглось человек по 5-6 казаков... В этом порядке двинулись к воротам хорошо укрепленного аула, окруженного густым лесом, скрывавшим нас. Недолго переговорив (разумеется, на чистом горском языке) о цели приезда, известной от вожака, казаки, с полусонными караульными, проехали в аул сквозь опущенные ворота (Ворота у горцев не ратсворчатые как у нас, а опускные, наподобие вертящихся вверх качелей, и одна опускная только половина забирается сплошным плетнем или досками, и приводится в движение веревкой, идущей от верха перекладины)... Не прошло и часа, как в нескольких местах аул запылал, а вслед затем раздались в нем выстрелы, крики и стон... Возвратившиеся в аул из засады казаки довершили начатое... От большого и крепкого аула остались лишь обгорелые головни, да дым валил трубой, пробираясь вверх по деревьям...

Пленных было захвачено около сотни, невзирая на то, что вообще линейцы недолго любили брать в плен...

Едва вершины деревьев озолотились первыми лучами яркого осеннего солнца, отряд свернул из леса и, хотя все еще по пересеченной местности, покрытой кустами, быстро двинулся от разгромленного аула. Горцы собрались преследовать нас, но уже не могли нанести существенного вреда, невзирая на смелые и отважные атаки. Картечь и ракеты опрокидывали их, и отряд, как сильный кабан-секач, отбиваясь от стаи недружных собак, отбрасывая смельчаков, выбрался на открытую местность. Горцы, пораженные столькими неудачами и огромными потерями, оставили безрассудное преследование.

Между тем, надо сказать, что в Псеменском лесу собралось порядочное сборище, ожидавшее нас на обратном пути. Сборище это, напрасно прождав нашего возвращения занятым путем, разошлось ни с чем, а мы, с добычей и победой, возвратились домой.

Так кончилось наше десятидневное движение на Зеленчуги, [353] оставившее неизгладимые следы среди горцев, гнездившихся в верховьях Зеленчугов и Лабы, и еще ни разу не испытавших такого погрома.

Отряд же пехоты, под командой подполковника Страмбургского, посланный вниз Лабы, чтобы прикрыть наше движение, тоже пожег несколько небольших ближних кошей, копны сена и запасы хлеба, и возвратился на линию почти без потери, если не считать 3-4 человека легко раненых, да десятка коней выбывших из фронта.

XIV.

НА ЧАЛМЫКЕ.

Для встречи и конвоирования по прямой дороге от крепости Прочный-Окоп в станицу Константиновскую командующего войсками на кавказской линии и в Черномории, атамана Черноморского Войска, генерала от кавалерии Заводовского, желавшего лично видеть устройство вновь водворенной станицы, первой на линии поселенной с Дона, был назначен конвой. В состав этого конвоя назначены были и два станка конно-ракетной команды с двадцатью ракетами. Встретили и проводили мы генерала, оставшегося вполне всем довольным, и затем конвоировавшие части были распущены по своим местам.

Перед закатом солнца, я с моими станками отправился прямой дорогой в станицу Лабинскую. Нам оставалось проехать не более 8—9 верст, как урядник мой Ляпин обратил внимание на появившиеся вдали над Лабой черные точки. Остановились мы, и по плетникам нагаек, вставленным промеж конских ушей, зорко стали следить: точки стали двигаться с прицела; значит это не кусты, каменья или пни, а живые существа, и уже никак не дикие козы или кабаны; да и не наши казаки — им не для чего было быть за Лабой в это время, когда «пикетные» съехали с курганов. Переговорив между собой и повыправя оружие, мы тронулись в путь, держась подальше от Лабы... Точки быстро и живо росли, и вот уже в подзорные трубки (Редкий казак на линии не имел при себе подзорной трубки константинопольской фабрикации, оправленной в картон и стоившей у нас от 1 до 3 руб. сер.) мы ясно стали различать всадников. Припали мы к лукам, гикнули на добрых коней и как мысль понеслись... Но и точки, превратившиеся в партию горцев, не дремали и старались отрезать нас от станиц. [354]

Делать было нечего: нам, в числе двенадцати, пришлось волей неволей вступить в бой с партией до сотни джигитов, быстро охвативших нас справа от Лабы... Уходить к Чамлыкской станице было еще опаснее по местности: мы решились драться и не выдавать друг друга.

Чтобы выиграть сколько-нибудь время и поближе подобраться в Лабинской, на помощь которой оставалась нам верная надежда, мы поворотили к Чамлыку. Это движение обмануло горцев, и они бросились наперерез, а мы, быстро поворота опять к Лабинской, полетели по торной дороге, тогда как горцам пришлось скакать по густой траве. Этим мы выиграли около версты и уже надеялись утянуть; но оставшаяся в лесу большая часть партии, о которой мы и не подозревали, быстро отрезала нас по дороге к станице, расстоянием верст около четырех... Спешась и выставив станки, я бросил две ракеты вперед и затем две влево, в летевших на нас толпой хищников. Ракеты сделали свое: испуганные кони, не слушая повода, понеслись врассыпную, а мы опять на коней — и, отстреливаясь из винтовок на все стороны, успели еще проскакать с версту, пока нас снова окружили справившиеся с конями горцы.

Не успели мы выпустить еще двух-трех ракет и выстрелить из 6—7 винтовок, как с станичной батареи сверкнул выстрел, и затем местность осветилась факелами дежурной сотни. «Затамашились» горцы, и, сделав по нас несколько торопливых выстрелов, бросились на уход. Что заставило их направиться к Чамлыку, трудно разгадать: страх ли быть сбитыми на секреты и тенетные пути, надежда ли скрыться в Чамлыкском Лесу и через него пробраться безнаказанно, пользуясь темнотой, но только принятое ими направление внутрь линии было более чем безрассудно. Да, видно, на то уже была судьба со своим непреложным предопределением, сбив с панталыку правоверных...

Искренно порадовались мы скорой помощи станичников, тем более, что четверо казаков были уже ранены (хотя не очень опасно); вьючный конь с ракетными ящиками убит, а пять пораненых лошадей едва держались на ногах. Для того, чтобы показать, где мы и горцы, я пустил одну за другой ракеты по направлению уходившей в рассыпную партии. Смекнули наши в чем дело, и помчались за джигитами. Но, доскакав до Чамлыка, они вдруг потеряли их след, сколько ни старались отыскать сакму, освещая местность факелами... [355]

Сотня станицы Чамлыкской, перескакав по мосту, присоединилась к нам. Волков приказал до рассвета сторожить по реке от моста. Развели костры по обоим сторонам Чамлыка и по высотам правого берега. Осветилась далеко окрестность, а горцы точно провалились сквозь землю. Вот уже и солнце высоко поднялось из-за гор, а рыскавшими по всем направлениям казаками все еще не открыта сакма... Взяли из станицы собак, отвели их, где исчез след у самого брода, и пустили... не прошло и получаса, как залились ищейки точно по зрячему на одном месте. Начали казаки осматривать по бурьянам шаг за шагом от брода оба берега, и вдруг с правого берега увидели всю партию, притаившуюся, точно в пещере, в огромной прогалине подмытого водой левого берега, закрытой деревьями и густой листвой. Залегли стрелки и принялись выбивать из берлоги горцев. Несколько раз предлагали им сдаться, но они отвечали выстрелами и страшной бранью. Чтобы положить конец, велено было выбить их ракетами. Едва лишь разорвалось несколько ракетных и ручных гранат, испуганные кони горцев, не взирая на батовку, шарахнулись, горцы бросились на них и полезли зря, куда попало, на берег и по топи мелководной в то время реки, не рассчитав, что, кроме брода, по совершенно почти отвесным глинистым берегам, в три-четыре и более сажени высоты, выбраться под выстрелами невозможно, не взирая на маскировку из ползучих растений, деревьев и густой листвы. Однако, безвыходность положения вызвала горцев на отчаянную решимость: джигиты, как бы сговорясь, бросились на взезд брода, решаясь массой прорваться сквозь сплошную цепь пехоты. И эта попытка не повела ни к чему: штыки и приклады сбрасывали их с кручи. Озлобленные солдаты и казаки беспощадно рубили и кололи, не слушая воплей о пощаде и воззваний к пророку. Свалка сделалась страшной;

наши бросались с ожесточением до безрассудства — и только могучая воля начальника линии заставила опомниться и повиноваться... До 70 человек сдалось в плен; раненых и убитых собрано в Чамлыке и в береговом лесу до 118, но едва ли достались целыми 50—60 лошадей. Из всей партии удалось спастись, и то пешком, не больше десятку-другому с вожаком Берзеком Алхазовым.

У нас всех было убитых с ранеными до 50 человек, да от 30—40 коней.

Так кончила свой набег отборная партия Алхазова: слава прежде ловкого вожака закатилась навсегда. Укоряемый и [356] пренебрегаемый своими, Алхазов не выдержал и, боясь мести, бежал к русским. Но не прошло и месяца, как тело его было найдено близ Темиргоевского укрепления. Страшные раны на трупе и оставленное нетронутым оружие свидетельствовали, что он пал храбро защищаясь от рук своих же земляков, почтивших, по своему поверью, славного Хаджирета, который дорого продал свою жизнь, и потом, в награду, должен явиться в рай Магомета в полном вооружении.

XV.

ЗНАМЯ.

Первый пеший кавказский линейный казачий батальон был сформирован, по Высочайшему повелению, из казенных крестьян, водворенных в Ставропольской губернии и обращенных в войсковое сословие. Присланные лучшие офицеры и урядники из образцового полка оправдали свое назначение, и не прошло года от сформирования батальона, как новые казаки с бою заслужили себе знамя.

Командующий войсками, генерал Заводовский, лично предпринял набег за реку Белую. В состав отряда назначены были и три роты 1-го кавказского казачьего батальона подполковника Нелидова. Весело и бодро шли в первый поход молодые казаки; любо было смотреть на стройные, красивые их ряды: черные короткие чекмени, с патронами на груди, опоясанные кинжалами, широкие шаровары в длинные сапоги, в молодцевато-надетых папах с ружьями за правым плечом на погоне. Они смотрели такими молодцами и, не рисуясь, внушали уверенность своими открытыми типичными физиономиями, что не ударят лицом в грязь, столкнувшись с татарвой, и не посрамят имени казака.

Как и всегда заявили себя молодцами конные линейцы, разгромив большой укрепленный аул Гулла и истребив запасы сена и хлебов. С богатой добычей и пленными, отбиваясь на каждом шагу, отступили они к лесу, занятому тремя ротами 1-го пешего батальона. Молодцами встретили роты напиравшего неприятеля, неторопливо посылая пулю за пулей, и, ловко отбиваясь штыками, отступали новички, точно старые боевые солдаты. Так прошли они более версты по густому лесу, и сделав дружный залп, залегли перекастной цепью от опушки на пересеченной местности. Горцы как бы хотели испытать стойкость новичков в невиданной еще форме: смело и отважно бросались на цепь, но всякой раз, [357] ошеломленные, отброшенные, со значительной потерей, отступали. Зазвучали рожки и, по сигналу, как по волшебному жезлу, явился из густой травы сомкнутый строй: пустив батальный огонь, окруженный как облаком дымом, он бросился в штыки. Поворотили тыл горцы и опрометью кинулись в лес, не смея уже из него показать носу, а между тем роты, поворота кругом, медленно и стройно отступили к главной колонне, приветствуемый ветеранами, как добрым баткой: «бравые детки!» Командующий войсками, обойдя ряды, поздравил роты и с первым боем, и с будущими наградами. Нужно было видеть восторг этой бравой молодежи, заявившей себя на первом

боевом шагу. Весело и шумно окружили котлы уже понюхавшие пороха новички-казаки; обошла их царская круговая чарка, выпитая впервые после боевой схватки.

На другой день, при отступлении отряда, пешие роты были в цепи, и опять доказали, что носят недаром звание казака: не шли они как рекруты, не отделяясь от пары и не переводя огня, лишь бы выстрелить, но ловко и толково пользовались местностью, и выстрелы их были не на ветер. Особенно отличалась во все время 1-я рота есаула Нолькена.

Так начали свое боевое поприще еще недавние кавказские казенные крестьяне, превратившиеся, по воле Государя, в стройных, стойких и храбрых казаков.

Набег вполне удался, благодаря толковой распорядительности, при быстром и дружном исполнении войсками отряда, желавшими заявить (Считаю нелишним сказать, что в северном и южном Дагестане, а также частью на левом фланге, смотря по местности, штурм аулов и взятие завалов делалась исключительно пехотой. В центре же, и особенно на правом фланге, это дело было конных казаков, которые с налета, как сокол на добычу, кончали погром. Зато отступление, нередко самое главное в экспедиции, было дело пехоты.) себя перед глазами старого черноморца, генерала от кавалерии Заводовского, начавшего службу рядовым казаком на Кубани.

При разграблении аула, в сакле узденя и известного нашей линии отважного вожака партии, Пиюка Безрюкова, найден почти полный зембель (Зембель — большая мягкая плетеная из соломы корзина. Чурек — хлеб употребляемый повсеместно на Востоке, состоящий из лепешки, вроде малороссийских палиниц.), с медяками, серебряной и золотой монетой русского, турецкого и персидского чекана, закладенных сверху чуреками, да с полгарнца довольно крупного жемчуга, еще не просверленного, и целые кустки превосходной бирюзы. Эта добыча досталась нашим лабинцам. [358]

В плен было взято до 80 душ обоего пола, отбито более 2,000 баранты, ста два с половиной рогатого скота и до 200 лошадей. Наша потеря была не более 50 человек убитых и раненых, да в 70—80 лошадях.

По роспуске отряда, казачий батальон был расположен по станицам нашей линии (1-й пеший батальон состоял в составе 1-й кавказской бригады нашего войска, пограничной с Черноморией.) и вскоре за этот набег батальону, по передовой реляции, всемилостивейше пожалованы знамя (по казачьему образцу — зеленое с белым крестом, орлом и лаврами), и четыре знака отличия военного ордена.

Как только были получены знамя и кресты, начальник линии отправился в штаб-квартиру батальона, станицу Вознесенскую, и здесь, по совершении установленным порядком освящения знамени, новобранцы ему присягнули. Затем начальник линии возложил знаки военного ордена, по единодушному избранию, на урядника и трех казаков, и новые кавалеры составили первый почетный караул при знамени, заслуженном ими в первом бою.

Усердно молились казаки во время совершения молебствия; тихо и благоговейно, с грустным чувством, при панихиде за упокой павших в бою товарищей, недоживших до такого торжественного дня.

Надо было видеть радостные, непритворные слезы стариков отцов и родичей, приехавших с целыми семьями из-за Кубани, приглашенных на освящение знамени, заслуженного кровью новых верных слуг Царя.

Командир батальона, подполковник Нелидов, угостил и доброй чаркой, и пирогом своих молодцев, а вечером задал им пир-горой наш начальник линии. Грянул стройный хор песенников; свежие, чистые голоса звучно-мелодически неслись в великолепной ночной тиши дивной лабинской ночи, и лились отрадно, прямо в душу, задевая ретивое родными мотивами.

На утро жители станицы угостили новых товарищей — собратьев по сословному званию, не посрамивших себя на первом испытании, и любо, и весело было смотреть на этот, как бы на родной, семейный праздник. На третий день отблагодарили их и своих расхोдившиеся закубанцы и заключили торжество, пожертвовав на батальонный образ Спаса значительную сумму денег от всех четырех селений, обращенных в станицы пешего батальона.

Текст воспроизведен по изданию: Записки старого казака // Военный сборник, № 8. 1871

© текст - Шпаковский А. 1871

© сетевая версия - Thietmar. 2009

© OCR - Over. 2009

© дизайн - Войтехович А. 2001

© Военный сборник. 1871

ШПАКОВСКИЙ А.

ЗАПИСКИ СТАРОГО КАЗАКА

XVI.

(См. «Военный Сборник №№ 4 и 8 1871 г.)

РАЗВЕДКА.

(В былое время «разведка» была одной из трудных служб пластуна: высмотреть и разузнать в горах о намерениях неприятеля, и если не удастся получить положительных сведений от кунаков-лазутчиков или иным путем, то необходимо было «достать язык», т.е. захватить живьем такую личность, от которой можно бы было добиться толку. На разведку, большей частью, отправлялись конными, так как предстоял дальний путь и нужна была быстрота и внезапность как нападения, так и ухода восвояси. Для разведки редко отправлялось более 3-4 пластунов, на самых резвых и сильных конях. Авт.)

Собрались пластуны на линии из своих рекогносцировок, не принеся положительных сведений из гор, кроме незначительной добычи-поживы и нескольких пальцев да ушей от убитой татарвы (Пластун, убив горца, отрезывал, если было можно, правое ухо или правый большой палец руки, на котором обыкновенно носилось кольцо, смотря по состоянию, золотое, серебряное, медное или железное, для взвода тугих азиатских курков. И за эти неопровержимые доказательства пластуны выдавались наградные деньги. Если же удавалось убить личность повлиятельнее и было не так далеко от линии, то отрубали голову и на нее нередко выменивались пленники. Чтобы не судить этого обычая строго, нужно вспомнить время, нравы и самое место разбойничьей войны с горцами.). Тишина в горах обыкновенно не предвещала ничего доброго, тем более что, с появлением Шейх-Амин-Магомета, горцы как бы усвоили себе, новую разбойничью тактику, следствием которой было более единства в их действиях и самой скрытной осторожности, так что наши горские кунаки-лазутчики поприжали хвосты, боясь суда и расправы шейха, не любившего шутить... И трудно было узнать что-либо верное о намерениях Амин-Магомета. Прошло около двух недель, а на линии ни одного происшествия, ни одного появления, даже мелкой партии... [118]

Начальник линии, В-в, во время обеда, разговорясь об этой тишине и о так сильно его озабочивавшем спокойствии горцев, обратился ко мне не с приказанием начальника, а как к боевому помощнику, на которого не раз полагался. — «Тишина меня тревожит; она не даром... Съезди ты сам на разведку со своими Мандруйкой и Запорожцем — вы трое стоите доброго десятка пластунов». Этот лестный вызов не мог попасть лучше в цель... И в тот же вечер мы втроем были уже за Лабой. За трое суток немало повиломали мы коней. Побывали в долинах и в ущельях Черных Гор, среди которых находились большей частью ставки шейха; побывали мы и на Теректли-мектеп (на реке Белой, главное место судилища и сбора влиятельных лиц для секретных совещаний); повидались тайком, по условным знакам, с кунаками-лазутчиками; но мало узнали толкового, а тем более положительного о намерениях Амина, сильно повлиявшего на умы горцев... Я решил послать Мандруйку пешком в аул к султану Ерыкову. Султан — давнишний плутяга, для которого «бакшишь» или «пекшешь», т.е. подарок деньгами или вещью, были главными двигателями. Он несколько раз был прощаем и награждаем чинами от нашего правительства, и в последний раз, до побега в горы, был штабс-ротмистром, прикомандированным к нашей бригаде, и даже командовал сотней. Он меня любил и уважал по-своему, и я решил положиться на него и разузнать, как от личности вполне

влиятельной в горах и конкурировавшей с шейхом. Султан был истый прототип, под который подходят все люди подобного характера. В этом атлете соединились природный ум, удивительная сметливость, безумная отвага, беспримерная самонадеянность, чистогорская удаль, отсутствие всяких, как говорят французы, «*scrupules de conscience*», инстинктивная доброта сердца дикаря, который свирепеет и готов на все, если его раздражить — сей же час забывает сделанное ему зло, если не видит сопротивления (кстати заметить, что он воспитывался в одном из наших кадетских корпусов, и потому был более развит сравнительно с его земляками). От этой личности и от этой недюжинной натуры, я всегда ожидал всего в больших размерах; вот почему и обратился к нему... К свету вернулся Мандруйко (его лично и хорошо знал султан), и сказал, что Ерыков принял с благодарностью посланные ему от имени В-ва часы, и увидится со мной ночью [119] с глазу на глаз в Уракаевском ущелье близ Пшедаха (священное дерево).

Место было знакомое, и опасаться засады было бы смешно после моего обращения к личности здесь обрисованной. Оставив товарищей-пластунов с лошадьми в лесу, я пробрался версты полторы кустами и густой травой и притаился у ствола векового пшедаха. Ночь была чернее тюрьмы; порывистый ветер гнал валуны туч, нависших свинцовыми слоями и бросавших мелкие дождевые капли, проникавшие до костей, от которых понамокшая бурка немного спасала... В темноте слух, а не глаз больше настороже, и, невольно сжимая рукоять кинжала, я ждал этого *tet a tet*... Около полночи защекотала горная курочка и, затем, три раза крикнул горный беркут: это были условные сигналы нашей встречи... Подвыл я шакалом в ответ, и так жалобно, что самому стало смешно... Вскоре зашелестела трава под осторожной, но твердой походкой, и султан дружески пожал мне руку со словами: «ты все такой же, мой Аполлон, такой же джигит очертя голову и такой же неизменный товарищ! Что тебе хочется знать, спрашивай: для тебя и В-ва у меня нет заветного, нет тайн, да и что мне наши шакалы и кроты, когда я уже обрусел»!.. Более часу беседовали мы, как старые друзья, и много узнал я сокровенных тайн, ненавистного душе султана, Амин-Магомета с его клеветами, ползавшими перед ним по-восточному, да, пожалуй, и по нашему, старому адату. Тишина была недаром предвестницей того губительного урагана, который едва не разразился на линии 14-го мая 1851 года.

Амин-Магомет собирал тайком и почти в одиночку на Мектеп все влиятельные племенные личности, и с ними совещался, о семнадцати аулах бесленеевцев, водворившихся года за три на реке Урупе, пересылаясь вестями с ними через своих агентов. Султан, из ненависти к Амину, забыл недавний погром одного из его аулов — и речь его лилась широким горным потоком; я не прерывал и дал ему полную свободу повысказаться. Все сведения, им сообщенные, хотя и были положительны, однако далеко незаконченными, и, как видно было, Амин-Магомет не доверял султану, которого заглазно величал «туарек», т.е. вероотступник, а между тем боялся и не смел согнуть в дугу, как гнул других более слабых горских властителей. Султан передавал сведения не лично от шейха слышанные, но, большей частью, по соображениям и тем данным, которые сообщались старшинам [120] и князьями, приезжавшими к нему на совет. Но и они хитрили перед ним, что ясно видел его светлый и пронизательный ум. Отдал я султану от имени В-ва десять туманов (т.е. десять наших полуимпериалов: турецкий и персидский туман на наши деньги 10 руб. сер.). Дружески расстались мы, обещая друг другу, при первой открытой встрече, всадить ловко пулю, или померяться шашкой, но, тем не менее, всегда оставаться, как были, друзьями... Запасшись, насколько возможно было, разнородными сведениями от султана, так важными для линии по последствиям, я решился еще попытать счастья: не удастся ли перехватить кого-либо из старшин, князей или доверенных узденей, которых личности, хотя и были нам незнакомы, но их легко можно отличить по доброму коню, по богатому вооружению и одежде.

И с этой целью мы отправились на поиск и засаду по дороге на Мектеп... Целые сутки напрасного ожидания не отняли у нас охоты поджидать и добыть языка; а как всему бывает конец, то и мы дождались в награду терпению... Едва утренний розовый свет озарил местность, мы слышали конский топот: броситься занять наддорожные кусты и выправить оружие — было делом минуты... Через полчаса, не долее, показались четыре всадника на добрых конях; их нужно было ссадить наземь... Нас, правда, было только трое; но каждый имел по два выстрела в нарезной пластунской двустволке (По образцу превосходных бельгийских стволов. В-в заказал в Туле несколько стволов, собственно для пластунов, в осаде по азиатскому образцу с примыкающим длинным кинжалом-штыком, и дарил их, как награду, более отличавшимся на поисках за Лабой. Пр. авт.). Сверкнули выстрелы, и трое свалились, как снопы; четвертый, ехавший поодаль, хотя сильно покачнулся в седле, но, быстро справясь, полетел птицей...

Запорожец, как мысль, взметнулся на коня и бросился его преследовать, а я второпях послал в погоню пулю, но она сбила только папаху.

Нам было видно, как Запорожец был уже в нескольких только шагах от горца; вдруг он покатился через голову с коня, а горец, без оглядки, оттянул и исчез за отрогой, покрытой густой листвой. Поднялись конь и казак и скрылись вслед за ускокавшим...

Засада не принесла нам никаких новых сведений: двое были убиты наповал, а третий, с простреленной глоткой, захлебывался душившей его кровью и вскоре вытянулся в предсмертной агонии... [121] Половили мы их коней, повыбрали лучшее оружие, стащили трупы с дороги в кусты, позабросали и позатерли песком кровь — и пустились по сакме за Запорожцем. Так мы проехали версты четыре или верст пять и встретили нашего хлопца с запекшейся от крови рыжей бородой и с подбитым глазом, следствием падения. Он щедро награждал коня всевозможными эпитетами, доставшимися ему по наследству от его предков из Сечи, за то, что бедняга так не вовремя и неловко споткнулся о пень или камень, а между тем горец провалился точно сквозь землю... О разбитой роже и помину не было, да и стоило ли обращать на это внимание, когда скрывшийся горец открыл нас, и все окрестные аулы и ноши пустятся на розыск... Обстоятельство это было не шуточное: приходилось, быть может, поплатиться головой... Нужно было скрыть свою сакму, и мы, посоветовавшись, решили переплыть за Белую и, по устью притока Ендрюк, проехать водой до шавдона, т.е. большого топкого болота, чтобы горские охотничьи собаки, поприученные к отысканию следов, сбились с толку; а что собаки будут в ходу, мы уже это не раз испытали, зная, что и самая погоня была неминуема и неизбежна. Ускользнувший от наших лап горец в первом же ауле подымет тревогу — и закипит потеха...

До ночи нам удалось ловко скрывать свой след, и Мандруйко, в течение дня не раз взлезая на деревья или на кручи, видел погоню за нами... Благодаря только этим наблюдениям, мы ускользали от зоркости горцев и чутья их псов. Да! истинно бесценное сокровище такой пластун, как мой наставник: оказалось, что Мандруйко, за рекой Белой, так же хорошо знал местность, как свою хату. Мы переправились через Белую ниже верст тридцать. Наши лошади (мы их сберегали и ехали больше на отбитых), оживились надеждой возвратиться домой, и мы ехали так скоро, что, менее чем через час, прибыли к Майкопскому ущелью.

Луна закатилась; небо стемнело; мы ощущали то чувство безопасности, которое находишь в защите мрака и уединения... Начали взбираться, шагом, на откос, когда Мандруйко, с

которым я спокойно разговаривал, дотронулся до руки моей, чтобы заставить меня замолчать, и шепнул мне:

— «Подымитесь у гору...», т.е. наверх.

Несколько черных теней обрисовывались на небе возле скал ущелья, в самой середине дороги, по которой мы должны были ехать. [122]

Мандруйко ни минуты не колебался, на что следовало решиться нам; не теряя времени на объяснения, он сказал мне:

— Поезжайте за мной (Весь наш разговор с Мандруйкой передаю, для большей ясности, на великорусском наречии, а то его язык для многих был бы мало понятен и через то многое потерялось бы в его значении и смысле.).

Повернув лошадь, Мандруйко выехал на долину, расстилавшуюся крутым скатом справа от нас. Мы ехали по тенистому рубежу ее мрачной массы и поравнялись с полуразрушенным кошом.

— Остановимся здесь, — шепотом сказал мне Мандруйко. — Здесь много таких кошей. Я знаю, что вот этот давно брошен. Мы не войдем туда, а то, пожалуй, ненароком наткнемся. Если эта татарва там, наверху, не видала нас, все пойдет хорошо: нам сейчас можно будет проехать долину. Если же они видели нас, станем наблюдать за ними, чтобы играть с ними в гулючки.

— Наблюдать, мне кажется, трудно в такой темноте.

— Когда нельзя действовать глазами, надо действовать ушами. Будем молчать и слушать. Потерпим с полчаса, и узнаем что делать.

— Но лошади изменят нам, или помешают слушать?

— Знаю... Посмотрите что мы делаем с Запорожцем: сделайте то же... Вот возьмите ремешок.

Я, как и Мандруйко, скрутил верхнюю губу коню ремнем и коротко привязал к дереву.

Я прежде видал, как прибегают к этому способу с намерением довести до неподвижности самую горячую лошадь: в таком положении, животное, которому каждое движение причиняет боль, может дышать с трудом.

Осужденный добровольно на такое же молчание и на такую же неподвижность, к каким я принудил моего коня, я, кажется, страдал не менее чем он. Трудно представить себе, как стеснительно и скучно уничтожаться таким образом, чтобы избавиться от опасности, с которой гораздо охотнее желал бы встретиться лицом к лицу. Мандруйко слушал я подстерегал. Стоя против него, я видел, как его маленькие, круглые глаза, из-под нависших бровей, сверкали во мраке, будто глаза кошки или волка.

Доверие, внушаемое опытностью Мандруйки, успокоило мою раздражительность. Стоя облокотясь на сук дерева, я не [123] чувствовал, как вздремнул, утомленный долгой бессонницей. Меня разбудил Мандруйко, положила руку на плечо.

— «Неужели вы спите?» шепнул он. «А я не был так спокоен, и чуть не перелекался! Мне вдруг показалось, что будто близ меня стоит татарва, а это был вот этот чертов пень, которого я прежде не заметил... А тут еще что-то пробежало недалеко от ног — верно зверюшка... Теперь я уверен, что мы обманули татарву, или она не заметила нас. Кругом не слышалось ни малейшего шороха».

— Ну так воротимся на дорогу — и гайда сами на поиск!

— О нет! наверно дорога занята, хотя я ничего не слышу пока.

— Ну так какого же черта мы будем здесь ждать?

— «Пойдемте», сказал Мандруйко, еще послушав; «погода прояснится на рассвете: воспользуемся остатком ночи и тукана, чтобы проехать равнину. На этот раз мы проедем позади ущелья: это будет дальше, но вернее».

Мы проехали по равнине наперерез, но едва сделали сотни две шагов, как раздался выстрел и мимо моего уха просвистела пуля.

— А это что? — спросил я Мандруйку, который остановился с удивлением.

— Известно пуля, — ответил он, — выстрел из-за этого куста. Он видел нас — поскачем зигзагами.

— Нет! бросимся к кусты и покончим с негодяем.

— А если их целая партия? Вы видите, что это только начало.

Точно, выстрелы преследовали нас, хотя и не один за другим, как барабанная дробь, но довольно часто.

— «Скверный горох!» заметил Мандруйко, остановясь в нерешимости: «он сыплется из кустов перед нами. Научилась поганая татарва, как надо делать засаду... Поскачем! Они скорее слышат нас, чем видят, и метят на удачу. А то пришлось бы нам плохо».

Мы поскакали опять; но вдруг Мандруйко остановился, и один из отбитых нами коней, которого он вел в заводу, покатился без жизни.

— Мы окружены со всех сторон! — сказал Мандруйко, — мы попали в кучки кустов, где для разбойников гораздо удобнее, чем для нас. Надо драться... Ну, что же! Подеремся с помощью Бога! Ведь не в первый раз... Следуйте за мной!

Мандруйко опять смело бросился скакать, взяв от Запорожца [124] из двух одного заводного коня взамен убитого, и, среди свистевших пуль со всех сторон, кинулся за изгородь коша, такую же развалину, за которой мы прежде укрывались, и откуда раздавался лай собаки.

— Что делать? — продолжал Мандруйко. — Вот именно то, чего я опасался! Мы наткнулись еще на засаду, и здесь, пожалуй, станут стрелять. Не знаю, много ли их, или только один-два: попались в ловушку...

Но Запорожец, до сей поры не проронивший почти ни одного словечка, и, как видно, вполне одобрявший все распоряжения Мандруйки, разрешил задачу. Он своими рысьими глазами рассмотрел близость густого леса.

«Лес перед носом, чего будем зевать!» И, не ожидая возражений, пустился вскачь, а мы за ним... Несколько неудачных выстрелов проводили нас... Благодаря зоркости Запорожца, мы были в лесу, закрыты от выстрелов, и избавились преследования горцев, как видно бывших пешими в засаде. А что будет впереди, то Бог даст!

Больше часу — или нам так показалось — мы пробирались по трощобам, переехали какие-то два протока, а блестящий утренний свет осенил нас на высоте, окруженной густым лесом. Осмотрелся Мандруйко, немного сконфуженный и молчавший все время нашего бегства, хотя и неславно, да зато здорового, и сказал:

— Толку будет мало, если мы еще останемся в горах. Мы открыты и языка не достанем, а, пожалуй, поплатимся головами... Надо вернуться домой, и если вы согласны, то к ночи мы дома.

Против этой логики возражать было бы нелепо. Кони наши притупили за шесть дней, не выходя из-под седла, голодая и нередко целый день оставаясь без воды. Да и мы, питаюсь почтя одной «пастромой», т.е. вяленным мясом, да чаркой-другой горилки почти без сна, тоже крепко повыбились из сил. Решили: возвратиться на линию.

Я рассказал эту разведку с большей частью ее подробностей, желая познакомить читателей с действиями пластунов в земле неприятеля, где, правду сказать, они лучше хозяйничали, чем в своих собственных домах.

XVII.

СМЕКАЛКА.

Четырнадцатилетний казаченок, Васютка Скляр, сын [125] войскового старшины, теперь уже сам есаул, как недавно случайно я прочел в высочайших приказах, при водворении станицы Урупской был послан отцом с драбантом (Драбант — это казак-деньщик. Драбанты поступали по взаимному соглашению и им, за каждый год драбантства, давалось два года льготы от всякой службы. Откуда явилось это название, надо искать у старого казачества.), на двух парах волов, за нарубленным лесом для постройки.

Близость леса, и, по-видимому, тишина на новой линии, да наше неизменное «авось и сойдет», нашедшее место и на Лабее, были причиной чуть было не потери стариком сына, не говоря уже о быках.

Драбант принялся с парой волов, за тягу бревен, а «Васютка», с гармоникой, уселся у повозок, поставленных на полянке, и так углубился в свои импровизации, что заметил только тогда с десяток горцев окруживших его, когда двое из них принялись вязать ему руки назад...

О сопротивлении и подумать было некогда. Пришлось хлопцу с парой волов разделить одну долю и идти на поводку, как на налыгач...

Так они прошли с утра до заката, вверх по Урупскому лесу, до Тегеня. Утомленный, голодный мальчуган уже падал от усталости, но не терял бодрости духа и казацкой отваги.

Остановились горцы на роздых, развели огонь, считая себя вполне безопасными от преследования, принялись за чурек и жареное просо (Горцы, отправляясь в набег и на поживу, большей частью брали с собой для пищи жареное просо в бараньем курдючном сале, до того соленое, что довольно его было горсти, чтобы только пить, а есть уже не захочешь. Вообще воздержность черкесов изумительна и редко кто перенесет так терпеливо голод; зато, когда предстоял случай поесть, так тоже немногие посостязаются с ними.), чем угостили и пленника, развязав ему руки. Гармоника занимала горцев, даже во время пути, несмотря на то, что могла их выдать; но нестройные ее звуки, в непривычной руке, только раззадоривали дикарей. И вот они на привале взялись за гармонику, а все складу и ладу нет, даже для их негармонического уха... Не выдержал артист Васютка, схватил гармонику и лезгинка стройно и звучно огласила ночную тишь и глушь леса. Не выдержали горцы звуков нового Орфея — и принялись выплясывать... А Васютка, хотя и увлекся своей музыкальной страстью, но смутная мысль уже бродила о свободе и молодая голова работала о плане побега.

Далеко за полночь Васютка потешал своим искусством, то [126] наигрывая всевозможные знакомые ему плясовые песни, не исключая и комаринской, которая крепко пришлась по вкусу горцев, то аккомпанируя чистому и звучному голосу, напевам родимой Малороссии, или повторяя бессмысленные импровизации горского пения (Вообще у горцев почти нет своих народных песен; они поют какую-то бессвязную импровизацию, составляемую из видимых и окружающих предметов, например: «ты, добрый господин, подарить мне деньги; день сегодня светлый, конь твой вороной» и проч. Одним словом, причитают все, что попадет на глаза или взбредет на мысль. Пр. авт.); то передразнивая армян и грузинов, коверкая слова, как они говорят по-горски или по-русски... Эта потеха привела горцев в такой восторг, в такое веселое настроение духа, что они с Васюткой обращались уже как с приятелем, угощая его всем, что только было у них лучшего в запасе... Такая гармония от «гармонии» и от таланта Васютки породила между ним и горцами полное доверие. Наделили они его и лаской, и добрым словом; наконец, утомленные пляской и нахохотавшись до судорог, все еще под влиянием веселого разгула, заснули не связав пленника. Этого-то и было нужно Васютке... Притворялся он крепко спящим, а сам полуоткрытыми глазами зорко следил за караульным у костра, сидевшим к нему спиной... Улучив время, он ловко вынул кинжал из ножен у сильно храпевшего бейгуша, т.е. бедняка, ужакой подполз к караульному и, поднявшись за ним на колена, с размаха всадил по рукоять кинжал... Удар был так ловко нанесен, что горец, не пикнув, упал лицом к огонь. Обобрал осторожно Васютка то оружие, какое только можно было взять у крепко-спавших, и, вооруженный с ног до головы, осторожно пробрался в лесную чащу...

На другой день к вечеру Васютка был дома со своей дорогой гармоникой и с трофеями своей ловкой смекалки. Обрадовался старик-батько возвращению любимого сына, и задал пирушку, на которой «расходывся старый», по казачьему завету.

XVIII.

НА РУБКЕ ЛЕСА.

Новозассовская станица была водворена на Лабе, в 25-ти верстах выше Лабинской. В состав ее жителей поступили, большей частью, женатые солдаты кавказского корпуса, прослужившие не менее пяти лет, да из внутренних бригад войска беднейшие казаки и

несколько семейств с Дона. Эта станица, как и Родниковская, Курганная, Темиргоевская и Новолабинская, вошли в состав [127] № 2-го Лабинского казачьего пешего батальона, только что тогда формировавшегося по образцу № 1-го кавказского казачьего батальона (1-й кавказской бригады нашего войска).

Начальник линии, В-цкий, перед вечером выехал из Лабинской, взял с собой все свое дежурство, чтобы, переночевав в Новозассовской, проехать прямо в крепость Прочный Окоп к начальнику фланга, генералу Евдокимову (ныне генерал-адъютант и граф).

На линии, по-видимому, было спокойно; о неприятеле не было положительных вестей, и В-цкий еще с вечера разрешил жителям поездку за Лабу в лес (об этом распоряжении я узнал от урядника утреннего разезда). Ложная тишина обманула жителей-новичков, усердно и радиво принявшихся за новое хозяйство, на обзаведение которого были отпущены достаточные суммы и от войска, и от казны. Они разбрелись с подводами врассыпную, выбирая, где кому попригодней показалось хорошее строевое дерево... Прикрытие, рота пехоты и сотня 3-й кубанской бригады, под командой войскового старшины, султана Крым-Гирея Чингис Хана, забралось под тень, в холодок лесной чащи, и, полагаясь на спокойное положение линии, беспечно расположилось без всяких особых предосторожностей от внезапного нападения. За что дорого поплатились и войска, а, главное, бедные жители...

Вскоре по отъезде В-цкого, ко мне приехал поручик милиции Али-бей, посланный начальником фланга для собрания сведений в горы. Он остановился у меня и просил перед светом велеть проводить его через секреты за Лабу. Распорядясь этим с вечера, я спокойно заснул, простясь с Али-беем, которого инстинктивно крепко недолюбливал.

Часу в одиннадцатом утра зашел ко мне подполковник Прушинский (Ставропольского егерского полка), и мы, весело болтая и закусывая, любовались привезенным мне, пластунами подарком: дорогой и великолепно-оправленной винтовкой, добытой ими в горах... Более семидесяти конных пластунов собрались в ночь с низовых поисков, и я распорядился хорошенько угостить их за подарок. Кони их были привязаны к забору моего сада, а казаки хлопотали на дворе около котлов с горилкой и с чихирем... И уже не одна удалая песня огласила станицу. Ко мне собралось несколько офицеров пехоты, наших и донцов... И, пожалуй, мы бы на просторе кутнули на широкую ногу. — Да черт-ма!..

В самый полдень раздались орудийные выстрелы сверху Лабы [128] от Новозассовской и повторились с нашей угловой батареи... С вышек над моими воротами и у дома начальника линии сверкнули выстрелы и взвились на флагштоках красные флаги. Затрещали тревожные перекаты барабанов и сигнальных труб... Станица встрепенулась, и весь резерв быстро выступил за станицу под командой командира 2-го конного полка, подполковника Котлярова, старого боевого казака.

Бросились к коням brave пластуны, опрокидывая котлы с недопитой водкой и чихирем, и стройно выстроились у ворот... Шабаш только что начинавшейся пирушке!.. Ногу в стремя — и мы пронеслись во все повода мимо отряда старого Котляра, которому я крикнул, что переправлюсь за Лабу и той стороной поскачу... Он в ответ только махнул папахом в руке, что, по нашему, значило «ступай с Богом»!..

Вода в Лабе была невысока и мы, проскакав версты четыре от станицы, переправились на ту сторону ее, чтобы выиграть в расстоянии так как с этого брода Лаба поворачивала дугой до самой Новозассовской. Скрытые местностью, мы скакали, лишь изредка

поддерживая на поводах коней, чтобы дать перевести дух. Выстрелы все звучнее и чаще раздавались по лесу... И как только выскакали на поляну, против которой рубили лес, нам представилась вся картина отчаянной и почти одиночной обороны жителей, не успевших собраться вместе для отпора натиска превосходившего их численностью неприятеля. Однако кое-где успели уже составить каре из повозок и отчаянно отбивались... Везде сверкали выстрелы и работали штыки или приклады и шашки. Ближе всех к нам старый кавалер, урядник Христенко, бывший унтер-офицер Эриванского Его Императорского Величества полка, окруженный несколькими конными джигитами, теснившими его со всех сторон, так ловко работал штыком, что пока успели броситься к нему на выручку с десятком моих пластунов, он уже успел двоих сбросить на землю а третьего опрокинул с конем. Примкнули мы к кубанцам, оттесненным от места рубки джигитовавшими горцами, не пускавшими их из леса, встречая каждый раз дружным залпом и шашками, тогда как другая часть партии напала на рубивших в лесу жителей.

Дружная атака пластунов, прорвавших, как бурный поток, массу горцев, не выпускавших кубанцев из леса, озадачила их, а вслед за тем дружная атака вместе с кубанцами заставила неприятеля дрогнуть и поворотить, коней на уход, отбиваясь [129] выстрелами и в шашки. Но пластуны, как хлопцы не подлюбливавшие «жартов», не дали им образумиться и собраться в кучу: они гнали их, устилая равнину трупами... Кубанцы, увлеченные примером, отважно бросались в схватку и ловко с размаха работали шашкой. Пехота провожала из опушки батальным огнем, который, правду сказать, немного наносил вреда. Лес, на месте рубки, был очищен от горцев.

Переговоря с Чингис-Ханом и предоставляя ему распоряжаться вместе с пластунами преследованием сбитого неприятеля, я остановился на кургане недалеко от леса. Черный с белой по краям тесьмой и с красной посередине адамовой головой — значок пластунов — держал около меня пластун, урядник Мезенцов; сзади меня стояли штаб-трубач Роншин, да мой бригадный писарь Борисенко. Мы так были заняты, любуясь движущейся панорамой боя, что не заметили, как из леса вдруг выскакало человек пятнадцать горцев и далеко впереди их летел Али-бей!..

Подскакав к нам на выстрел, он, делая широкий вольт, крикнул мне: «Ана саксетим, сартен ямар гяур» (самая пошлая брань горцев) — «угощу же я тебя сатана, ты везде поспеешь со своими дьяволами». И выстрел сверкнул, но попал не в меня, а в значок... Обернулся я к Мезенцову, указав рукой на Али-бейку, и сказал: «Чертов кус, чего зеваешь?» Раздался выстрел — негодяй повис, запутавшись ногой в стремени...

Бешеный конь помчал его назад... Горцы было бросились к нему, но в это время ружей двадцать ударили с боку из леса — и они пустились на уход по следам своих земляков, шныряя по кустам. Поймал Борисенко коня Али-бея, и когда освободил его ногу из стремени, он был еще жив и клял меня на чем стоит свет... Я приказал бросить, не трогая поганого оружия изменника, дерзнувшего подводить партию и стрелять в своих, за то, что призрели эту гадину — выгасив из дряни.

Впоследствии оказалось, что Али-бей, когда был у меня, то вскоре пополуночи разбудил моего дежурного урядника, и, как было велено, переправился за Лабу. Где он провел целую ночь, неизвестно; но утром, часу в восьмом, он был в Новозассовской у Чингис-Хана, который спрашивал его о новостях в горах: Али-бей заверил о совершенном затишье за Лабой. Что он подвел партию, сомневаться было нечего из самой его выходки со мной, да и лазутчики подтвердили о давнем его заговоре с шейхом давать знать, где и чем можно поживиться на линии... [130]

Часа через полтора собрались все пластуны и вернулась кубанская сотня из преследования, и я попросил ротного командира пехоты, штабс-капитана Подопригору, заняться укладкой на подводы наших раненых и убитых и отправить их в станицу.

Едва мы с пластунами переправились через Лабу, против станицы, как встретили В-цкого с его дежурством и 5-й урупской сотней. Он был уже близ Урупской, когда услышал тревожные выстрелы в Новозассовской и возвратился, полагая еще застать дело и поспеть вовремя на выручку; но тридцать семь верст не перелетишь птицей на усталых конях — и прибыл когда уже было все покончено.

Искренно поблагодарил он меня и Чингис-Хана за выручку жителей и наказание партии. Мы отправились в станицу.

В-цкий, сделав нужные распоряжения, простился, сказав, что едет с урупской сотней, а дежурство свое велел распустить до возвращения своего из Прочного.

За это дело я получил «признательность светлейшего наместника, объявленную в приказе по корпусу. Пластунам дано пять знаков отличия военного ордена и два знака кубанцам. Жители, более потерпевшие, получили денежные награждения.

Потеря наша, на этой несчастной рубке леса, была до 50 человек убитыми, да до 70 ранеными. Неприятельских тел, исключая Алибейкина, притащили в станицу около 40, и захвачено более 30 лошадей. По числу тел и отхваченных с боя коней, мы верно определяли потерю неприятеля: настоящая цифра заявила, без донесения лазутчиков, о великом уроне в сборище до 500 джигитов, какой они понесли, и смерть погибших в бою «добре» была отмщена пластунами.

Надо сказать, что как только дрогнули горцы на месте схватки, я в то же время послал кубанского урядника попросить подполковника Котлярова вернуться вместе с владимирской сотней, если она к нему примкнула; в том внимании, что Родниковская станица, ниже Лабинской в 11 верстах, там же была на рубке и другая партия могла очень легко появиться так же неожиданно. Утром возвратились мы в Лабинскую. Пластуны, получив от казначея свое довольствие, отправились кому куда указала надобность. Трех тяжело-раненых поместили в госпиталь, а четверо выпросились лечиться дома. Благодаря Бога, все выздоровели, и еще с охотой продолжали охоту за татарвой. [131]

XX.

БЕГЛЕЦ.

За отсутствием наказного атамана, князя Эристового, начальник войскового штаба, полковник Мейер, желая очистить вакансии по войску, предложил командирам бригад войти к нему с представлением об отставках тех офицеров войскового сословия, которые, прослужив по положению 25 лет в строю, не приносят существенной пользы службе. Мера эта, конечно, была не только несправедлива, но и преждевременна (потому что в то время у нас не давался пенсион за выслугу лет, да и за раны редко кто получал), а односторонность ее, давая место полному произволу и прихоти по одной личности, лишала войско старых его представителей, посвятивших, хоть и бессознательно, лучшие годы и потратив силы на боевой службе: они должны были оставаться в отставке без куска насущного. Мера эта была причиной и поводом не одного происшествия, горько отозвавшегося по последствиям.

В числе немногих личностей в нашей бригаде попал под эту категорию старый хорунжий П-в — личность, в былое время, замечательная по своей отваге и полной приключениями жизни. Умный и сметливый, хотя и большой руки плут, но и с сединой все еще отчаянная и неугомонная голова, не вынес оскорбления, и из мести бежал в горы. Горцы, наученные опытом, вообще не доверяли беглецам, видя в них лазутчиков и соглядатаев-переметчиков, и только тогда верили русскому беглому, когда он представлял неопровержимые доводы своей измены, а для этого надо было подвести партии и убийством и грабежом своих заручить себя. П-в хотя с давнего времени имел немало в горах кунаков, подобных же плутов, как сам, но все-таки должен был заявить себя злодеянием изменника. Через три или четыре дня, после побега, он подвел партию и ночью ограбил за станицей мельницу, убив мельника, недалекого своего родню. Это было началом его мести. На месте бывшего Родниковского поста строилась новая Родниковская станица. Ров с трех сторон от Лабы и кругом палисад с батареями уже были сделаны, а жители строили и лепили свои незатейливые жилища; но не было еще ни одной оконченной хаты. Три роты Ставропольского егерского полка, два орудия подвижной гарнизонной полуроты и полсотни донцов составляли гарнизон станицы. Войска были расположены на станичной площади, [132] в балаганах из хвороста и камыша; лошади, как строевые, так и артельные, были на коновязи, растянутой в параллель за линией балаганов. День был воскресный. Большая часть новопоселенцев отправились на ставропольскую и другие ярмарки, или за семьями, так что только почти одни войска составляли наличных обитателей станицы. Начальник отряда, майор Г-ф, желая вознаградить, себя за хлопоты и скуку рабочих дней, отправился в станицу Михайловскую, передав начальство капитану Д-скому, а этот думал, думал, да передал брату своему, штабс-капитану Д. И так шла передача между всеми ротными офицерами, отправлявшимися в смежные станицы; все разбрелись; передача остановилась на прапорщике Щ-ском. Став главным военачальником, он первое вступление свое ознаменовал милостью. Призвав фельдфебелей и каптенармусов, приказал отпустить чинам, вместо одной, по две чарки, причем, конечно, не забыл и своей львиной доли и почил вместо лавр на сене, покрытом буркой... П-в, как страстный охотник, отлично знал местность обеих сторон Лабы. Быв же, в длинный период своей службы, воинским начальником, станичным и сотенным командиром, знал все выходы и уходы наших кордонных порядков, не хуже как и все частные грешки... А тут еще был расчет на помощь семьи, жившей в Михайловской, и нельзя строго судить, если его семья была тайком в сношениях с ним. Дело понятное: свой своему поневоле друг!

В новой станице ожидали сотню с Кубани на смену донцов.

П-в и это узнал... И вот, часу в пятом пополудни, он, надев форменную черкеску с эполетами, с партией человек в полтораста, закрытый лесом, переправился через Лабу. С развернутым значком, в порядке похожем на казачий строй, П-в пошел прямо по дороге к станице. Донской пикет, стоявший верстах в двух, видя офицера в форме и ожидая сотни с Кубани, не потревожился. П-в сам сделал маяк; донцы, в простоте сердечной, отдали ответ. Подошла мнимая сотня, окружила пикетный курган. П-в закурил трубку, а бедные неопытные донцы заплатили жизнью за свою доверчивость и оплошность... Три горца переоделись в шинели убитых и, с пиками в руках, поехали впереди партии, из которой три джигита заняли наблюдательный пост. Житель-казак, стоявший на часах у рогатки, заменявшей пока ворота, видя донцов и офицера, откинул ее... и мнимая сотня вошла в станицу, а бедный часовой, заколотый кинжалом, сброшен в [133] ров... Часть горцев бросилась на коновязь; остальные, опрокинув ружья, стоявшие в козлах перед балаганами, вытянулись в линию, прицеливаясь в выглядывавших из них солдат и донцов, чем заставляли их прятаться как сурков в норку... П-в узнав, кто такой бдительный начальник отряда, войдя к нему в палатку, застал Щ* спящего сном неповинного младенца, отпустил

ему десяток-другой горячих плетей, приговаривая: не упиваться тельцом, а помнить свою обязанность — и бросил его, не удостоив даже взять в плен. Между тем, партия захватила в станице что попало наскоро под руку, и порубив человек с пять жителей, вздумавших взяться за оружие, забрав около сотни лошадей, повыбрав в одном зарядном ящике снаряды, захватив несколько донских ружей, безнаказанно переправилась за Лабу... Ошеломленный и растерявшийся отряд, и в главе его Щ*, вероятно считая все случившееся тяжелым кошмаром, не скоро опомнились а подняли тревогу выстрелами с батарей. Пока прибыли резервы из смежных пунктов, наступила ночь... Здесь П-в пощадил оплошность, или совесть в нем заговорила, или он спешил скрыться безнаказанно; но зло им сделанное было неисправимо и горцы встрепенулись... Удача, в первый раз, с водворения линии, побывать в станице, и побывать безнаказанно, ограбив ее... этого не удавалось и отважнейшим их предводителям. П-в стал их кумиром; с ним они уверовали в свою силу и ловкость и, вслед за тем, через неделю, сильная партия, до тысячи джигитов, собралась под предводительством такого славного вожака.

Станица Курганная, на Лабе, строившаяся одновременно с Родниковской, расстоянием в девяти верстах, выслала колонну жителей за Лабу на рубку леса, под прикрытием роты пехоты. Следивший зорко за новыми станицами, П-в, зная что в старых трудно пожива, пользуясь скрытой местностью, пропустил колонну в лес; ему было хорошо известно, что если не было перепалки на рубке, то русские возвращаются оплошно... Горцы, сделав перекрестный залп, бросились в шашки. Ротный командир, поручик князь Туманов, был из первых убитых. Колонна смешалась... одиночный бой недолго длился... Пока прискакали резервы на выручку, многие поплатилась жизнью; но здесь не удалось горцам ничем поживиться. Они спешили скрыться, не понеся большой потери, в надежде, что П-в доставит к тому случай. Эта и могло бы наверно случиться не раз; но монарший манифест, [134] прощавший беглецов, вызвал П-ва, полагавшего, что и его простят, как прощали негодяев бежавших в горы больше по глупости, из страха наказания. Однако он был судим и расстрелян. Смерть П-ва отняла самонадеянность у горцев; партии их одна за другой были разбиваемы наголову.

XXI.

УРЯДНИК ИГНАТЬЕВ.

Обаятельно-заманчива была наша боевая жизнь, а войсковое положение, даровавшее равные права нашему сословию со всеми подданными империи, вместе с тем разрешало, уже без особого высочайшего повеления, зачисляться, каждому без изъятия, в наше войско, дав только обязательную подписку за себя и потомство принадлежать сословию. Это вызвало к нам не одного охотника. В числе их сенатский регистратор Игнатъев поступил в нашу бригаду казаком.

Как теперь помню; — я был в бригадном штабе в своей канцелярии. Старший бригадный писарь, урядник Гусев, доложил мне, что прибыл явиться «дворянин-казак из московских», т.е. не из своих, а на московских смотрели казаки вообще как-то недружелюбно, пока не убеждались, что «не свой» перерожден в истого казака, и тогда уже, как со своим пересозданием, они делались друзьями на жизнь и смерть.

Велел я позвать неофита-казака. Мне представилась личность лет 23 или 24-х, в странном каком-то балахоне, в роде шинели; когда я спросил его, что на нем за костюм, он откровенно сказал: «я решительно ничего не имею, кроме желания быть хорошим казаком, а бедность не порок». Этот ответ и вообще симпатичная личность Игнатъева заинтересовали меня. Справясь с его документами, я узнал, что он из студентов 3-го курса

камерального факультета, и попросил командира бригады оставить его при мне. Выдали Игнатьеву небольшую сумму для водворения я подарил ему коня и оружие, и он живя у меня, стал моей правой рукой. Каждый день, с 10 до 12 часов, если не было тревоги, Игнатьев охотно ходил с учебной командой стрелять и учиться владеть конем и шашкой, чего строго требовал наш неоцененный В-в. Такой личности нетрудно было усвоить все приемы ловкого казака. За первое дело в разъезде, в который Игнатьев был назначен за уряд-урядника, его произвели в урядники, а [135] за отличие в набеге и за молодецкое разбитие партии, вдвое превосходнейшей численностью, также на разъезде, Игнатьев удостоен был знака ордена св. Георгия и назначен старшим урядником 4-й владимирской сотни, 2-го конного полка.

Сотенный командир, штабс-капитан князь Каймурза-Беймурзов, заболел. Станица Владимирская еще недавно была водворена на месте поста Житомирского, в пяти верстах от Лабы и в десяти от Лабинской. Жители не успели еще хорошенько освоиться с местностью, так как большая их часть была переселена с Дона, а уже заявили себя молодцами.

Беглый урядник Колосов, житель станицы Вознесенской, бывший у меня во взводе № 14-го конной батареи, бежавший в горы, промотав порученные ему казенные деньги, немало пакостил, хотя и мелочно, на нашей линии, пользуясь превосходным знанием местности. Я расскажу последний его смелый набег. Пробравшись, с партий человек в пятьсот, с вершин Тегеней по скрытым балкам между Урусом и Чамлыком, Колосов каким-то случаем узнал, что во Владимирскую станицу ждут с Кубани вторые ставропольские сотни. Уверенный, что его никто лично не знает в новой станице, он до того был дерзок, что, оставив партию на высотах за станицей, как будто на покормку, сам, с таким же беглецом с Кубани, приехал в станицу и явился подполковнику (Кубанского егерского полка) Ахмылову, как к отрядному начальнику, за приказанием, где остановиться сотням. Подполковник, ничего не подозревая, велел оставить сотню на покормке до вечера — и еще приказал этому висельнику дать чарку водки. Колосов выехал за станицу, зорко опытным глазом повысмотрел, что часть скота, голов в триста, была на водопое у ручья, а женщины с ребятишками мыли белье близ мельницы. Поздоровался он с ними, объявив, что сотни пришли с Кубани, и отправился к партии... Идут мнимые сотни со значками впереди — и вдруг бросились на скот и на мыльщиц... Поднялся крик и гам, а бывшие на мельнице казаки принялись стрелять... Раздалась тревога в станице, загудел набатный колокол, вторя перекатам барабанов, и окрестность дрогнула от гула батарейного единорога, оповестившего линию... Пехота бегом высыпала вместе с жителями за станицу. Урядник Игнатьев с сотней был версты за две, в прикрытии главного скотского табуна; он соколом прилетел, и, после залпа на скаку, с шашками дружно бросилась сотня на неприятеля из-за скрытной балки с правой стороны. Неожидавшие [136] столь смелой атаки, горцы смешались было: но, скоро оправясь, остановили сотню, заставив ее своим натиском отступать шаг за шагом, отбиваясь выстрелами. Горцы охватили сотню с фланга и фронта. Игнатьев понял, что этот удачный маневр горцев озадачил казаков и исход неминуемо будет гибелен: живо сообразив и пользуясь хорошо ему знакомой местностью, он, быстро поворотя кругом, бросился в карьер, в рассыпную, как на уход. Горцы думали, что сотня струсила, погналась за ней в рассыпную же, опережая друг друга. А между тем Игнатьев, наведя партию на залегшую по балкам пехоту, встретившую ее сильным огнем, живо выстроился и, обскакав кругом станицу, бросился на оторопевших, в свою очередь, горцев. Этого напора горцы не выдержали и рассыпались по равнине к Лабе, а сотни из станиц Лабинской и Зассовской почти одновременно бросились им наперерез от Лабы. В это время показались на высотах за станицей сотни вознесенская и чамлыкская, почти в том же направлении, откуда появилась партия. Окруженные со всех сторон, горцы, отчаянно отбиваясь, и поодиночке, и кучами, носились, как испуганный рой ос, по

равнине, гонимые и встречаемые со всех сторон казаками. Они, действительно, дорого продавали свою жизнь: безнадежное положение делало из них героев; но недолго длился бой... И едва ли десятка два или три человек спаслось за Лабу, в числе их и раненый Колосов.

Этот негодяй, но, тем не менее, отличный наездник, два раза налетал на Игнатьева в одиночку и последний раз ранил его легко шашкой.

Недолго после этого беглец разбойничал: его поймали в низовых станицах и повесили своим судом, самосудом!..

Горцы потеряли много хороших джигитов, в числе их вожака Алхаза Алхазова, и несколько старшин и узденей, а поживы не видали.

Потеря наша, при отчаянном сопротивлении горцев, была не так значительна. За то дело, так ловко начатое, Игнатьев был произведен в хорунжий; сотня получила на свою долю четыре георгиевские креста и две медали за храбрость.

XXII.

ПОСЕЩЕНИЕ ЛИНИИ.

В конце зимы 1847 — 1848 года, начальник линии, В-в, [137] получил от начальника фланга, генерала Ковалевского (убитого при штурме Карса), полуофициальное известие, что французского генерального штаба полковник граф Куртюжи и бригадный генерал де-Лини посетят линию. Неизвестность, как принять таких почетных гостей, в качестве лиц официально осматривающих линию с разрешения правительства, или как гостей-посетителей, вынудила В-ва послать меня навстречу им в станицу Урупскую, чтобы узнать от адъютанта наместника, князя Дондукова-Корсакова, сопровождавшего их. Князь мне сказал, что прием должен ограничиться теми условиями, какие налагает вежливость, но отнюдь не делать официальных встреч и не отдавать воинских почестей. Уведомив с нарочным об этом В-ва, я, в полной форме адъютанта, отправился представиться нашим гостям... И без смеха, до сей поры, не могу вспомнить виденной мною сцены. Наши гости приехали в Урупскую за несколько часов до моего приезда, и, по приглашению станичного атамана, войскового старшины Склярова, остановились в его доме. Князь Дондуков, зная давно оригинального старика, шутя сказал ему, что эти господа, так себе, богатые купцы-маркитанты, в чем совершенно убедил старика гражданский костюм гостей. Скляров всегда был самый радушный хозяин, а если при этом случалось ему быть в веселом настроении, тогда трудно было отделаться от него насухо, не насытившись как губка... Живо явилась закуска, и старый принялся усердно подчевать гостей, не забывая, конечно, и себя. Такая дружеская фамильярность чрезвычайно понравилась французам; когда же им князь передал причину бесцеремонности, они принялись разыгрывать роль добрых купцов, и так усердно, в свою очередь, угощали старика, что он уже показал им и свое искусство на скрипке... При выходе его во внутренние комнаты, чтобы распорядиться подачей еще чего-нибудь им придуманного, сыновья никак не могли уверить отца в звании гостей... «Брешете бис вашего батьку — мини казав князь, что воно купци, тай и годи, цыц! Роб як кажу, чим я не пан у соби в хате-галганье!» И, кажется, ничто и никто не переуверил бы расхордившегося старого хоперца...

Представьте себе довольно большую комнату порядочного деревянного дома, передней угол которой, от потолка до подоконников, увешан без всякой симметрии иконами в окладах, в киотах и без всякого украшения, но везде обвешанных разнокалиберными,

серебряными и медными, староверческими крестами, с множеством [138] лампадок и свечников, как в любой старообрядческой молельне, (хозяин был православный, но это семейная святыня). На остальных стенах повешено тоже зря, как пришлось: где конский убор с седлом, где кольчуга, шишак с налокотниками, тулук полный стрел с луком, где секира и насека, где ружье, шашка, пика или пистолет. Одним словом, как вбился куда гвоздь, или оленьи рога, так и вешай. Эго хаостическое убранство довершалось несколькими небольшими зеркалами в вычурных старинных рамках, и сверх, всего, несколько картин суздальского художества, представлявших разных богатырей, генералов с армиями промеж ног и отрубленными вражьими головами, да похоронная процессия мышей, погребаяющих кота, в которой старик находил пропасть юмора... И, действительно, оригинально, как и вся его обстановка, нелишенная своего рода поэзии он ловко и забавно комментировал гостям погребение кота, так что заинтересовал всех. Старик от природы, как и большая часть малороссов, был умен и хитер, и умел, когда хотел, быть остроумным, или наивным, смотря по обстоятельствам. Большой дубовый стол, покрытый дорогой персидской ковровой скатертью, был установлен всевозможных видов и форм сулеями, фляжками, бутылками и штофами, чарками, рюмками, бокалами, стаканами, и буквально загружен печеньем, вареньем и соленьем на все лады и манеры.

Едва я переступил порог, С-в бросился ко мне и, схватив за обе руки, потащил к столу со словами: «что ты, братику, перелекался, а-бо-встикса що надив на соби эту сбрую, или начальство иде? здесь, братику, всё свои: это добрые хопята, а князь, ведь, такой же адъютант, как ты. А ну! к бисову батькови, не мне же ты являться станешь; станицу а поручил судье; вот он узнает, что ты здесь, так отлапуртует. Мы, братику, службу также помним, як дружбу — спасыбенько що зашов... А что же с дорожки не пропустить-ли того сего?...» Князь уже успел меня представить, и оба наши гостя с французской любезностью приняли привет, переданный мною от лица начальника линии; но, видя мое недоумение, относительно старика, в коротких словах рассказали о комедии ими разыгрываемой, прося принять участие в общем их удовольствии и не разочаровывать радушного хозяина... Еще не совсем забыв болтать по-французски, я со смехом принял и предложение, и протянутые руки. С-в же, слыша, что я довольно бегло говорю с его гостями, как он полагал евреями, крикнул в восторге: «Бачь! бисов кус? и ты лаишь по-жидовскому?... [139] Що князь маракуе брехаты, як жидако, на то вин и князь, а ты бисов сын, добрий казачуго — спасыбенько, братику...»

На другой день старик, убедясь в своем промахе накануне, крепко конфузился, и я едва уговорил его выйти к гостям. Они, со свойственной им любезностью, просили старика простить их невольную шутку, которую он сам же создал, и повеселевший старик ни за что не хотел отпустить нас без завтрака, за которым, хотя и сдержанно, но все же развернулся. Оба француза довольно порядочно объяснялись по-русски, а чего не могли понять, то переводили мы.

К обеду мы приехали в Лабинскую. Наш В-в так любезно-радушно встретил и принял гостей, что не прошло часа времени, а мы все была так настроены, как будто век жили вместе. Весело прошел роскошный и изящно приготовленный обед; немало было предложено задранных тостов, и В-в от души смеялся проделке старого Склера, которого любил, как дельного и толкового офицера. А французы от старого казака были просто в стороне. На утро было показано гостям все то, что могло интересовать их.

Прогостив два дня в Лабинской, наши гости отправились вниз по линии, и мне было приказано В-м показать им все станицы и посты до Усть-Лабинской (1-й бригады на Кубани). Погода была великолепная; снегу не было нигде ни клочка; легкие утреники едва только серебрили траву и листья, уже одевавшие деревья. Проглядывало солнце и жаркие

его лучи, согревая, живили пробуждающуюся природу после недолгого летаргического сна. Часу в четвертом, мы приехали в укрепление Темиргоевское, где начальник его, вместе с тем заведующий нижним участком линии, и командир № 3-го кавказского линейного батальона, подполковник Генинг, и подполковник Войцеховский, командир нашей батареи, расположенной при укреплении, предуведомленные В-м, оба прекрасно образованные люди, приняли и угостили дорогих гостей со всею роскошью, какая только было доступна у нас на линии.

Утром мы отправились в дальнейший путь. Генинг хотел доставить сюрприз гостям и, переговорив со мной и князем Корсаковым, распорядился, чтобы сотня станицы Воздвиженской (1-го Лабинского полка штаб-квартира), сделала примерное нападение на наш поезд; но эта невинная шутка-сюрприз едва не разыгралась, вместо водевильного буфа, серьезной драмой... Под прикрытием сотни и четырех ракетных станков, выехали мы из [140] укрепления прямой дорогой, идущей над самой Лабой, здесь бешено-бегущей в крутых отвесных берегах, покрытых густым лесом, по которому с нашей стороны, параллельно течению реки, по берегу шла просека для линии маяков и пикетов. По этой дороге расстояние между укреплением и станицей всего девять верст. Мы проехали версты четыре; до засады оставалось еще версты три. В этом месте Лаба имеет берега прорезанные широкими промойными балками, поросшими лесом; тут лучший брод, совершенно закрытый от наблюдений с берега островками, поросшими высокими кустами, тянущимися непрерывной цепью...

Французы говорили без умолку и много порассказали нам эпизодов из их войны с кабилами. Оба они были при осаде Константины и, сравнивая нашу боевую жизнь с алжирской, отдавали дань похвалой отваге и удали казаков при тех незначительных средствах к защите, какие видели.

В это время залп не одного десятка ружей заставил их встрепенуться и схватиться за великолепные двустволки...

Мы с князем не трогались с мест, полагая, что казаки не поняли назначенного места для сюрприза; по несколько пуль, просвистевших мимо ушей, заставили нас выскочить из экипажа и сесть на заводных коней... Сотня и ракетная команда живо было уже сомкнулись, окружив коляску, и завязали перестрелку. Это не шуточное нападение, это была сущая партия, человек в двести, которая быстро переправилась через Лабу на закрытом местностью броду и сделали свой сюрприз... Приняв команду, я спешил казаков и составил вокруг экипажа каре; имея по углам ракетные станки, мы открыли через ружье огонь из-за коней. Горцы разделились на две партии, чтобы поставить нас между двух огней; но бывшая в засаде, ради потехи, сотня, поняв в чем дело, бросилась и сбила часть партии, занявшей дорогу от леса; вслед же затем явившийся из укрепления подполковник Генинг не любивший шутить с татарвой, живо их сбил и заставил бросаться, где кому пришлось, прямо с кручи. Часть войск, прибывшая на выручку нам, отправились преследовать партию, а мы сели в экипаж и во все лопатки понеслись в Воздвиженскую, где командир 1-го Лабинского полка (старый улан), войсковой старшина Коровин, жена которого была француженка, радушно приняли нас. Оба наши гостя во все время перестрелки принимали самое деятельное участие в ней, посылая пуля за пулей из своих двустволок, первый раз стреляя через седло, что их чрезвычайно заняло. [141]

На утро мы выехали осматривать попутные станицы. Гости наши долго оставались близ станицы Некрасовской, на месте бывшего укрепленного стана некрасовцев, еще хорошо сохранившего свои земляные сооружения. Граф Куртюжи сказал мне, что он собирает материалы царствования Екатерины II, и стан некрасовцев, лично им осмотренный,

займет не одну страницу в его мемуарах. Вечером мы были уже в Усть-Лабинской станице. Здесь гостей встретил наш достойнейший начальник фланга, Петр Петрович Ковалевский. На утро я имел честь откланяться нашим гостям и передал каждому из них, по поручению В-ва, полное горское вооружение, как современное, так и древнее, с костюмами и с конской сбруей. Они не ожидали такого, можно сказать, царского подарка. В эту ночь они получили депеши, призывавшие их на родину, где 48-й год не обошелся без тревоги и переполоха, более серьезного, чем темиргоевское и у Воздвиженской...

С особенной внимательностью рассматривали французы каждую вещь. Их очень занял наш сулук, т.е. кожаный складной котелок, который мы имеем под седельной подушкой для набрания воды, а также сулам, т.е. отрезок от корня камыша, оправленный в серебро, как нагрудный хазырь (патрон) тоже для питья, через него как через фильтру, грязной и нечистой воды. Они говорили, что предложат эти полезные вещи, по их удобству, ввести на родине в войсках, равно и башлык.

Наши гости, быть может, давно забыли свою поездку по лабинской линии, а мне, вернее смерти, никогда не приведет судьба напомнить им в Париже, по их карточкам, о былом посещении и их любезной внимательности к казаку-пластуну лабинской линии.

XXIII.

ЗАВАЛ.

Отряд возвращался из экспедиции, предпринятой в большую Чечню в начале сороковых годов.

Был уже конец октября. Природа Кавказа, казалось, грустила, как увядающая красавица, которая чувствует приближение своей осени. Ветер, с заунывным воплем пробегаая по ущельям, обрывал последние желтые листья деревьев. Небо хмурилось; солнце лениво светило. Отряд наш растянулся по узкой гати Кунипского [142] леса лежащего в десяти-двенадцати верстах от реки Мечика (На реке Мечике живет довольно сильное чеченское племя мечиковцев. Впоследствии, в 1855 году, на реке Мечик был размен Джемал-Эдина, сына Шамиля, взятого в плен при штурме аула Ахульго в 1839 году, на пленные семейства князей Чавчавадзе и Орбельяни.). Я был в арьергарде со взводом конной казачьей № 14-й батареи, при батальоне курирцев.

Мы двигались очень медленно, изредка останавливаясь, чтобы отбросить на благородную дистанцию мечиковцев, которые провожали нас то пронзительными гиками, то свистящими пулями. Изредка снимались орудия с передков, чтобы послать гранату или ядро, как прощальный привет хозяевам. Не раз я засматривался на Черные Горы, синевшие вдаль, а за ними, как облака, туманно высились вершины снегового хребта, и, как будто с негодованием, смотрели на нас. Да и было за что: не одна роскошная долина у подошв их отрогов превратилась в пустыню; не одна роща вековых дубов и чинаров, увитых дикими лозами виноградника, переплетенных дружным плющем, обратилась в пепелище, где обгорелые остовы дерев и тлевшие аулы горцев напоминали о страшных гостях своих. И весело, и грустно было расставаться с этой очаровательно-грозной природой; но мы с каждым шагом были ближе к Сунженской линии, а эта мысль какой скуки не разгонит!

Так мы прошли и выдвинулись на поляну, среди которой, осененный кущей тутовых дерев и кизила, высится большой курган, со старым горским кладбищем и с развалинами какого-то аула. Отряд расположился на ночлег. Запылали бивуачные огни; поляна в

несколько квадратных верст, обрамленная с трех сторон вековым лесом, примыкающая к крутому обрыву на реке Мечике, осветилась и ожила говором тысячей голосов; везде мелькали живые тени, то ярко облитые огнем то уходившие и исчезающие во мраке. Освещенные снизу деревья принимали исполинские размеры и, казалось, верхушками упирались в мрачный свод неба. Нигде ни звездочки; только нависшие пеленой тяжелые тучи гнездились одна на другой, изредка разрезаемые яркими полосами молний. Холодный ветер, врываясь в долину от реки, кружил сухие листья и пыль над поляной со снятым хлебом. Я был дежурным по артиллерии: приняв и передав приказания, так уходился, что с наслаждением бросился на бурку у яркого костра, и [143] начинал уже дремать в ожидании ужина... В это время подошел ко мне наш дивизионер, капитан гвардейской конной артиллерии, Б-д, прикомандированный на время экспедиции к сводным пяти орудиям нашей конно-казахьей бригады, батарей №№ 13-го, 14-го и 15-го. Этот редкий, молодой человек, не по летам испытавший жизнь и покрутившийся в вихре петербургского света, умел и успел увлечь не только наши умы, но и овладел сердцем каждого, кто его знал хотя немного. Он сел у огня, как-то особенно грустный и молчаливый, будто чуя беду неминуемую... К нам подошли: пешей 19-й бригады поручик граф Толстой, 13-й батареи сотник Бирюков и нижегородский драгун, штабс-капитан князь Челокай. Оживилась беседа; Б-д как бы стряхнул тяжелую думу; речь его, по обыкновению, лилась стройно и увлекательно, но видно было, что он преодолевал гнетущую безотчетную тоску... За полночь все разошлись...

Сумрак редел. Тяжелый туман еще висел над рекой, а отряд уже закопошился как муравейник; с первым рассветом пасмурного дня, началась переправа через Мечик. Наши пять орудий были в авангарде, и едва мы стали подниматься на крутой откос противоположного берега, как были встречены пролетевшей над головами гранатой, которая упала за нами в воду. Поднявшись на взезд, нам открылась небольшая поляна, замкнутая со всех сторон гигантским лесом, а за ней, по неширокой арбяной и единственной дороге, высились, преграждая путь, одно над другим, деревья грозного «завала», устроенного горцами, мастерами на такого рода сооружения, и вооруженного девятью орудиями. Из-за завала виднелись папахи и мелькали стволы винтовок. Едва мы выстроились фронтом, адъютант начальника отряда подскакал к Б-ду и передал ему приказание генерала...

— Справа в одно орудие, рысью марш! — раздался голос капитана, и все пять орудий вытянулись в линию по дороге. Свернув с нее влево, орудия пустились по ровной поляне стрелою, пристроились по-одиночке к первому, и понеслись, на полных рысях, прямо против всходящего угла главного завала, чтобы спастись от выстрелов боковых орудий. Но эта предосторожность была лишняя: неприятельские завалы, мастерски устроенные, взаимно обстреливали всю линию. Легкие орудия наши, как кокетливые щеголихи на гулянье, быстро приближались к опушке леса, занятого горцами. В густых облаках пыли, орудия катились по снятой [144] пажити чалтыка (Чалтык то же растение, что сарацинское пшено. Чалтык, просо, кукуруза, ячмень и пшеница суть главные продукты горского хозяйства: ржи и овса горцы никогда не сеяли.) и проса, то разрываясь перед неровным местом, то снова равняясь, на полных интервалах. Но вот белое облако вырвалось сквозь ветви засеки с одной из амбразур завала; блеснула молния; грянул гром; фитили мелькнули в других амбразурах, и ядра засвистели над нашими орудиями. Дым орудий, стрелявших по-очереди, повис черной тучей, закрыв завалы. Едва отгрянул гул первого выстрела, глухо повторенный лесом, орудия, по сигналу шашки капитана, повернули налево кругом, казаки бросились с коней к лафетным станинам, коноводы с передками поскакали к зарядным ящикам. Несколько мгновений царствовало всеобщее смятение; но скоро орудия, выравненные с замечательной быстротой и ловкостью, гордо

возвысили свои жерла, и стали прямо смотреть в боевые подушки неприятельских лафетов. Первый выстрел взревел... орудийный огонь задернул занавесой дыма всех нас.

Как сокол, быстро летал Б-д по дивизиону, держа наголо шашку, и, несмотря на то, что статный карабах его, испуганный выстрелами, рвался неровными и бешеными прыжками, ловкий кавалерист сидел в седле твердо.

Он подскакал к командируемому мною взводу, говоря: — «Не робей ребята! двум смертям не бывать, одной не миновать!»... В это время блеснул огонь в облаках дыма, и шамилевское ядро с треском ударилось в хоботовую подушку единорога, прыгнуло через правило, и пошло рикошетами вдоль дивизиона. Б-д, раненый в правую ногу, упал вместе с лошастью близ передовых уносов.

— «Казаки! Не поминайте меня лихом», — сказал еще твердым голосом храбрый капитан, когда понесли его на окровавленных носилках... «Сотник Бирюков, примите команду над орудиями. Прощайте, добрые друзья!..»

Артиллерийский огонь с обеих сторон усилился; ядра и гранаты реяли над нами, вырывая то казака, то коня; но вот бегом пробежали, мимо дивизиона, с ружьями наперевес, охотники от Куринского и Кабардинского полков: это, большей частью, были юнкера, которым храбрый наш начальник отряда, генерал Фрейтаг, вызывая на штурм, сказал: — «Повесы-галунщики вперед! кто первый на завале, тому крест и эполеты». Быстро пронеслись [145] рота за ротой вслед охотников к завалам. Загрохотала артиллерия: наши пешие батарейные орудия обстреливали фас и фланги; ядра, со страшным треском ударяясь о гигантские древесные стволы завала, щепили их, отрывая огромные куски, поражавшие горцев. Не устояли мюриды и чеченцы перед всесокрушающей силой дружной атаки. Первый завал был взят, и юнкер князь Херхеулидзе держал и махал значком, отбитым им у горца; а за первым завалом были взяты еще два, но уже без орудий. Горцы, видя неустойку, прежде всего бросились спасать их, однако не могли увезти одно подбитое орудие и два зарядных ящика, доставшихся нам трофеем. Наши легкие орудия двинулись к главному завалу, и удачные навесные выстрелы облегчили штурм остальных завалов.

Пехота делала чудеса; горцы, невзирая на свою прирожденную твердыню—крепость, вековой лес, бежали, сбитые со всех пунктов и провожаемые орудийным и ружейным огнем, или выбиваемые штыком и прикладом из засад. Дружно пехота распорядилась с завалами и очистила нам дорогу.

Надо, по-истине, дивиться кавказскому солдату, его неутомимости, его богатырской силе, отваге и сметливой расторопности в такой местности, где каждый куст, каждый камень, каждое дерево скрывают горца, а с ним оплошному смерть. Но кавказский солдат все преодолевает и выходит победителем. Слава, хвала и честь вам, храбрые кабардинцы и куринцы — гроза и ужас Чечни!

Вот перекаты барабанов и сигнальные горны велят собраться из преследования. Генерал уже на открытой огромной поляне, окруженной густым лесом, из-за которого слева высятся уступы исполинских скал. Как к матке в пчелином рое, так, стекаясь со всех сторон к генералу, являлись закопченные пороховом лица храбрецов. Весело было смотреть на беззаботные, открытые лица усачей, уже шутивших и смеявшихся, едва успев вырваться из жадных челюстей смерти. Но таковы были обстрелянные кавказцы...

Как только дело кончилось и мы поубрались каждый в своей части, я с Бирюковым поехали на перевязочный пункт. В это время навстречу нам тянулись повозки и арбы, в которых лежали на соломе раненые офицеры, солдаты, казаки и милиционеры; стоны их сливались со скрипом колес... Некоторые могли сидеть — и как грустно смотрели они на нас, здоровых и веселых!.. Будто теперь вижу этих храбрых, которых, [146] еще так недавно волновали страсти, надежды, желания, искаженных и обезображенных огнестрельным и рукопашным оружием, бледных, полумертвых, с открытыми и тусклыми глазами. Иные из них, с горестным упованием, молились; другие, без слез и ропота, смотрели пристально на свои раны, обвитые кровавыми бинтами; но большая часть лежали под бурками и шинелями, без чувств и памяти.

Я с Бирюковым, как бы сговорясь, дали повода и нагайки коням и вихрем промчались мимо благородных страдальцев. Через несколько минут мы уже были на перевязочном пункте. Уважаемый наш Б-д лежал бледный и без ноги.

— Прощайте, господа, — сказал он нам, — благодарю вас за все, благодарю за участие к умирающему; мое предчувствие сбылось... Вряд-ли еще увидимся!.. — Он грустно опустил голову на седельную подушку и замолк; мы думали, что он умирает... Скоро опять очнулся Б-д и, взглянув на нас, сказал:

— Вы еще здесь, товарищи... благодарю вас... — Он протянул было к нам руки, готовясь говорить; это движение причинило ему нестерпимую боль, и он опрокинулся навзничь. Подошедший медик попросил нас удалиться, чтобы не беспокоить раненого.

Через полгода мы прочитали в приказах, что наш храбрый дивизионер получил орден св. Георгия 4-го класса и за ранами уволен от службы полковником... Последняя моя встреча с храбрым Б... была во дворце Государя Императора, во время празднества столетнего юбилея ордена св. Георгия, 26-го ноября 1869 года. Со слезами на глазах, дружески обнялись старые знакомые — оба калеки...

Потеря наша в продолжение этой экспедиции была довольно значительна, но вред, нанесенный хищникам, был громадный... Впервые русское оружие громило их разбойничьи вертепы в самой глубине недоступных вековых лесов Чечни. Прошло немало времени, когда наместник Кавказа, князь Барятинский, проложил свободный путь, по нашим следам, широкими, на орудийный выстрел, просеками, перерезав и искрестив Чечню, и добрался до их самых заветных логовищ.

Нам еще на утро предстоял бой.

Поднялось солнце огромным шаром из-за горных вершин и стало над лесом. Мы двинулись вперед; командуемому мною взводу пришлось идти в арьергарде с драгунами, казаками и милицией. Горцы провожали и преследовали нас упорно. В авангарде [147] слышалась частая орудийная и ружейная стрельба, но отряд шел не останавливаясь. Горцы беспорядочно толпились, поражаемые повсюду. Так два дня шли мы через Чечню и на третий день к вечеру, переправясь через реку Сунжу, были в Сунженской станице (впоследствии эта станица была переименована в Слепцовскую, в память генерала Слепцова, начальника линии и бригады, заплатившего славную смертью в бою за эту честь).

Как взводный командир, и еще почти новичок на Кавказе, я мог знать только то, что мне приказывалось и приходилось исполнять в составе этой экспедиции, и потому говорю о том только, чему был очевидцем.

Вспоминая Чечню и былое, невольно сравниваешь то время с временами генерала Ермолова, когда кабардинцы и чеченцы пугались и дрожали, как дети, одного гула орудийного выстрела, и когда управлялись с ними иным способом...

Впоследствии, уже быв адъютантом на Лабе, я случайно прочитал у почтенной старушки, матери нашего сотника Б-на, дочери бывшего кабардинского пристава, рапорт ее отца генералу Ермолову, характеризующий то время отношений горцев к русским. Надобно знать, что кабардинцы и чеченцы были тогда мирными, управлялись и судились, по своему адату и шариату («Адат» — предание; «шариат» — суд по корану; мулла развернет его, и случайно попавшая сюре, т.е. глава пророческой книги, истолкованная по личному убеждению чтеца, решала спор, зачастую со львиным правом и участием в деле самого судьи, во имя Аллаха и его пророка.), князьями и муштаидами, и развернутая глава корана решала дела не хуже иных современных мировых судей; но они имели и от нашего правительства приставов, в ведении которых были также соляные магазины, из которых соль променивалась горцам на их местные изделия, впрочем в размере не более полупуда за раз на семейство. Кстати замечу, что в горах немало минеральной соли, но неумение очищать ее вынуждало горцев приобретать соль из наших окладов, чему много способствовала и ничтожная цена (15 копеек серебром за пуд). Вещь общеизвестная, что пища без соли, для привычного к ней желудка, порождает разнородные болезни: цынгу, опух тела и проч. и проч. На этих то данных, пристава, в случае волнения народа, прекращали отпуск соли и тем усмиряли строптивых, как видно из рапорта пристава Большой Кабарды, капитана Жиркова: «кабардинцы шалят, не прикажите ли им попухнуть, ваше п-во?» На стороне этого оригинального [148] рапорта, рукой генерала Ермолова написана лаконическая резолюция, «пусть попухнут». Суд и расправа, как явствует, были немногосложны, но действительны, и черкесы (Слово черкес (саркеш) значит собственно «мятежник», подобно тому как слово клефт «разбойник» и «вор»; но одно в горах кавказских, а другое сулийских, приобрели со временем почетное значение по поводу удалства этих горцев в набегах на соседние земли. В России, да и в целой Европе всех кавказских горцев называют черкесами, но это название далеко несправедливо: у нас черкесами исключительно называли одних кабардинцев, которые величают себя громким именем адыге — название равносильное слову «властитель». Прим. авт.), «попухнув», смирились. Было время, когда пользовались и самыми их желудками, обращая их сравнительно в лучших полисменов, чем гром орудий, к которому они привыкли, заменив лук и стрелы винтовкой и ловко управляя своими пушками. Скажу: всему своя черед, и время не приходит и не походит на время.

XXIV.

ШАЛОХ.

Бывали и нерадостные случаи для нашей Лабинской линии: не все мы разбивали партии и скопища горцев; но и самый проигрыш не посрамлял русского оружия и не клал не только пятна, но не бросал и тени на славу кавказских войск, предпочитавших смерть в честном бою позору плена. Это был общий завет и девиз прокопченных порохом и закаленных в опасностях войск. И вот тому не первый пример — дело под Шалохом 4-го мая 1850 года.

По особому высочайшему повелению, начальники фланга и линии были приглашены на совещания в город Ставрополь к командующему войсками генералу Заводовскому, относительно предположенного занятия крепостями за-лабинских долин до Черных Гор, также на реке Белой, в ее низовьях и близ майкопских ущелий.

Полковник В-в, отъезжая на неопределенное время, начальство линией поручил другу своему, командиру донского № 36-го полка, полковнику Павлу Алексеевичу Ягодину, служившему на фланге с самого начала занятия линии; бригада была вверена командиру 2-го Лабинского полка, подполковнику Котлярову.

Отряд, под начальством полковника Ягодина, состоящий из двух сотен его полка, двух сборно-линейных, роты Ставропольского егерского полка и взвода конно-казачьей № 13-го батареи, окончив ремонтные работы в укреплении Ахмет-Горском, остановился [149] близ поста Шалоховского (Шалоховский, или пост Шалох, сооружен вскоре по занятии линии на месте бывшего сильного аула, беглого кабардинского князя Арслана-Шалоха, разоренного генералом Зассом в тридцатых годах. Порода лошадей фамилии Шалох славится на Кавказе своей неутомимостью и быстротой.). Получив через лазутчика сведения о значительном сборе хищников, намеревавшихся пробраться близ Ахмета на Кубань, и проверив эти сведения известиями принесенными в отряды пластунами, полковник Ягодин, со вверенным ему отрядом, три дня поджидал появления партии и уже намеревался двинуться к станции Лабинской. В то время я был командирован в Ахмет-Горское, на следствие о неправильном донесении капитаном № 5-го линейного батальона Грушецким дела, бывшем близ укрепления на рубке леса. Окончив поручение часу в четвертом дня, я заехал на Шалоховский пост, чтобы переменить коня и конвой, и встретил там полковника Ягодина, который, по-расспросив о результатах расследования, предложил мне возвратиться в Лабинскую вместе с отрядом. И затем мы принялись чаевать. Едва мы выпили по стакану чаю, как орудийные выстрелы Ахмет-Горского укрепления заявили, что партия показалась за Лабой. Полковник Ягодин форсированным маршем двинул отряд на выстрелы (расстояние между постом и укреплением 7-8 верст). И так мы отошли версты три и спустились в глубокую котловину, называвшуюся у нас «чертов мешок». Балка эта занимает пространство около квадратной версты; посередине ее быстро бежит небольшая речка Грушка, впадающая в Лабу. Крутые откосы, высотой от 40-50 сажен, охватывают с трех сторон котловину, упирающуюся в густой лес над Лабой. В это время сильная партия, разделясь надвое, быстро выскочила из леса и охватила кругом высоты котловины, покрытые густым и частым кустарником. Горцы спешили и открыли непрерывный огонь. Сбить неприятеля картечью было невозможно: орудийные клины были почти вывинчены; живо подрыли землю у хоботовых подушек, и наводить орудия приходилось под огромным углом. Но и этот прицел в такой местности не давал хорошего результата, чтобы отбросить горцев, залегших с изумительной быстротой на столь выгодной позиции. Ружейный наш огонь тоже немного наносил вреда горцам, закрытым камнями, кустами и густой травой, тогда как их выстрелы сверху и из густого леса над Лабой поражали наши ряды. Четыре раза бросались мы напролом, пробиваясь штыком, пикой и шашкой, взбираясь на кручи; но всякий раз [150] град камней и дружный залп горских винтовок отбрасывали нас в котловину. Сборище горцев было до 5,000, имея в голове лучших своих вожаков; они уже рассчитывали наверное задавить нас численностью и видимо готовились, под прикрытием ружейного огня, броситься на нас с шашками. В это время из-за дженгетских высот, поднимающихся за окраинами «чертова мешка», по крутой покатости их, спускавшейся к Лабе, изрезанной глубокими балками поросшими кустами, показались летевшие во все повода две ставропольские сотни 4-й ставропольской бригады. Они шли к нам на очередную кордонную службу и были за высотами на покормке; но, услышав сильную перестрелку, бросились на выручку нас. Завидев их, вожаки живо распорядились, и в глазах наших до тысячи джигитов понеслись по балке, идущей от вершины высот до подошвы, по окраинам с обросшими кустами. Ставропольцы, заметив усиленный огонь по нас и не видя мчавшихся навстречу им горцев, пустились еще быстрее, поддавая нагайками ходу. Бравые сотенные командиры, есаул Максимович и сотник Кикнязев, неслись впереди, не ожидая встретить на полпути засаду. Сотни на скаку растянулись; казаки, перегоняя один другого, не ожидали так

близко неприятеля. Сосредоточив все внимание на выстрелы у «чертова мешка», бедняги вдруг были встречены залпом трех или четырех сот винтовок и дробью выстрелов по протяжению балки. Оба офицера были убиты наповал; большая часть казаков убиты или переранены; остальные смешались, оторопели: кто спешился, а кто поворотил коня в гору; но другой залп и выскакавшие из балки горцы положили шашками остальных людей. Нам все это было видно как на ладони; но ни предупредить, ни выручить своих не было никакой возможности: мы сами были на шаг от той же участи. Гарнизоны укрепления Ахмет-Горского и поста Шалоховского, видя истребление ставропольских сотен со своих вышек, поспешили к нам на выручку. Едва раздались орудийные выстрелы, встревожившие атакующих нас горцев, Ягодин, с шашкой наголо, бросился вперед и мы прорвали густые массы неприятеля, невзирая на град пуль, буквально нас осыпавших. Не удержали и кручи отчаянного прорыва. Орудия вынесены были почти на руках, и едва установились на окраине котловины, как запрыгала картечь по кучам сбившегося неприятеля, попавшего в перекрестный артиллерийский огонь. Отхлынула масса, нас давившая, и мы примкнули к роте из Ахмета [151] и полуроте из Шалоха при двух орудиях подвижной гарнизонной артиллерии, соединившихся над «чертовым мешком». Храбрый Ягодин не дал опомниться скопищу. Живо были направлены орудия на главную массу с фронта и, в то же время, пехота и казаки, после дружного залпа, бросились с обоих флангов... Они опрокинули сборище в Лабу. Горцы, не ожидавшие такого оборота дела, до того смешались, что кучились и толпились на плаву, как отара баранов, и много, много унесла Лаба вниз трупов джигитов и их коней. Жажда мести одушевляла весь отряд, едва можно было удержать солдат и казаков не бросаться в воду для преследования. Вот уже и величавая луна стала над рекой, серебря и переливаясь в волнах быстро летевших, а выстрелы не умолкали... Скопище бежало без оглядки и скрылось за густым лесом Ахметского ущелья. Длитель бой и преследовать было бы неразумно: люди выбилась из сил, патроны почти повыпущены все.

Подобрав убитых и раненых в котловине и во время преследования горцев, мы остановились на посту Шалоховском; но, невзирая на утомление шести или семи-часовым отчаянным боем, по преимуществу в «чертовом мешке», где по-истине выдержали адский огонь, мы не могли заснуть в маленькой душной казарме поста: досада на первоначальную удачу горцев грызла наше самолюбие, истребление на глазах наших двух сотен болезненно отзывалось в душе. Так мы промаялись до утра. На утро гарнизону Шалоховского поста приказано было подобрать тела ставропольцев и предать земле; среди них оказался живым только один молодой казак, весь порубленный и впоследствии ослепший от ран.

Невзирая на значительную потерю нашу, на истребление двух сотен, полковник Ягодин, по передовой реляции, всемиловитейше пожалован генерал-майором, и всякий из нас, бывший в этом гибельном деле, в душе сознавал, что награда эта Ягодиным была заслужена вполне и добросовестно.

Не замедлили и другие награды: каждый получил должное и не одна грудь казака и солдата украсилась георгиевским крестом. Единственный оставшийся в живых казак Николаевской станицы получил Георгия: а во время посещения Кавказа нашим Августейшим Атаманом, ныне царствующим Государем Императором, удостоился особой милости, обеспечившей будущность безродного слепца. В деле этом убиты его отец и два брата. [152]

XXV.

ЖИВОЙ ПРИЗРАК.

Между станицами Баталпашинской и Суворовской (Хоперские казаки первоначально заняли земли в окрестностях Ставропольской крепости — ныне губернский город — но часть их генералом Суворовым, впоследствии знаменитым Фельдмаршалом, князем Италийским, переселены по правой стороне реки Кубани, и станица Суворовская (5-й хоперской бригады), названа по имени своего знаменитого основателя.), на покато́й местности высится одинокий курган, как сторожевой часовой, над привольной, роскошной долиной, стелющейся богатым ковром кругом на десятки верст. На дальнем горизонте, на восток, в безоблачном небе, синеют Бешту и Машук (Бешту, или Бештау «пять голов», и Машука — самые большие горы из пяти гор, окружающих кавказские минеральные воды, Пятигорск, Железноводск, Эсентуки и Кисловодск.) дымясь густым туманом, вестником непогоды, тогда так заходившее солнце золотит вершины юго-западного склона снежного хребта, идущего от Эльбруса к Черному Морю. В это время дивная панорама поражает невольно взор каждого со «сторожевого кургана» долины, и все видимые предметы принимают гигантские размеры, обманывая зрение; будто что-то таинственное звучит в воздухе, поражая ухо. Но не любитесь запоздалый путник дивной картиной... Суеверный страх невольно западает в душу при взгляде на таинственного стража долины: будь то горец, или казак, он невольно сдерживает коня, чутко насторожившего ухо, и с каждым шагом близясь к нему по пролегающей у подошвы его дороге, вьющейся змеей, между кустов шиповника и дикой розы, бросает взор тревожно кругом, как-бы готовясь пустить лететь лихого скакуна от неведомой страшной напасти. Еще тревожнее забьется сердце непривычным страхом, поравнявшись с курганом: рука невольно хватает оружие, а конь, как бы чуя недоброе, рвется на поводах, ускоряя торопливый неровный шаг...

Предание о грозном всаднике «сторожевого кургана», перешедшее от горцев к казакам, гласит, что здесь было совершено страшное убийство, и что тень убитого изменой аталыка (У азиатцев, вообще, есть древний обычай, детей почти со дня рождения отдавать на воспитание другу, жена которого делается, таким образом, кормилицей и воспитательницей ребенка, т.е. аталычкой. Аталык же, по возврате своего питомца, дает ему уже окончательное воспитание, учит наездничеству, плутовству на все руки, как высший курс образования — и это родство, молочное, уважается как святыня, нередко считается если не выше, то равно кровному. Прим. авт.) с [153] закатом солнца появляется на вершине кургана, в белой одежде, на белом коне, и съезжая на встречу путника, равняется с ним и скачет, дуя страшным вихрем в лицо и в уши коня, до тех пор, пока оба, обезумев, изнеможенные падают без чувств или умирают со страха. Едва же первые лучи востока золотили вершину кургана, страшный всадник бросал свою жертву, и опять появлялся на вершине его, и, вперив огненный взор к Карачаевским горам, исчезал, уходя в недра земли.

Пользуясь этим преданием и суеверным страхом горцев, передающих из рода в род все чудное и таинственное о местностях, как обычный завет, урядник Суворовской станицы, Переверзев, лет около пятидесяти назад, не только спас свою жизнь, но и разогнал партию хищников, являсь живым призраком «сторожевого кургана».

Служебная надобность призывала Переверзева в Баталпанск. Дорогой он наехал на стаю диких коз — и страстный охотник, забыв все, увлекся преследованием их... Охота была удачна. Утомясь сам и загоняв до изнеможения коня, он остановился отдохнуть и покормить боевого товарища в кустах на кургане, рассчитывая еще далеко до заката быть в станице. Пустив стреноженного коня, он прилег, не думая уснуть; но предатель-сон овладел утомленным охотником, и он проснулся, когда уже перегорала заря позади синеегося леса за Кубанью. Невольный страх овладел душой старого казака при

воспоминании о всаднике-мертвец... Торопливо взнуздав коня, он повел его с кургана, осматривая тревожно окрестность, и уже спустился до половины как неожиданно появившиеся на горизонте высокого берега Кубани движущиеся точки, быстро приближавшиеся, то соединялись в кучу, то рассыпались, а между тем росли, освещаемые последним проблеском закатившегося солнца. Вот уже и простым глазом казак различает всадников, едущих крупной рысью... Казакам в это время и по этому направлению ехать незачем... Опытный хоперец, замаскированный кустами, поднялся на самое почти темя кургана, зорко следя за приближающимся врагом. Партия горцев, человек пятнадцать, не доезжая с версту до кургана, поехала шагом, громко перебрасываясь словами. Думал-было хлопец отсидеться невидимкой в кустах, да, завидев татарву, казачья кровь заговорила, закипела ключом, а тут недавно испытанный самим страх при одном воспоминании о мертвец, да старая услужливая память о предании поджигали попытать счастья продебютировать в [154] роли живого призрака сторожевого кургана. Случай же, как нарочно, ухитрился прислужить. Переверзев был в белой черкеске, в белой папахе и на белом коне. Едва успела мелькнуть эта блаженная мысль, она уже была в ходу... Быстро вскочив на коня, он медленно поднялся на самую вершину, и, озаренный последним проблеском зари, казался исполином. Горцы, занятые жарким спором, казалось, забыли о страшном месте; но у одного из них споткнулся конь и, спохватясь, шарахнулся в сторону с дороги. Глаза всех невольно обратились на курган, с его колоссальным всадником. Предание ожило в памяти; страх сковал рассудок горцев, и они, поворота коней, пустились обратно вскачь от грозного видения. Переверзев, видя такой удачный успех своей проделки, с оглушительным гиком, как ураган, слетел с кургана и погнался за оторопевшими джигитами, с шашкой над головой и винтовкой на погоне левой руки... Нагнав первого горца, он на скаку хватил его с плеча шашкой; отчаянный предсмертный вопль несчастного суевера слился с гиком живого мертвеца и окончательно поразил паническим ужасом ошеломленных хищников: они без оглядки неслись к Кубани... Еще восьмерых изрубил удалой урядник, а горцы, видя обгонявших их испуганных коней убитых, пуще гнали своих, пока бросились с кручи в Кубань... На плаву ранив из винтовки горца, Переверзев снял шапку, набожно осенил себя крестом и шагом поехал на ближайший пост. Рассказав там свою «оказию», он и несколько товарищей переловили лошадей убитых и на утро притащили в станицу их тела. Подвиг Переверзева был доведен до сведения командующего войсками, генерала-от-кавалерии Эмануеля, и храбрый урядник награжден знаком отличия военного ордена Св. Георгия.

Горцы, спасшиеся благодаря силе и крепости своих коней, в ужасе рассказывали по аулам о страшной гибели своих товарищей, пораженных рукою мертвеца сторожевого кургана. Страх окрылил воображение и создал действительность: старое предание ожило, украшенное вдобавок азиатским хвастливым рассказом, со всеми прикрасами чудесного и сверхъестественного, и никто, и ничто не могло переуверить и одолеть суеверие горцев.

Прошло с тех пор около полувека; но запоздалый горец, а, пожалуй, и иной казак, близясь к кургану, невольно робеет и гонит коня, озираясь кругом, пока скроется за горизонт страшный свидетель легендарного преступления — сторожевой курган. [155]

Несколько раз приходилось и мне делать поездки днем и ночью мимо кургана. В одну из таких, случайно был моим попутчиком старик, как лунь седой, отставной урядник Переверзев: он-то мне рассказал все подробности здесь переданные, в подтверждение которых есть в архиве хоперской бригады подробное донесение об этом происшествии.

XXVI.

ЯКУБ-ХАН.

(Надо заметить, что титулы: султан, хан, бек и проч., у азиатцев вообще становятся после собственного имени, и тогда они означают его достоинство; если же говорят перед именем, то решительно ничего не означают более, как простое имя — и могут принадлежать простолюдину — а не «ак сюян, ак сунгяк», т.е. белая, благородная кость, и в геральдическом значении не имеют места.)

За Кубанью появился ренегат Якуб-хан. Об этой личности говорили горские лазутчики, что, явсь несколько лет назад к Шамилю, как посланец из Турции, он был приглашен имамом остаться у него в звании наиба и топчи-баши (т.е. наместника и главы артиллерии), и заняться устройством литейных и пороховых заводов с мастерскими.

Немало прошло времени, пока личность Якуб-хана обрисовалась. Разновременно собранные сведения подтвердили, что Якуб-хан был не кто иной, как польский выходец, бежавший из Сибири за границу и пробравшийся в Турцию, где принял ислам и возведен султаном в звание хана. Он был артиллерийский поручик войск польских; фамилия его Якубович.

Горцы так много говорили о его универсальных знаниях и о постоянных занятиях с невиданными инструментами, с которыми он копался в горах; он окружал себя такой таинственностью, что немногие даже князья и старшины удостаивались чести с ним беседовать... Они, а за ними и все горцы, благоговели перед мудрым всезнайкой Якуб-ханом... Привозимый на образец его фабрикация порох, действительно, был недурен, особенно полированный, сделанный из местных материалов, хорошо очищенных, образцы которых лазутчики не раз доставляли нам. Влияние на умы горцев Якуб-хана возрастало все более и более, и его слово, его совет были непреложный закон в горах. Но, сообразив все это вместе, оказалось, что с появлением какой-то личности, во второй половине тридцатых годов, у Шамиля [156] оказались собственной фабрикация орудия, снаряды и порох, и при взятии штурмом укрепленного аула Ахульго, резиденции имама в 1839 году, найдены разного рода машины самодельного устройства, удовлетворявшие технике по своему назначению, что и впоследствии обнаружилось при взятии с боя резиденции Шамиля Дарго, Веденя и других... Устройства эти и самое производство работ, равно и довольно толковое образование состава имамовской артиллерии не мог же сделать бывший фельдцейхмейстер Шамиля, беглый фейерверкер Никитин, пьяница и отъявленный полуграмотный негодяй. Итак это было дело Якуб-хана.

Сильное влияние на горцев пана Якубовича крепко не понравилось начальнику кубанской линии генералу Зассу, и он обещал за голову его приличную сумму. Много было конкурентов попытать счастья, да горцы зорко стерегли и охраняли своего пената и добраться до него не было никакой возможности; сам же он не участвовал в набегах, живя далеко в неприступных горах. Но жажда корысти нашла охотника на отчаянное и трудное дело.. Явился к генералу армянин, житель Альмавирского аула (на левом берегу Кубани, против крепости Прочно-Окопской), Давуд Багиров, с предложением добыть голову Якуб-хана, если, сверх обещанных денег, ему дадут «опицер», т.е. наградят чином. Обещал и это генерал. Багиров вел меновую торговлю в горах и там пользовался, если не доверием, то полным уважением, как капиталист. Он уже не раз видал Якуба, продавал ему привезенный по заказу товар, и, своей точностью и аккуратностью, заслужил его расположение. Этим-то и надеялся Давуд воспользоваться. Все чаще и чаще начал он ездить в аул Якуба, который невольно поддался влиянию, как вещи необходимой, хитрому армянину, видя в нем далеко недюжинную голову, и уже никак не считая опасной личностью своего почтительного слугу. Каждая поездка в горы все более и более

сближала их... Наконец Якуб-хан, вероятно скучая, пригласил Давуда погостить у него день, другой. Ловкий проходимец воспользовался этим и ловко распорядился...

Два дня и две ночи они были неразлучны; и на третьи сутки Давуд, отблагодарив своего высокого покровителя, распростился с ним, обещая вскоре возвратиться, лишь покончить свои торговые дела по смежным аулам. Остался в сакле, стерегомый двадцатью или тридцатью горцами, один Якуб-хан и улегся спать ранее обыкновенного, не приказав никого впускать к себе... Между [157] тем, Багиров, с заводным конем и со своим братом, отправились на арбе по дороге в дальние аулы... Около полуночи Давуд возвратился один в аул Якуба, и, как тать, огородами пробрался к его сакле (надо сказать, что сакля Якуба была единственная в горах по своей обширности и убранству; она имела два окна с растворчатыми стекольчатыми рамами, и окно спальни выходило на огород; Давуд, перед отъездом, ловко и незаметно отодвинул задвижки рамы); тихо отворил он окно, проскользнул в саклю и, притворив его, сам подполз к изголовью кровати и притаился — Якуб-хан спал глубоким, тяжелым, предсмертным сном, озаренный тусклым светом молодого месяца...

Поднялся Давуд на ноги, как тень сделал несколько шагов, и притаил дыхание, чтобы унять биение сердца и пульсовых жил... Ловким и могучим ударом он отделил голову Якуба от туловища.

Вздохнул полной грудью армяшка, но не выдержала жадная натура: он снял со стены дорогой, украшенный камнями, кинжал убитого, и захватил его шкатулку с деньгами (в ней было до тысячи червонных)... Тем же путем и также ловко удалось Давуду добраться до своей арбы и скрыть в ней свою добычу... Всю ночь они скакали, что только было мочи у коней, и на рассвете уже были далеко от места преступления...

Голова была представлена; деньги получены сполна. Казалось, по-видимому, все было шито да крыто, и Багиров избег «канлы», т.е. кровавой мести. Горцы всего менее подозревали его, полагая, что это была работа черноморских пластунов... Так прошло около года; осторожный Давуд хотя и ездил в горы на сатовку по-прежнему, но уже большей частью по ближним аулам, а в дальние посылал своих приказчиков...

Побесновались, поискали горцы убийцы, и, по-видимому, угомонились... Все это время Багиров сохранял не только от соаульников свою проделку, но даже от семьи, и, кроме брата его, вскоре умершего, никто не знал и не подозревал хитреца. Однако жадная натура не выдержала: Давуд в Ставрополе продал моздокскому армянину кинжал и дорогую шкатулку Якуб-хана... Каким путем горцы добрались до имени убийцы по этим приметам, осталось тайной. Расторговался новый прапорщик, «капец балшой рука», т.е. богатый купец; «духан» его, т.е. лавка, был лучший на всем Прикубанье... Дивились армяне необычайному счастью и начали доискиваться источников золотого руна; но [158] все это было только тень, а не предмет... Случилось так, что Багирову необходимо было съездить в горы в недалекие аулы за расчетом, и вот он сам-друг, на двух пароконных арбах, отправился в путь... Дела его шли отлично; обороты округлили довольно уже значительный капиталец, и он уже мечтал перенести торговлю в Ставрополь, чтобы там открыть магазин на большую руку. С такими мыслями возвращался Давуд домой; усталость лошадей и наступивший полдень заставили мечтателя остановиться на роздых... Выпрягли коней; торгаши развели костер и стали готовить бишь-бармак и шашлык, т.е. крошеное мясо в воде и жаркое на шомполе (буквально бишь-бармак значит «пять пальцев», так как его едят пятерней); сняли с ароб и бурдюк (мех) с кахетинским и добрую флягу араки, и готовились уже закусить... В это время над самыми их головами раздался грубый голос: — «Ей, бегеча, ни хабар?» (ей, ребята, что нового?) Подняв

оторопелые головы, армяне увидели за собой всадника и узнали в нем самого отчаянного хаджирета и вожака партий Хамурзина, а за ним человек десятков таких же головорезов... Эта встреча, а главное нецеремонный вопрос вожака, вместо обычного приветия «аман-ма», или «эсселям-алейкум!» невольно заставил дрогнуть нечистую совесть Давуда.

— «Хабар ёк достум!» Нового нет друг! был робкий ответ, и затем, желая задобрить нежданного «дустляра», гостя, Давуд встал и предложил разделить походную трапезу. Молча спешили всадники, потревожили коней, отпустили подпруги и пустили пастись на прогалину, вместе с армянскими лошадьми. Затем один из джигитов взлез на дерево... Все это показывало, по-видимому, самое мирное настроение; осторожность же не лишнее дело в близости порубежной границы, таких соседей, как казаки. Армяне поуспокоились... Стажил с арбы Багиров большой цветной «узук», полсть, разостлал его для почетного гостя, прося Хамурзина присесть, сам же припал на корточки и принялся резать ломтики «пешлека» (овечий сыр)... На все это Хамурзин, казалось, очень благосклонно смотрел своими чрезвычайно живыми и блестящими глазами, и как будто что-то соображал... Неожиданно появилась улыбка, искривившая иперболической величины рот его; он быстро подошел к Давуду и сказал: «Аллах-коймасын-кяфыр»! Да не попустит Бог, неверный, мне делить с тобой обед! «Бирк-буль, кучюк»! держись собака! И прежде чем успел вскочить на ноги оторопевший армяшка, он [159] уже был связан по рукам и ногам. Ту же участь разделил и его товарищ... Только теперь горцы принялись за обед и, сделав, ему полную честь, как и водке, начали шарить по арбам, доставая, все что было съестного...

Бедняги со страха почти потеряли сознание. Недоумевая и не подозревая будущей участи, они бессмысленно смотрели, как Хамурзин велел запрячь арбы и положил на них армян, как какой-нибудь хлам. Завыл, взмолился Багиров хаджирету; но он, с товарищами, молча повезли их в горы. К ночи пленники были уже в яме, окованные по рукам и ногам конскими цепями, в ауле Якуб-хана. Через несколько дней собралось человек до двадцати князей, старшин и узденей и начался допрос и суд Багирова, обвиняемого в убийстве Якуба, по показанию моздокского армянина, купившего кинжал и шкатулку покойника (которые, однако же, благоразумный доказчик, не показав горцам, умел вовремя хорошо сбить, как водится, с барышом). На все истязания Багиров одно твердил: «валлах, биллях, уны-ультердым»! ей ей не я убил!..

Шариат определил пытать несчастного огнем. Его потащили за аул на кладбище, привязали к древесному стволу, натаскали хворосту, обложили кругом на расстоянии нескольких аршин... Запылал сухой хлам; страшная пытка началась: одежда на армянине тлела, кожа лопалась; вопли страдальца заглушались зверским хохотом горцев, но Давуд переносил все, и сознание в убийстве не сорвалось с его языка... Вечерело; огни начали потухать... густой дым душил мученика; он лишился чувств... Холодный и сырой рассвет оживил его; кругом могильная тишина успокоила немного душу, но тело страдало ужасно, жажда мучила, он уже не надеялся ни на что, и предстоящие мучения не ужасали более...

Нежданная помощь была не за горами: видно смерть не думала еще развернуть свой казовый конец, и счастливая звезда Багирова еще высоко стояла на горизонте...

Генерал Засс получил сведение, что в ауле Якуб-хана собрались в большом числе влиятельные личности для какого-то совещания; он хорошо знал эти съезды и их результаты, а потому решил захватить врасплох горский сейм... Быстро был собран конный летучий отряд в Прочном Окопе, и в ночь, сделав суворовский переход, генерал перед светом находился верстах в двух от аула в глубокой лесистой балке. Батальону [160] пехоты, роте саперов и дивизиону пешей артиллерии велено было с обозом идти

форсированно по следам конницы и занять лес, окружающей аул. С появлением предрассветной зари, войска летучего отряда двинулись к аулу. Три сотни казаков, прикрытые густым туманом, как призраки, пронеслись за аул с двух сторон и охватили его цепью... Взлетела сигнальная ракета и шлаг ее не разорвался еще, а окрестность уже вздрогнула, потрясенная гулом пяти конных орудий... Казаки ворвались в аул, чаще и чаще сыпалась ружейная пальба и пошла потеха страшной резни. Запылала сакли и огонь, гонимый ветром, широким потоком разливая пламя, охватил весь аул; поднявшийся вихрь крутил целые стаи огненных галок, далеко бросая их, зажигал запасы хлеба и сена, окружавшие аул... Между тем, выглянувшее было из-за ближних высот солнце скрылось за нахлынувшими сизыми тучами, как бы стыдясь за людскую вражду, и небольшой дождик освежил воздух, пропитанный гарью... Аул был истреблен дотла. Немногим удалось спастись, и то бросаясь с кручи в шумящие волны Багулла... Легко раненый Хамурзин и человек пять старшин и узденей, да два муллы захвачены живьем... Быстро отряд отступил к лесу, уже занятому пришедшей пехотой и остановился на большой поляне перед ним на расгах... Запылала костры; казаки принялись усердно готовить себе обед из отбитой баранты и скота так же покойно, как будто и не участвовали в резне... Пленных отвели в лес к пехоте, не приказав там разводиться огней, а приготовить пищу с казаками. Соседние горцы, встревоженные нечаянностью нападения, грозно скликались по вершинам лесистых уступов скал над ущельями, окружающими местность... Все предвещало жаркую схватку при отступлении...

Полуобгорелый Багиров, еще подходившими к аулу казаками был отвязан и передан для перевязки страшных язв... Теперь он лежал, принесенный на бурке, перед генералом, сидевшим на камне, и рассказывал свои плачевные похождения, пересыпая их стоном и всевозможною бранью... Молча, изредка улыбаясь, слушал его генерал, и вдруг, быстро встав, приказал привести Хамурзина... Нужно было видеть всю злобу и ненависть этого разбойника, когда ему рассказали проделку Багирова с Якуб-ханом... Этот свирепый зверь упал на колена, как бы смертельно раненый, но вдруг, быстро поднявшись на ноги, он обратился в генералу, умоляя его отпустить; он клялся быть самым [161] верным рабом и давал выкуп какой только потребуют... И когда его спросили, что так ему хочется поскорей свободы, он решительно и смело ответил: «убить мошенника Багирова».

— Хорошо, сказал генерал, я верю твоему слову и знаю, что ты проповедуешь своим, которые верят тебе, как корану: я тебя оставлю здесь на месте, только привязанного на дереве...

Обрадовался горец, испугался полуживой армянин... Приказано было саперам заложить, около высокого обгорелого дуба, четыре мины и к ним провести стопины... Часа в четыре дня, отряд двинулся обратно, а Хамурзин, привязанный к дереву на 8-9 аршин от земли, остался. Он не видел работ, следовательно не мог знать о заложенных вокруг дерева минах... Мы отошли около версты, не тревожимые горцами, ждавшими, по-видимому, начать стрельбу, как только подойдем к ущелью, упиравшемуся в лес и далеко идущему по нем разными отрогами. При входе отряда в ущелье, горцы бросились не преследовать отряд, а к дереву, на котором сидел Хамурзин, окружили его густой толпой пеших и конных и принялись хлопотать снять своего жоака.

Стопин был подожжен...

По-истине ужасна была картина взрыва: дрогнула земля и поколебалась, нам казалось, под нашими ногами; вырвалось из земли огромное пламя и в клубах густого черного дыма взлетели к небу кони, люди, камни, земля и дерево... Все это, обожженное, изорванное на куски, долетало до самого почти отряда... Он медленно подвигался к Белой, не

тревожимый горцам... Какое-то тяжелое чувство невольно охватило каждого при виде страшной картины истребления. На месте взрыва стоял густой столб дыма, мало по малу разгоняемый налетавшим ветром; когда он рассеялся, дуб исчез: кругом его валялись груды обгорелых тел...

Ужас горцев был так велик, что они не преследовали отряда; потеря их, по словам лазутчиков, была более 500 человек... И без того уже страшное имя Засса сделалось ужасом в горах...

Армянина Багирова я встречал потом не раз, и последний раз видел его в 1860 году в Ставрополе. Он все еще ходил в бинтах и компрессах, после своей огненной ванны, и, по-прежнему, крихтел, улыбаясь широкой улыбкой; только голова его и усы были белы как лунь, а глаза потеряли блеск и, были мутны точно оловянные; он уже плохо ими видел, хотя все еще плутовал торгуя [162] с горцами. Однако на поездку в горы его уже ничто не заманит и калачем...

Отряд, переправясь реку Белую, остановился на открытой местности, окруженной, как рамкой, густым лесом, из-за которого, синяя на розовом небосклоне, озаренном закатающимся солнцем, теснились уступы Черных Гор... Запылали костры; везде хлопотал люд, готовя роскошный боевой ужин из некупленной, а добытой провизии... Около полуночи все угомонилось; только изредка кое-где вспыхивал огонек костров, поддерживаемый очередными ночными... Часа за два до рассвета отряд двинулся вверх по правому берегу Белой...

Мало-по-малу становилось светлее; подул сильнее ветер с востока; горы ясно обозначились на горизонте; облака стали прозрачнее и зарумянились по краям. Наконец, солнечный луч вырвался из-за облака и весело бросился на землю, разгоняя перед собою темноту...

Из окраины лиса раздалось несколько ружейных выстрелов; пули со свистом пролетали над головами.. Все встрепенулись и оживились... Отряд поднялся.

Правая цепь завязала перестрелку... Вот уже пронеслись в карьер два конных орудия, снялись с передков, и, вслед за охватившим их облаком дыма, грянули выстрелы... Мы приближались к Моршгумскому ущелью, гранитные уступы которого фантастически рисовались на голубом безоблачном небе, тогда как черная его пасть, волнуясь густым поднимающимся к солнцу туманом, вещала недоброе... На уступах, по обе стороны ущелья, идущего извилиной, шириной на ружейный выстрел, местами лепились башенки, сложенные из плитняка и крупного голыша, на глине, с чернеющими бойницами. Горцы были отброшены вглубь леса, и небольшая часть их кинулась на высоты, спеша занять проход ущелья... Отряд остановился. Генерал приказал двум ротам пехоты и сотне спешенных казаков, разделенных по равной части надвое, взобраться на уступы ущелья по следам горцев и выбить их из башенок и из-за камней: иначе отряду предстояло бы проходить, как сквозь строй, между выстрелами... Быстро тронулись молодцы вправо и влево к высотам... вот они уже на уступах, подсаживают друг друга или протягивают руки и ружья, помогают товарищам взбираться выше и выше; напали на тропинки, и смельчаки быстро появились на самом гребне, не обращая внимания на завязавшуюся между ними и засевшими [163] горцами довольно частую перестрелку. Как дикие козы быстро мелькали горцы по уступам, залегая за камни и занимая башенки, но солдаты и казаки по следам их отовсюду выбивали... Эта игра в прятки недолго длилась: штык и шашка везде дощупывались, и горцы, не заняв ущелья, быстро скрылись за лесными отрогами...

Благодаря этой распорядительности, отряд двинулся и прошел без всякой потери своего рода фермопильский проход, который если бы неприятели успели вовремя занять, так пришлось бы порядком поплатиться отряду... Но мы шли с генералом Зассом, а наша вера в него была беспредельна... Выбравшись из ущелья, отряд быстро спускался по крутой покато́й местности к великолепной равнине, расстилавшейся роскошным ковром, среди которой горные протоки, сверкая струей, отражали лучи игравшего солнца... Вдали виднелись аулы, а за ними синел сплошной массой густой сизый лес и белела снежная цепь хребта, резко отделявшаяся на безоблачном голубом небе...

Неожиданно вдали раздались орудийные выстрелы, и в нескольких местах поднялся густой дым, среди которого глухо слышалась, привычному уху, частая ружейная пальба... Мы недоумевали... Дело объяснилось просто: генерал приказал двум батальонам пехоты и восьми сотням казаков, при шести легких пеших орудиях и четырех горных единорогах, выступить из станицы Баталпашинской и идти прямо за Белую, с таким расчетом времени, чтобы они, одновременно с нашим отрядом, открыли действия и начали бы жечь по левой ее стороне аулы, тогда как он сам громил по правой; сверх того, из черноморских станиц посланы были два довольно сильных отряда для той же цели в низовья Кубани. Это тройственное вторжение поставило горцев в невозможность взаимного вспомоществования, и аулы, предоставленные одним своим средствам защиты, не могли упорно сопротивляться, а быстрые переходы от одного к другому, и по большей части в направлении всего менее ожидаемом, не позволяли им, при отступлении отрядов после погрома, собираться по лесным трущобам, и потому потеря их была огромна не только в людях, скоте, но и в хлебных запасах. Целые засеянные нивы были потоптаны... Одним словом, где только проходили отряды, оставляли за собой след полного истребления, добираясь и до сокровенных тайников горских логовищ; так что жители бросали аулы и скитались в глубине лесных трущоб, захватив почти только то из имущества, что второпях попадало под руку. [164] Не раз попадались нам по лесам отдельные семьи, искавшие спасения; их забирали почти без сопротивления. Эта тройная экспедиция, продолжавшаяся пятнадцать дней, названа горцами «зассовской дорогой»: так она была ужасна по последствиям своим погромом... Наконец, близ Тамовских высот, оба отряда соединились, обремененные добычей и пленниками, и начали медленно отступать на Кубань... Одновременно возвращались по станицам и черноморские отряды. Горцы, пораженные паническим страхом, сильно упали духом, и прошло немало времени, пока они опомнились и принялись за старое...

Это была почти последняя экспедиция генерала Засса: вскоре он оставил Кубань, и горцы вздохнули свободней. Но другая грозная туча уже собиралась над их головами: грянул гром с Лабинской линии, брошенный могучей рукой основателя ее П.А. Волкова, и длинный ряд побед были главным и заслуженным ее достоянием...

Во все время экспедиции, оба наши отряда понесли потери до трехсот убитыми, ранеными и оборвавшимися с кручей в пропасти.

Аполлон Шпаковский.

Текст воспроизведен по изданию: Записки старого казака // Военный сборник, № 11. 1871

© текст - Шпаковский А. 1871

© сетевая версия - Thietmar. 2009

© OCR - Over. 2009

© дизайн - Войтехович А. 2001

© Военный сборник. 1871

ШПАКОВСКИЙ А.

ЗАПИСКИ СТАРОГО КАЗАКА

XXVII.

(См. «Военный Сборник» 1871 г. №№ 4, 8 и 11.)

ЭКСПЕДИЦИЯ НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ.

(«Экспедицией» назывался отряд идущий открыто, на продолжительное время, с целью погрома аулов или для сооружения постов и укреплений за пределами линии. «Набег», в противоположность экспедиции, делался скрытно, быстро и внезапно.)

Глубокой осенью 1853 года, значительный отряд, сосредоточенный в станице Тенгинской, под начальством командующего войсками на Кавказской линии и в Черномории, генерал-лейтенанта Козловского, перешел мост на Лабе и направился к реке Белой. Быстро идя под кровом холодной дождливой ночи, окутанные густым туманом стлавшимся по земле, мы давно уже миновали Гиогинский пост; на горизонте едва брезжившего рассвета, виднелись силуэты батарейных башен и стен Белореченского укрепления. Не доходя версты три, четыре, до укрепления, на покато́й равнине, отряд неожиданно остановился. Вожаки и авангардная сотня, круто поворота направо, быстро поскакали вниз по течению Белой. Причина объяснилась: свежая сакма («Сакма» — след.) только что прошедшего огромного «скопища» (Собрание горцев в значительном числе называлось «скопищем» или «сборищем», а небольшое «партией».) горцев была очевидна; сомневаться в этом, по местности и по направлению следа, не приходилось, так как в укреплении всей кавалерии было только четыре донские сотни. Помятая конями трава еще не успела подняться, а это верная примета, что скопище прошло не более как за полчаса к времени. Отправившиеся по сакме вскоре возвратились и объявили, что след потянулся по правой же стороне реки, прямо в лес, и ясно отпечатан на грязной арбяной дороге. Генерал Козловский приказал начальнику правого фланга, генерал-майору Евдокимову, со всей кавалерией, в числе 15-ти сотен казаков, 2-х сотен кубанской милиции, донской конной № 7-го батареи и дивизиону конно-линейного № 13-го батареи, с 8-ю станками конно-ракетной команды, сбросив все тяжести, провиант и фураж, нагнать скопище.

Свежесть сакмы ручалась, что неприятель недалеко впереди. [178] Поспешно сбросив с седел все лишнее и осмотрев оружие, мы тронулись на рысях...

По вступлении в дремучий лес, тянувшийся сплошной массой по берегу Белой, все орудия вытянулись в линию по дороге, следуя между сотен идущих справа рядами.

Время было далеко за полдень, а мы все шли по свежему следу, ясно оттиснутому то на глинистом, то на болотистом грунте. Из-за леса, редевшего слева, угрюмо смотрели сквозь серый туман, разрываемый порывистым ветром, утесистые горы, близ подошв которых бежит Белая; они служат продолжением длинной цепи гор, идущих с севера на юг, по всему протяжению левого берега Белой. Река то омывает самую подошву гор, то отдалека, то снова подходит к горам. Эти отроги покрыты высоким лесом, большей частью чинара, карагача и дуба. В середине леса раскидано везде множество отдельных холмов и байраков. Тут, здесь, там, в лощинах, в долинах и по скатам гор разбросаны «коши» и небольшие хутора, окруженные садами с яблонями, кизилом, тутом и черешнями...

Вот и темная ненастная ночь охватила нас кругом. Отряд остановился в глубокой котловине, обрамленной сплошным черным лесом. Секреты заложены, конные заставы высланы и пластуны отправились на разведки...

Мелкий и частый дождь проникал до костей; огней разводить не велено, и мы, завернувшись в бурку и башлык, держа коней в поводу, с пустыми желудками, старались вздремнуть среди грязи, кочек и огромного камыша «шавдона», т.е. болота, лежавшего на дне котловины.

Пасмурный, туманный рассвет с нависшими валунами сизых туч, тяжело движимых ленивым ветром, вытеснил окрестность слева. В этом месте Белая, приближаясь к нам, выходит вдруг из-за густого леса, которым окаймлены оба берега. Возвратившиеся далеко до рассвета пластуны заявили, что громадное скопище, перейдя за Белую, остановилось на ночлег. По сильно сморенным коням на выставленных горцами конных залогах, пластуны заключили, что скопище уходило шибко, и хорошо знает о преследующем его отряде.

С рассветом мы двинулись к Белой. Перейдя вброд по следам сборища, отряд наш, минуя место горского ночлега, пустился на полных рысях по равнине, усеянной кочками и мелкими зарослями. [179]

Донская батарея, пристроясь поодиночке к первому орудию, запрыгала, в дивизионной колонне, в центре отряда, а дивизион конно-линейной батареи разместился по-взводно в авангарде и в арьергарде. Сакма же шла, да шла вперед, держась левого берега Кубани. Лес, степь и луга, со всею роскошью растительности, стелятся к востоку, за широким разливом вод, а на крутых обрывах берега стоят черноморские станицы и, как сторожевые часовые, тянутся линией небольшие посты и редуты (Редуты и сторожевые пикеты состояли из плетневого квадрата в несколько сажен с завершенным верхом из терновника, с мазанкой для казаков, вышкой и навесом для коней, смотря по местности для 3-10 казаков.).

День вечерел; частый дождь пробивался сквозь стлавшийся туман, который, порою разрываемый выносившимся из ущелий ветром открывал даль; но сборище, словно заколдованное, уходило невидимкой а сакма все шла, да шла вдоль берега Кубани... Недалеко уже было и до развилок, от которых Кубань, разделяясь двумя рукавами, каракубанским («Кара» — значит черный.) вливается в Черное Море, а другим в Азовское. На этом месте сакма круто поворотила влево к Черным Горам, и разделилась на несколько отдельных троп. Отряд остановился; развели костры; мокрый хворостняк и бурьян, треща, сопя, свистя и дымясь, по временам вспыхивал длинным языком, освещая кругом бивуак, где, вопреки обычаю, ни одного котелка, ни одного шомпола с шашлыком («Шашлык» — куски нарезанного мяса, по преимуществу бараньего, жарятся, как на вертеле, над угольным жаром, обливаемые туслуком, т.е. рассоленной водой.) не виднелось у огней...

Генерал Евдокимов приказал послать конные команды пластунов на разведки и «достать язык» («Достать язык», значит, захватить живьем неприятеля, чтобы от него разведать о цели и намерениях противника.). Не нужно было хлопцам напоминать об осторожности, чтобы не поймать «вражьего облизня» («Поймать облизня», т.е. не обжечься, в переносном смысле — не промахнуться неловкостью.)...

Сырой туман валил сплошной массой, стелясь кругом по мокрой трав; крупные дождевые капли шумно стучали в шалаши, наскоро поделанные и мало защищавшие от косога ливня; холодный порывистый ветер, пронизывавший до костей, окоченял члены,

немогшие согреться на заливаемых кострах, а тут еще в желудках распевали такие голосистые «птахи — хай им бис!» Но привычка вступила в свои права, и живительный сон был крепок, [180] а на утро, проснувшись, пришлось сушить у огня весь мокрый бок, покоившийся всю ночь среди лужи. Перед рассветом, потянул от гор сильный и ровный ветер; стаи нависших облаков зароились; туман начал подниматься вверх, предвещая перемену погоды. Рассвело. Там и сям отрадный луч прорезывал, быстро бежавшие к морю, сизые тучи. Пластуны вернулись с двумя языками, захваченными из разбредшегося скопища. Они единогласно сообщили, что скопище до двух с половиной тысяч, под предводительством лучших вожаков, Пиюка Безрюкова и Алхаза Лоова, имело целью напасть на Ивановскую или Васюринскую станицы и затем пробраться на хутора; но погнавшейся за ними отряд разрушил намерение, а страх за свои сакли заставил разойтись по аулам.

Горцы и не подозревали, что мы, преследуя их, третий уже день были на пище святого Антония, и потому набег в горы был немислим, да и самое возвращение на присоединение к главному отряду в Белореченское укрепление, требовавшее трех, четырех дней хода без провианта и фуража, с усталыми и голодными людьми и на изнуренных лошадях, было почти невозможно. Положим, по отрогам ущелий и в равнинах, покрытых лесом, нашлись бы не одни ягоды и плоды, а и хороший кабань, козий и лосий шашлык, да кони-то крепко подъяровались, т.е. отоцали. Сообразив все это, генерал Евдокимов хотел уже послать поохотиться «на зверя», предпочитая лучше поголодать, чем послать за Кубань в видневшуюся на берегу станицу. Река была в полном разливе и пришлось бы плавать, без бурдюков (В полную воду, и на большое пространство, нередко, для плава, подвязывались под грудь лошади надутые бурдюки, которые зачастую служили с этой же целью и для пеших, а чтобы незаметен был пловец, он прикрывался большими ветвями и походил на плывущий куст.), около двух верст, а такой плав много ли и свежих коней вынесут? Это была главная причина, почему генерал не хотел послать; но неожиданная случайность изменила все и помогла добыть не только необходимое, но даже лишнюю роскошь в набеге, как-то: кофе, чай, сахар, ром и проч. и проч. И вот как это вышло. Начальнику нашей линии, А.С. Войтицкому, еще непривыкшему голодать по-кавказски, вид закубанской станицы сулил отраду, и он предложил послать охотников в станицу; но это намерение осталось без исполнения, несмотря на то, что мы уже готовились на охоту. Сборы шли медленно, как-то все валилось из рук, а глаз невольно [181] косился на станицу... Что за беда, если бы и утонуло несколько человек — зато всем остальным было бы «здорово и сытно»...

Вообще наша боевая жизнь приучила нас заботиться более о цели достижения, чем о средствах. Жребий утонуть мог быть жребием каждого, а об этом-то менее всего и думалось.

Около курившихся костров, Николай Иванович Евдокимов и Адам Станиславович Войтицкий, завернувшись в намокшие плащи, лежали молча; один только куст дерезы (растение в роде шиповника) отделял костер дежурства, у которого со мной сидел есаул Подрезов. Люльки наши так же лениво курились, как и мы обменивались словами, жуя то патронную бумагу, то держа во рту пулю, чтоб обмануть время и докучный голод... К нам подошел пластун, урядник Левченко, и, поправляя огонь костра, предложил: «если, по возвращению в станицу, мы дадим ему гарнец горилки, то он добре покоштует нас варевом»... Я готов был уже разругать дурня за неуместную «балясу», но непустая торба в его руках изменила намерение и условие было скреплено словом... Живо принесена железная бадья, взятая в донской батарее, и вскоре приятно защекотал нос запах вареного сала. Левченко не ограничился этим: он пособрал у товарищей крошки бурсаков и паляниц («Бурсак» род пшеничной булки из сдобного теста с запеченным в середине

яйцом. «Паляница» — лепешки из пшеничной муки, как вообще делают их малороссияне, только высушенные для похода.), и поднес нам вместе с бадейкой, служившей при орудии для смачивания банника. Густой пар валил клубом на задор голодным желудкам, и я уже готовился распорядиться по-своему; но Подрезов остановил порыв обычной своей лаконической речью: — «Аполлон! нам голодать не привыкать, — дай похлебать начальству, так и будем сыты в станице». На умную речь, вместо ответа, я велел Левченке нести бадейку за мной... На предложение В-цкому поесть супу, мне пришлось было выслушать длинное замечание, но запах от поставленного бака обаятельно подействовал: генерал быстро встал и предложил начальнику отряда разделить трапезу. Несколько ложек горячей бурды сделали свое: раздражили сильно аппетит, и охотникам дано разрешение съездить в станицу за провизией. Чего не смогло сделать слово, то сотворил суп «консоме» из пропотевшего куска курдючного сала (Кавказские бараны, большей частью, имеют курдюки, т.е. хвосты состоящие из сплошной массы сала, которого в курдюке бывает до 10 фунтов. Под курдюки нередко подвязываются колесики для облегчения хода барана.), нескольких горстей проса и двух, трех [182] луковиц, хранившихся в случайно не сброшенной с седла торбочке... Левченко получил, сверх уже обещанной горилки, т.е. водки, около 15 рублей серебром от начальства. После этого прошу протестовать, «что голод-то не свой брат, и не тетка»!

Подрезов, я и десять казаков на сильных конях, испытанных на плаву, под прикрытием полусотни казаков, остановились на берегу Кубани. Вмиг седла долой, одежда тоже, кроме рубашек; пояс с кинжалом на шею, и в петлю его; пистолет на затылок... затем взметнуться на коней и очутиться в Кубани, было делом не часовым, а минуты. Испытанные не раз на воде добрые кони, храпя и фыркая, смело резали грудью холодные волны, плаваясь по течению, то напрягая все силы, то сдерживаясь, чтобы несущиеся по течению карчи и целые деревья не подшибли. Далеко уже виднелся оставленный берег, а кони еще почти не ступали по дну; это вынудило облегчить их, и вот один за другим плавуны окунулись в воду и поплыли, кто держась рукой за гриву, кто за хвост... Облегченные кони быстрее пошли в ход; уже недалеко и заветный берег; глубь далеко за нами и кони ступали твердым шагом по каменистому дну. Вот и прибрежный ил... вода ниже груди... кони бултыхают ногами воду в нескольких шагах от берега... Раздался гик, мелькнули плети и мы вскочили на береговую круть... В полуверсте раскинулась черноморская станица... Оправясь, насколько позволял наш костюм, мы понеслись во все поводья к станичным воротам; нас уже ждали там и, не въезжая в них, мы были облачены в ризы вынесенные нам, кто в чемарку или черкеску, кто в малахай, свитку или дубленку, и затем явились истыми санкюлотами в дом станичного атамана. Добрый старик, войсковой старшина (Для незнакомых с нашей казачьей иерархией поясню наши чины: приказный — тоже что ефрейтор; урядник — унтер-офицер: хорунжий — прапорщик; сотник — поручик; есаул — капитан; войсковой старшина — майор. Затем чины идут общие для всей армии.) Горобец, всхлопотался и, радушно смеясь и жалея нас, гаркнул: «гей жинко! увсе шщо в печи, на стил мечи, — да швитко, шпарко, бачь, бо се наши добры сусиды линийцы, та й годи»!.. Между тем, каюки (Каюк - долбленая лодка), нагруженные сухарями, фуражом, водкой и мясом, уже плыли по Кубани к отряду, везя начальству не одну «гуску, утю и курю» (Все это было взято под квитанцию). Благодаря радушному гостеприимству Горобца, мы, «добре поив та ще и выпив», с исправным [183] запасом в каюках, возвратились за Кубань, плавая коней на поводе... Одевшись на берегу, где ожидало нас прикрытие, мы, веселые и снова бодрые, явились в отряд, где тоже шел пир горой и уже не было помина о прошлой невзгоде...

Имея все нужное в материальном отношении, генерал Евдокимов задумал отплатить горцам неудачу погони набегом... Три конных пластуна были посланы доложить об этом командующему войсками генералу Козловскому, а мы, часа за два до рассвета, двинулись

к абадзехским и баракаевским хуторам, к долинам Черных Гор, густо заселенных. Еще было темно, а отряд уже был за рекой Пшиж...

Идя среди молочного тумана, отряд поднялся на высоты, склонившиеся пологим скатом в долину, усеянную зарослями, среди которых местами высился то дуб, то чинар, широко размахнув ветвями, словно грозя и вызывая на бой смельчака, дерзнувшего нарушить покой долины.

Бледные лучи месяца, пробиваясь сквозь туман, освещали местность слабым фосфорическим светом. Вдали, по-временам, раздавался глухой собачий лай, и эхо ущелий вторило вою шакалов (Шакал — небольшой породы волк.), да крику филина... Мы остановились. Легкие партии от пяти до десяти казаков, отделясь от отряда, быстро скрылись в зарослях. Окружавшая тишь, спешившийся отряд, погруженный в молочный туман, разливавшийся волнами по земле, изредка нарушалась фырканием и тихим ржанием коней. Большая часть людей прилегла в ожидании боя... Чу!.. Послышался глухой конский топот... Вот он все ближе и ясно отдается по земле, и привычное ухо различает направление, скорость и численность приближающихся всадников... Это наши рекогносцировки... Генерал приказал восьми сотням казаков, всей милиции и конно-ракетной команде, разделясь поровну на отдельные отряды, идти в разных направлениях за вернувшимися с разведок казаками. Все быстро встрепенулось в отряде. Сотни построились, и скоро один только глухой гул отдавался, как дальний водопад, и опять все погрузилось в туман...

Начало светать. Весь нагорный горизонт горел пурпуром; весело выбегавшие лучи солнца золотили вершины гор, обещая ясный день. Туман, припав к земле, открыл дивную панораму. Отряд стоял на высоте, командовавшей местностью. Вдали, в разных направлениях, виднелись горевшие хутора и коши, среди [184] которых несея гул частой перестрелки; там работали наши сотни. По вершинам гор, обнимавших серпом долину, в разных направлениях, то в одиночку, то кучками мелькали всадники, спешившие на выручку хуторян. Но и наши не зевали. Поднимавшиеся в разных местах облака пыли заявляли удачу захвата скота, за которую горцы, спустившись в долину, завязали перестрелку. Их было еще немного. Казаки, не обращая внимания на эту джигитовку, спешили гнать табуны скота и отары овец, чтобы с ничтожной потерей скорее примкнуть к отряду; но этого им не удалось: расчет оказался неверен... Густая масса горцев с тремя значками, длинной вереницей, скрытая туманом, валила из дремучего ущелья; быстро построясь в долине, она обрушилась всею массой наперерез отступавших сотен, намереваясь охватить их отдельно каждую, что сначала и удалось. Две кавказские сотни были окружены и принуждены, спешась, отбиваться из-за коней не двигаясь с места. Та же участь готовилась хоперцам и волжцам (У нас назывались вообще коротко наши бригады, по старому названию полков Кавказского, Хоперского, Волжского, Кубанского и проч. Нумера их значились только в переписке.); но генерал Евдокимов, как ураган, налетел с остальными семью сотнями и картечным огнем из двенадцати орудий, отбросил горцев обратно к ущелью. Быстрота натиска, молодецки выполненного, дала возможность соединиться всему отряду без значительной потери и сохранить богатую поживу, захваченную на хуторах. Отступление наше на прежнюю позицию происходило с незначительной перестрелкой. Горцы, пораженные неудачей и значительной потерей лучших джигитов, скрылись в ущелье и только по высотам появлявшиеся группы всадников заявляли о их присутствии. Достигли бивуака, где, в виду горцев стороживших отряд, у нас шел пир горой. Захваченные котелки и другая разная посуда, в восьми истребленных хуторах и в шести кошах, красовались над жарко пылавшими кострами, кругом которых шел веселый, шумный говор и усердно жарился шашлык. Обстановке этой придавали грозный вид бивуака растянувшиеся коновязи и гордо поднявшие жерла

двенадцать орудий, разместившихся по фасам, среди которых уже начали появляться балаганы... Судя по движению горцев, они завидовали нашему веселью, и скоро начали появляться из леса и ущелий небольшими кучками. Группируясь все сильнее и более в числе, они начали наезжать на аванпостные пикеты, с которыми завязали перестрелку. Две сотни [185] казаков, дивизион орудий и ракетная команда, посланные на подкрепление цепи, отбросили и рассеяли горцев, но они упорно джигитовали в области дальних выстрелов, вызывая и поддразнивая охотников подраться в одиночку, каковой потехи не достигли, вследствие запрещения генералом попусту морить лошадей. Раздраженный неприятель не унимался. Беспокоя нас весь день, он решился и ночью непрерывно тревожить отряд, для чего подползал к секретам значительными партиями. Все это до крайности надоело начальнику отряда, и потому, чтобы покончить одним ударом, генерал приказал в возможной тишине тронуться отряду вверх по Белой. Спокойным маршем мы отошли более десятка верст от бивуака, однако яркое зарево оставленных нами костров все еще светилось мерцающим огнем сзади.

Посланные вперед ускоренной ходой («Хода», или проезд, особенный аллюр, свойственный по преимуществу степовикам и горским коням. Это нечто в роде иноходи. Ходой можно идти от 7-10 верст в час.), небольшие партии казаков, для исследования окрестности, и конные пластуны, для разведок, быстро удалились, но еще быстрее возвращались со свежими сведениями о спешивших со всех сторон пеших и конных горцев, которых они наблюдали из скрытых мест. Обстоятельство это обратило особенное внимание опытного боевого кавказского генерала, отлично знавшего, к чему все это ведет: он приказал мне, с двадцатью самыми опытными пластунами, отправиться на разведку и проследить, насколько доступно, как направление партий, так и самую местность и, нанести ее глазомерно на бумагу.

Мы отправились и были уже за Майкопским ущельем... Богарсуковские аулы виднелись невдалеке. Луна хотя и взошла, но светила еще так низко над горизонтом, что высоты, замыкавшие долину с юга, отбрасывали огромные тени на равнину. В этой тени тщательно скрывался всадник. С крайней осторожностью подавался он вперед, держась у подошвы утесов, и каждый раз, когда предстояло ему проезжать освещенные местности, соответствовавшие впадинам, он пускал коня вскачь, осмотревшись прежде внимательно. Поравнявшись с ближайшим к нам аулом, всадник, казалось, пришел в раздумье, благоразумно ли ему выехать по прямой дороге, соединявшей аул с ущельем Уч. Из боязни быть открытым, он продолжал путь вдоль утесов, пока не напал на поперечную дорогу, удобную только для верховой езды, [186] и которую, по-видимому, узнал. Здесь не задумываясь, поехал он по этой дороге, быв принужден выйти из охранительной тени, набрасываемой скалами. Луна осветила вполне всадника, сидевшего на вороном коне, шерсть которого лоснилась под серебряными лучами месяца. Легко было узнать всадника; он имел «сарых» т.е. чалму или завив на папахе: это был мулла Абдул Керимов, знакомый нам, как отчаянный вожак партий. Приближаясь к аулу, Абдул удвоил бдительность. К счастью его, местность эта покрыта отдельными группами деревьев, и местами тропинки пролегали через заросли. Прежде чем въезжать в кусты, он посылал вперед собаку, а, выезжая на равнину, зорко осматривал пространство, отделявшее его от следующей группы. Нас крепко заинтересовали эти маневры, и мы, не замеченные им, так же скрытно двинулись вперед, разъединясь, чтобы охватить большее пространство и не дать возможности улизнуть всаднику.

Вскоре он достиг пределов аула, над палисадом которого высился озаренный луною старый минарет. Мулла остановился в густой рощице, последней от аула; отсюда до самой реки Учъ-су тянулась открытая местность шагов на тысячу. Возле аула облегал обширный луг, а за ним мост соединял оба берега. Река не была видна за высоким берегом. Сойдя на

землю в роще, Абдул отвел коня в самую густую тень и там привязал, сам вышел на опушку и устремил взор на минарет.

Невозмутимая ничем тишь господствовала в ауле; все обитатели его покоились глубоким сном. На улицах виднелись только бродившие скот и собаки. Мы втроем влезли на утес над самым аулом и зорко следили что будет.

В ауле, на минарете, появился человек, вытянулся во весь рост, вынул белый кусок холста и подержал его несколько секунд над головой. Воздух был наполнен светящимися насекомыми, движущийся блеск которых еще сильнее отражался от темных кустарников; но это не мешало отличить более яркий свет, похожий на вспышку пороха. Значит, на сигнал отвечали сигналом. Вскоре за ответным сигналом показался из аула, быстро шедший к роще, пеший горец. Абдул, оставя собаку около лошади, пошел было смело навстречу, но, сделав несколько шагов, воротился к опушке. Долго и, как видно, с увлечением говорили горцы, делая жесты руками, указывая в направлении к югу или к западу, и мои хлопцы заключили, что, [187] должно быть, речь шла об отрядах генерала Козловского и нашего, или, пожалуй, о самих нас. Но вдруг два горца, по-видимому жарко спорившие, пошли быстро к мостку через реку, куда пробирались ползком и наши пластуны — Алеменьев и Бойко.

Конь муллы был уже в руках у пластуна Зенченки, а верная хозяину собака плавала в своей крови, зарезанная сильной рукой ловко брошенного кинжала в ответа на ее рычание.

Абдул, более осторожный, вероятно слышал шелест в мелких кустах, остановился, и схватил за руку товарища. Ветра совершенно не было, шорох затих. Оба они быстро и бесшумно осмотрели ближайшие кусты, но ничего не заметили тревожного.

Луна склонялась к горизонту, небо стемнело; однако можно было еще на некотором расстоянии различать предметы.

— Не ошибся ли ты? — спросил горец.

— Нет, я слышал шелест ветвей. Может быть, шелест произвела птица, змея или ящерица. Меня тревожит то, что я, проезжая по Майкопскому ущелью, слышал вдали сильный конский топот, а наши так не делают: это верно казаки.

Мулла, вероятно вспомнив о своей собаке, свистнул, но верный пес уже не мог сойти с места. Еще раз горцы тщательно осмотрели ближайшую к ним траву и кустарники, но осторожные пластуны, подслушав их разговор (наши пластуны, да и большая часть казаков, если не совсем хорошо говорили на горских наречиях, то, во всяком случае, отлично понимали речь), были уже далеко. Горцы успокоились и быстро пошли вперед... Следя за этой таинственной сценой, я остался на утесе наблюдать за ее исходом. Приказав бывшим со мною пластунам Мандруйке, Тхорю и Левченке спуститься к товарищам, державшим коней, я велел подвести поближе моего кабардинца, а им троим постараться захватить живьем обоих горцев.

Алеменьев и Бойко пробрались за мост и там залегли, а Мандруйко, с посланными товарищами, пробрались незаметно, точно змеи, по следам горцев, чем отрезали им путь отступления; затем, когда горцы взошли на мост, Бойко с Алеменьевым точно выросли перед ними из земли. Мулла первый бросился назад и столкнулся лицом к лицу с Мандруйкой, в которого и выстрелил из пистолета, но, не попав в него, попал в лапы

медведя-пластуна. Мандруйко сбил муллу с ног ловким ударом пинка под живот и навалился на него. Товарищи помогли живо [188] связать и забить в рот мяч (Мяч делали из верблюжьей или овечьей шерсти с ремнем, так чтобы, притянув его на затылке, шерсть захватывала рот так плотно, чтобы не было никакой возможности издать ни малейшего звука.). «шщоб вин невопив», т.е. не кричал. Другой горец исчез. Это озадачило хлопцев, но не Мандруйку: он взглянул на реку, по которой пузыри и расходящиеся круги доказывали падение тела в воду, однако горца не было видно. «Девись! воно впало май у воду», сказал он и бегом бросился по берегу вниз по течению.

— Пошел ко дну! — заметили другие.

— А может быть он не спасся вплавь? — отозвался старый пластун Рибасов.

— Невероятно! видишь, нет волн на реке, да и Бойко метнул кинжалом, так верно не одобровал.

Но опытный старик побежал вниз по реке, и вдруг остановился словно окаменелый. Шагах в двухстах человек выбирался на берег и едва встал на ноги, как пустился бежать с быстротою лани по зарослям противоположного берега и скрылся в густой роще.

— «Вот он! вот он!» невольно вскрикнули на мосту, прицеливаясь из винтовок, но спасибо пластуноу Ермолаеву он остановил их вовремя, сказав: «Дурни, вы верно забыли, что мы на разведке, а аул на носу; чего орете? не смей стрелять!»

Сердитыми вернулись Мандруйко и Рибасов, но помочь делу было нечем... Они все семеро, подняв на плечи муллу, принесли его целиком, исключая немного помятых Мандруйкой боков, да двух, трех тычков, чтоб не шевелился.

Стало светать. Набросав карандашом местность аула, мы, разделясь на три команды и уговорясь съехаться у озера Хазыр, верстах четырех или пяти выше аула, отправились на поиск. Аул спал мертвым сном.

При возвращении к озеру, моя партия наткнулась перед рассветом на две конные арбы, живо покончила с хозяевами, которых вместе с арбами казаки сбросили в глубокую балку, покрытую камышами, и, забрав коней и оружие убитых, перешла шавдон, чтобы скрыть свой след.

В глухом ущелье, над озером, обе партии уже поджидали нашу.

Мандруйко был счастливее нас: он со своей партией наткнулся на конский косяк в двадцать восемь коней и, угоня двух табунщиков, захватил табун. [189]

Рибасов живьем захватил двух горцев, рубивших дрова. С самого рассвета подул от гор с западной стороны, т.е. от Черного Моря, сильный порывистый ветер; Черные Горы курились густым туманом; далее снеговые вершины главного хребта уходили в облака, предвещая непогоду. Лучшего для нас и не нужно было; мы, по опыту, знали, что за этими приметами появится в долинах густой туман, а в ущельях хоть глаз выколи. Пользуясь всем этим, можно будет ускользнуть от зоркости горцев, не дожидаясь ночи.

Около полудня ожидания наши вполне оправдались: густой туман упал на землю, и мелкий, частый дождь заморосил в воздухе. Мы отошли к горам и тронулись на рысях со всеми предосторожностями, чтобы не наткнуться на партии горцев. Глухо вторило эхо

дружному топоту коней; как призраки неслись мы по направлению к отряду; местность пластунам была хорошо знакома. Пробегая долину к Белой верстах в девяти или десяти от урочища Геды, где предположил генерал Евдокимов остановиться бивуаком в ожидании нашей разведки, наши передовые наткнулись на отару баранов. Мы остановились посоветоваться, захватить ли отару или спешить к отряду. Большинство было на стороне захвата, почему мы решили, чтоб десять пластунов сгучили табун, а мне с остальными, рассыпавшись лавой, тронуться шагом к отаре.

Завидя ее, пятеро спешили и поползли... Трое чабанов, т.е. пастухов, закутавшись в дырявые бурки, лежали возле стада у небольшого огонька и, казалось, спали, но проклятые собаки ворчаньем своим разбудили их. Они, вскочив, начали озираться кругом с беспокойством. Пластуны припали к земле. Пастухи, подзвав двух собак, стали обходить отару, вероятно предполагая здесь присутствие шакала или серого медведя. Но представившаяся им действительность была гораздо опаснее; псы с воем и визгом бросились назад, пораженные ловко брошенными кинжалами, а пять винтовок, направленных в упор вскакнувшими на ноги пластунами, поразили их ужасом... Пользуясь этим, я дал свисток; остальные пластуны на конях, как вихрь, мчались к нам. Двое чабанов уже были связаны; третий же сам налетел на скакавших и поплатился головой. Двое казаков поскакали к оставшимся с пленными у табуна; через час времени мы уже гнали нашу добычу на полных рысях. Испуганная баранта, подкидывая курдюками, бойко мчалась вслед за козлом, который, крутя головой, скакал во всю прыть с арканом [190] на рогах вслед за ехавшим впереди пластуном (Чтобы гнать скоро или плавить по воде стада баранов и овец, необходимо тащить на аркане впереди козла, как жожака, иначе бараны ни с места или разбегутся зря.). Наши пленники, со связанными руками назад и ногами под брюхом коней, заарканенных по головам, составляли, с тремя пластунами, авангард, с каждой стороны цепь, а остальные арьергард. Через час времени мы завидели сквозь туман бледные огни нашего бивуака и, не убавляя аллюра, миновав цепь пикетов, остановились среди отряда. Генерал Евдокимов так был доволен нашей удачной разведкой, что приказал сей же час угостить пластунов доброй чаркой горилки. Баранты было более двухсот штук.

Перед вечером прибыли в отряд от генерала Козловского посланные с пакетами пластуны, а вслед за ними прибыли десять всадников милиции с поручиком князем Шехим Лоовым, который передал словесно приказание командующего войсками: идти на соединение с его отрядом, в состав которого поступили три донские сотни, взятые из Белореченского укрепления. Козловский поджидал нас в урочище Ханкеты.

Около полуночи, с долины потянул ровный восточный ветер, гоня перед собой валуны дождевых облаков. Туман, редая в долинах, стлался пеленой на влажную траву. Полная луна озарила кротким светом вершины гор, ущелий и равнину. Огни бивуака, ярче запылав, осветили местность красноватым переливом. Ровно в четыре часа утра, среди окрестной тишины, отряд в боевом порядке быстро двинулся по направлению к месту, накануне нами осмотренному. За час до рассвета отряд остановился в той самой роще, где мулла Абдул разыгрывал неудавшуюся сцену свидания. Отдельные части, назначенные в обход трех видневшихся аулов, перешли поодиночке мост и скоро скрылись в зарослях пересеченной местности. Спешенные четыре сотни казаков тихо облегли аул. Четыре станка-ползуна (т.е. деревянных колодок, обыкновенно употреблявшихся при горизонтальной или с высот стрельбе) конно-ракетной команды взобрались на тот утес, откуда я наблюдал за свиданьем Абдулы с горцем. Аул покоился безмятежным, глубоким сном. Дивизион орудий, с подвязанными цепями, пройдя ущельем, выстроился фронтом к аулу. В мертвой тишине снялись орудия с передков и, гордо подняв дула, грозно смотрели вперед. Луна, едва мерцавшая, уходила за высоты, бросавшие густую тень, и закрывала

орудия; между тем, с востока [191] показалась предвестницей дня алая полоса на горизонте. В этот момент из рожи взлетела сигнальная ракета и, бороздя воздух, блеснула яркими звездочками, произведя глухой гул в окрестности. В ответ сигналу сверкнул огонь орудий с утеса, понеслись ракеты, описывая огненную параболу. Еще не успело затихнуть перекатами огласившее окрестность эхо, как в плававшем ауле раздавались частые выстрелы и шла отчаянная резня. В то же время подобное, повторилось и в дальних аулах. Поднявшееся из-за гор солнце кровавым огненным шаром осветило аулы, объятые огнем среди валившего черного дыма. Медленно двигались к главному резерву части войск, возвращавшиеся с погрома, гоня более сотни пленных и до двух тысяч штук разного скота, составлявших трофеи набега. После погрома аулов, отряд быстро пошел на соединение к урочищу Ханкеты, провожаемый небольшими партиями ошеломленных горцев. В арьергарде, на ходу, изредка мелькал огонь вслед за белым облаком орудийного выстрела, да местами завязывалась схватка за тело между гарцевавшими казаками и джигитами. Бой однако длился до вечера... По выдающейся покатою возвышенности мы шли быстро; нам ясно уже виднелся кочевой табор с его бивуачными огнями, глухим говором и ржанием коней... Через час отряды наши соединились. Генерал Козловский, поблагодарив генерала Евдокимова и нашего начальника линии, обратился к казакам с коротким солдатским словом: «спасибо молодцы!» Да и, поистине, было за что сказать спасибо. Боевая работа была сильна, потери мало, а добычи много, невзирая на изнурение коней, длинные переходы, бессонные ночи. Все это было преодолено при почти постоянной отвратительной осенней непогоде. Все боевые кавказцы отдавали генералу Евдокимову полную справедливость за его распорядительность в набегах, сметливость и умение в избрании позиций для разъединения силы неприятеля, и быстрым сбиванием его с выгодной позиции вводить в панику. Все это способствовало избежать больших потерь в людях и всегда благодетельно отзывалось на нравственный дух войск, заверяя их в непобедимости, возвышая их удаль и отвагу.

Мы простояли два дня на одном бивуаке, в течение которых, кроме фуражировки, недалних разездов и пустой перестрелки за цепью, ничто не тревожило нас и позволяло нам и нашим коням отдохнуть и понабраться силой для новой боевой работы, для новых погромов... [192]

Встревоженные горцы в низовьях Белой, с удалением отряда генерала Евдокимова, бросились партиями в Черный, Длинный и Псеменский леса, спеша занять засадами проходы и тем обезопасить аулы, гнездившиеся в верховьях между рекой Белой и Черными Горами. Сведения эти одно за другим приносили шнырявшие лазутчики из гор. Небольшие пешие партии пластунов, ходивших на разведки, подтверждали то же. На другой день горцы словно исчезли и не появлялись даже у окраин леса. Но нам, старым их кунакам, хорошо было известно, что тем зорче они стерегут отряд, и наша стоянка на месте, страшно беспокоя их, вместе с тем ставила в недоумение: что предпринять и на что решиться. А отряд по-видимому и не думал никуда трогаться.

На самом же деле неподвижность отряда была только небольшой военной хитростью нашей горной войны, чтобы обмануть и утомить бдительностью неприятеля, отвлечь его от жилищ, затем броситься на них, с налета сжечь, вырезать и разгромить все, что только попадет под руку, и исчезнуть безнаказанно, подобно урагану истребив по пути огнем запасы хлебов и сена.

С этой целью было послано предписание генерал-майору Ягодину, оставшемуся за начальника фланга, немедленно собрать два летучих конных отряда, каждый в составе от 10-12 сотен казаков при дивизионе орудий и 8 станках конно-ракетной команды, и одновременно двинуть их за Лабу, в направлениях: один отряд, под его личным

начальством, в низовья Белой к абадзехам, другой, поручив командиру Ставропольской бригады полковнику барону Шилингу, направить, обойдя Длинный Лес, к аулам и кошам беглых кабардинцев. О времени выступления за Лабу велено было донести для своевременного содействия нашим отрядам при отступлении их от аулов.

С этим важным распоряжением был послан есаул Феокистов, опытный и храбрый офицер нашей Лабинской бригады; ему же поручено было доставить на линию транспорт раненых и убитых и препроводить взятых в плен горцев. В конвой ему назначены были полурота Ставропольского егерского полка, взвод пешей артиллерии и до 250 худоконных казаков.

С рассветом тронулась с места колонна Феокистова. Арбы и повозки, скрипя и покачиваясь с боку на бок, медленно потянулись в путь; едва колонна отошла верст семь или восемь, как горцы, появившиеся партиями из леса, окружили ее и завязали жаркую перестрелку. По первым орудийным выстрелам вся наша кавалерия, [193] с шестью конными орудиями и ракетной командой, понеслась в карьер на выручку. Бой длился не более часа: сбитые и отброшенные быстрым с налета натиском, горцы опрометью скрылись в лесной трущобе; мы провожали колонну версты две еще вперед, пока она не выдвинулась на ровную и открытую со всех сторон местность. Когда мы возвращались кратчайшим путем, нам нужно было проходить небольшой, но густой чинаровой рощицей, на окраине которой казаки заметили среди ветвей огромного чинара притаившихся двух горцев: дерево вмиг было окружено и сделано предложение спуститься на землю. Горцы и не думали сдаваться; один из них выстрелил и легко ранил казака; прежде нежели успели горцы взобраться повыше и укрыться за толстыми сучьями и густой листвой своей воздушной крепости, как казаки, несмотря на выстрел из винтовки и на две pistolетные пули, просвистевшие над их головами, были уже на дереве. Казаки, как векши, взобрались и, перевязав живьем обоих, спустили их на землю. Один горец был старик лет около семидесяти, другой лет тринадцати, но оба были плотны и здоровенны. По возвращении в отряд, едва успели пообедать, как должны были опять вложить ногу в стремя. Пластуны Городец и Безладный, все в поту и едва переводя дух, прибежали с разведки в Черных Отрогах, отстоявших верст на десять или двенадцать от отряда, и доложили генералу Козловскому, что они не более как часа за два видели значительное скопище горцев с четырьмя значками, в числе которых развевался и мюридский значок Магомед-Амина; скопище медленно двигалось в направлении к Псеменскому лесу. Прибывшие пластуны повели отряд генерала Евдокимова, в составе всей нашей кавалерии, с шестью конными орудиями и ракетными станками, в направлении к виденному ими сборищу. Мы шли на полных рысях, стараясь опередить сборище и отрезать его от Псеменского леса; но мы напрасно сделали верст около двадцати и вернулись, захватив по дороге лишь три арбы, ехавшие с дровами. Два раза мы перерезывали свежую сакму, стараясь опередить горцев, — они далеко были впереди; на этот раз отличное знание местности пластунами, сокращавшими прямыми путем, не повело ни к чему: скопище ушло в лес, а бой в лесу повел бы к большим потерям без видимой пользы. Около полуночи, усталые, мы примкнули к главному отряду. Эта неудача, а, главное, так скрытно и скоро собранное скопище горцев, о цели и намерении которых решительно не было никаких сведений, вызвало необходимость послать всех бывших [194] на лицо в отряд пластунов, пешими и конными, на самую тщательную разведку. Пешие пластуны, в числе четырех партий от двух до пяти человек, отправились в горы, а мы конные, взяв свежих лошадей и разделяясь на две партии по восьми человек каждая, отправились к Псеменскому лесу, стараясь держаться виденной уже нами сакмы. Таким образом мы доехали уже до места, откуда возвратился генерал Евдокимов. Здесь, переговора с Подрезовым, моя партия пошла в лес, а Подрезов, поворота направо, скрылся за лесистыми высотами. Мы условились сойтись в ущелье Шайтан Дербет, как в

самом скрытном месте и лучшем для наблюдения за выходами из Псеменского и Длинного лесов. Двое суток скрывались обе наши партии, зорко и сторожко наблюдая с двух сторон за неприятелем; моя партия могла добиться только того, что видела небольшие партии, шедшие с верховий Белой в аулы, которые гнездились в трупцах Длинного леса, да дознала, с помощью кинжала, приставленного к горлу, от двух заарканенных отсталых от партии баговцев, что Магомед-Амин уже собрал и еще собирает сильное скопище в Теректли-мектепе. Не такова разведка выпала на долю Подрезова: он со своей партией едва не поплатился жизнью. Партия Подрезова благополучно пробралась скрытными путями к аулу князя Джеареслана Уцмиева, старого плута и кунака Подрезова; он решился повидаться с ним, чтобы разузнать что-либо положительное относительно сборища, как от личности, пользовавшейся особым доверием Амин-Магомеда. Погода вполне благоприятствовала его намерению: луна светила только по временам, ныряя между густыми облаками; воздух был так неподвижен, что можно было слышать малейший шум на огромном расстоянии. Оставя пластунов, притаившихся за камнями среди густых кустов, Подрезов и пластун Коротков, пешие, стали пробираться зарослями к аулу. Глубокая тишина ночи нарушалась только воем шакалов, лаем собак и криками ночных птиц. Хотя аул уже виднелся не далее версты, но пробраться к нему нужно было им сперва через овраг, а далее по совершенно открытой поляне; они уже решились тронуться в путь, как неожиданно слышав конский топот, засели за выдающеюся скалою; им послышался на дне ущелья стук камней под ногами лошади.

— Это горец! — прошептал Коротков.

— Ты не ошибся, отвечал Подрезов. — Он должен быть из здешнего аула. [195]

В это время показалась луна, при свете которой можно было видеть вдали всадника.

— Григорий Егорович, — продолжал Коротков, — если он будет проезжать мимо, не свалит ли его лошадь, в которую мы можем выстрелить без промаха. Тогда горец в наших руках, и мы от него узнаем что нужно.

— Нет, Федор; он скроется между скалами и поди там, ищи его. Будем лучше держаться своего плана.

— Но...

— Никаких но! ты всегда торопишься, дружище Федя, имей же хоть раз терпение и смотри.

Ответ был не нужен да и предположение Короткова оказалось неисполнимо, всадник не подъезжал на выстрел винтовки. Он держался в ровном расстоянии от обеих стен ущелья, шагах в двухстах от засады пластунов. Они оставались неподвижны.

Горец ехал шагом. Вооружение его сверкало при луне, бросавшей свет и на лицо всадника. Узнали султана Ерыкова.

— Видишь ли ты что то впереди его? — спросил Подрезов. — Действительно!.. Проклятие!.. Это собака. Чтоб черт ее побрал! К счастью, ветер оттуда.

В эту минуту горец остановился и подозрительно взглянул на возвышенность, на которой спрятались пластуны. Собака заворчала.

— Проклятая собака! — повторил Коротков.

Собака, без сомнения, пронюхала бы их, если бы слабый ветерок не веял в противоположную сторону; они были бы непременно открыты. Горец ничего не слышал, но, может быть, неопределенный звук шепота возбудил внимание пса.

Впрочем, собака, как видно, не была уверена, ибо через минуту, опустив голову, побежала вперед. Султан последовал за ней и вскоре исчез на равнине.

— Все благополучно, Федя. Теперь в аул.

— Идем.

Спустившись в овраг и зорко посматривая по сторонам, они пошли по тропинке, на которой только что видели Ерыкова. Они не боялись за открытие их следов, смешанных со следами всадника, оставленными на твердой и каменистой почве. Между тем, Коротков обнаруживал беспокойство; он по временам повторял, как бы разговаривая сам с собою, но как, что мог слышать и [196] Подрезов: — «чорт бы взял эту собаку! она мне мешает». Надо сказать, что Коротков ненавидел Султана, да и Подрезов побаивался его.

По выходе на равнину, опытные пластуны, предвидя всякую случайность и потому действуя крайне осторожно, направились к аулу. Не доходя его шагов за двести, они поползли и наткнулись на свежий след нескольких коней, тянувшийся от аула. Они внимательно начали осматривать сакму; среди ее были следы собак: это значило, что горцы пронюхали появление пластунов... Предполагать охоту на зверя было немыслимо, когда из отряда шныряли везде партии казаков. К величайшему удивлению, пластуны заметили, что один из всадников, в сопровождении нескольких собак, отделился и проезжал по направлению к ущелью, где скрывались оставленные разведчики. Не было более сомнения, что горцы имели уже их в виду. Это вынудило Подрезова послать Короткова к товарищам сказать, чтобы они, оставя ущелье, перешли проток Алай-су и потом, спустясь по течению речки Алай, вышли бы через Шавдон по зарослям к ущелью Тагуш, где и дожидали бы его до завтрашнего вечера; лошадь же его оставили бы во впадине той скалы, откуда только что вышли.

Подрезов пополз к аулу, перелез через плетень и увидел, что в крайней сакле, принадлежавшей Уцмиеву, сквозь отворенную дверь виднелся огонь; какая-то тень по временам закрывала его. Подрезов, для вызова на свиданье кунака-князя, по давно условленному сигналу, защекотал сорокой. Огонь быстро исчез. Он повторил щекот и, притаясь в бурьяне, решил ожидать ответа. Ожидание продолжалось недолго. Через несколько минут на задворке показался человек, который шел согнувшись, и подал сигнал свистком, на что последовал ответ опять сороки. Вслед за тем кунаки сошлись и пошли в саклю.

— Ну что, кардаш (т.е. друг), следили за тобой? — спросил Уцмиев.

— Не знаю, но кажется, что наш след открыт.

— Почему ты знаешь?

— Я видел сакму коней и собак.

Затем он рассказал подробно свое наблюдение под аулом.

— Твоя правда! я даже знаю зачем ты пришел: тебе нужно узнать, для чего эмир собирает джигитов.

— Да.

— Ну, друг, береги свою голову, наши вас преследуют уже. [197]

— Как! они узнали?

— Сам знаешь, отряд на носу, так и наши настороже не хуже ваших пластунов.

— Ну, так говори скорей: вот В-цкий прислал тебе десять червонцев и часы.

Уцмиев сообщил, что Амин-Магомед собирает партии в числе не менее пяти тысяч лучших джигитов, с целью пробраться близ карачаевских ущелий на кисловодскую линию, и там или в районе центра сделать набег на славу. Удача его, по мнению горцев, должна была быть верна, потому что большая часть мирных племен были с ними за одно. Собранный же отряд Козловского нимало не страшил шейха; он уже сделал распоряжение, чтобы через день все аулы, как лесные, так и расположенные в долинах по сю сторону Черных Гор, были пусты. Жители и скот уйдут на время за ущелье Шайтан-Бже, т.е. Чортовы Ворота, которые будут зорко охраняемы не сотнями, а тысячами, перевалиться же за горы отрядом немислимо по времени года. Все эти сведения стоили не такого подарка, какой получил Уцмиев.

Восток еще не алел, как Подрезов сел на коня, найденного им в назначенном месте. Хотя он был, действительно, личность бесстрашная, но весть Уцмиева не могла не возбудить в нем серьезной тревоги. С тех пор, как узнал о грозившей опасности его партии, он всеми силами старался придумать средство ускользнуть от татарвы; теперь же знал хорошо, что за ним следили, и что на него и на пластунов не нападут открыто небольшой партией, а постараются захватить врасплох, почему и предстояло остерегаться всевозможных хитростей.

— Да, если они вчера видели наши следы, то, вероятно, стерегут ущелье и будут следить за нами. Верно какой-нибудь пастух, незамеченный нами, рассказал им о нашем появлении.

Так думал Подрезов, подъезжая к котловине, перед которой остановился и, наклонив голову, начал через шею коня зорко осматривать вход в ущелье. Но луна зашла за тучу и мраком покрылась вся окрестность.

— Может быть, думал Подрезов, они засели в самом узком месте; но им не удастся эта хитрость!.. Во всяком случае, вперед.

Теперь он дорого бы дал, чтобы с ним была его верная ищейка, «жучок», не раз выручавшая его из беды своим чутьем. [198]

Подрезов тщательно прислушивался к малейшему шороху и жадно всматривался в темное ущелье. Несколько секунд он был в ожидании и неизвестности; вдруг почувствовал дрожь, услышав в глубине собачий визг, а вслед за ним громкий лай горской ищейки. Дело, по-видимому, разъяснилось: он был открыт.

Первым движением его было повернуться назад, но прежде, чем выехать на равнину, он остановился и начал еще прислушиваться.

Собаки залились, как по зрячему, что однако не помешало ему расслышать горские голоса, между которыми он узнал голос Ерыкова. Горцы, переговаривавшие между собою, по-временам заставляли молчать собак. Последние смолкали в одну минуту, за исключением одной, которая громко ворчала еще несколько времени. Вся эта сцена дала уверенность Подрезову увидеться со своими. Перестрелки не было слышно, следовательно они живы и верно сумели скрыть свой след. Он выехал вскачь из котловины. Менее чем через час он был уже в том месте, где оставил пластунов. Заметив направление их сакмы к протоку, он пустился рысью по местности хорошо знакомой, на которой попадались лесистые пригорки, лежащие друг от друга на значительном расстоянии, что давало ему возможность видеть приближение неприятеля и, незамеченным, уходить вперед, прикрываясь стлавшимся по земле туманом.

Подрезов еще не достиг опушки зарослей, примыкавших к ущелью Тагуш, а заря уже занялась на горизонте, гоня на север стаи красных облаков. Окрестность быстро выяснялась. Туман, стлавшийся по земле и согреваемый лучами солнца, стал медленно отделяться от нее, поднимаясь все выше и выше. В это время до слуха Подрезова долетели звуки голосов. Они неслись из-за куста, над окраиной котловины. Поспешно соскочив с коня, он припал ухом к окраине. Там говорили горцы.

— Посмотрим теперь твои новости, — сказал один голос.

— Во-первых, возвратились наши джигиты, — ответил другой.

— Знаем, — продолжал первый, — далее что?

— Далее?... Они привезли сведения.

— О ком?

— О русских.

— О пластунах?

— Да.

— Разве они их видели? [199]

— Нет, но открыли их след и знают, где они теперь.

— Чудесно!

— Пользуйтесь этим сведением: вас более тридцати человек на сильных лошадях; я же поскачу дать знать своим, что вы поехали травить чакалок (Горцы в насмешку прозвали нас, в отличие от донцов, «чакал-кузук» т.е. волк-казак.).

— Хорошо! мы едем, а ты дай нам своих собак.

— Возьмите трех, а с одной я поскачу сам. Наконец-то эти черти от нас не ускользнут!

Можно судить, какое впечатление произвел этот разговор на Подрезова. Он тихо отполз, сел на коня и, чтоб не произвести шума, объехал по окраине мягкой травой шагов двести, а затем уже пустился вскачь к ущелью Тагуш.

В это время раздался громкий лай. Обернувшись, Подрезов увидел, что проклятая собака бежала прямо по его следу; за ней же следом, в кустах, ехал горец, вероятно тот самый, который спешил дать знать своим, чтобы поднять облаву на пластунов.

Быстро поворотя коня на скаку, Подрезов выстрелил и горец рухнул на землю. Собака бросилась к нему, но выстрел из пистолета и ее положил рядом с хозяином.

Не раздумывая долго, Подрезов пустился стрелой к своим, стараясь скрыться в зарослях. Будь он один и надеясь на своего коня, он и не подумал бы скрываться; но нельзя было не подумать о спасении товарищей, критическое положение которых беспокоило его гораздо более собственной опасности.

Выстрелы были услышаны в котловине и три всадника неслись уже на их звук. Сперва Подрезов хотел увлечь их за собою, направляясь прямо к горной тропинке, что дозволило бы пластунам, заслыша выстрелы, удалиться самым спокойным образом; но он недостаточно был уверен в осторожности и проницательности урядника Короткова, который, при виде убежавшего друга, мог счесть обязанностью выскочить из зарослей. А этому-то и хотел помешать Подрезов, почему въехал в кустарники и очутился у входа в ущелье, где пластуны ожидали его верхами.

— Слава Богу, вы свободны! Но за вами гонятся горцы в большом числе, — воскликнул Коротков.

— К счастью, я опередил их значительно.

— Что нам теперь делать? Остаться ли всем вместе, или рассыпаться по кустам? Горцы явятся очень скоро. [200]

Подрезов не дал пока ответа. Он не мог думать о неравном бое; ему предстояло или рассыпаться по кустарникам, как предполагал Коротков, незаметно возвратиться прежнею дорогою, по которой пробирались, или, наконец, сперва показаться неприятелю, а потом скрыться через противоположный край зарослей. Привыкнув действовать поспешно, Подрезов сообразил эти предположения с изумительной быстротой. Рассеявшаяся небольшая партия рисковала быть захваченной, потому что горцы в достаточном количестве могли оцепить заросли, простирившиеся в длину версты на две, а в ширину версты на полторы. По всем вероятностям, половина спутников могла бы попасть в руки горцев. Скрытное возвращение представляло более шансов к спасению, но путь этот, вероятно, горцы стерегли. Подрезов принял однако это последнее решение после минутного колебания. Он не ответил Короткову, но громким голосом обратился ко всем пластунам и передал свое распоряжение в виде команды:

— Рассыпьтесь по опушке так, чтоб только были видны ваши головы. Гикните как можно громче, сделайте несколько выстрелов и в ту же минуту спешите назад. За мной!

После этого лаконического приказа, Подрезов выехал на опушку. Пластуны разделились на две части: одна под начальством Короткова, другая под командой урядника Фомичева, и обе поместились справа и слева Подрезова. Горцы приблизились; пластуны неистово

гикнув выстрелили по ним из винтовок; облако дыма задернуло все. Нужен был слишком опытный глаз, чтобы заметить обман в численности, даже на самом близком расстоянии.

Выходка эта произвела свое действие, на которое и рассчитывал Подрезов. Горцы, приближавшиеся небольшими группами, из которых иные подскакали уже шагов на триста, разом остановились. Многие из них повертели было коней, но, завидев скакавших к ним земляков, остановились. Они стали держать совет. Все полагали, что не малая, а большая партия пластунов находилась в кустарниках; это предположение подтверждалось поисками, которые делались горцами несколько уже дней для отыскания партии казаков.

Довольный успехом своей хитрости, Подрезов приказал товарищам войти в кусты и собраться на том месте, где они ожидали его. Коротков повел их через лабиринт кустарников до конца тропинки, которая вела на верхнюю равнину. Поднимаясь по этому ущелью, они с удовольствием увидели, как горцы [201] сбились в кучу посреди луга, не смея проникнуть в опасные заросли, занятые, по их мнению, казаками.

Выехав наверх, Подрезов направился на север к глубокой котловине. Она была покрыта камнями, скользкими под ногами лошадей, почему и не оставалось на ней следов. Старые и свежие отпечатки были тут одинаковы.

Все эти маневры продолжались до ночи. Ночь прошла спокойно, и на утро пластуны считали себя уже вне опасности от преследования, но, в свою очередь, также ошиблись. Едва они выбрались из котловины, как наткнулись на партию человек до двухсот. Скрыться было некуда — они пустились уходить; они думали укрыться, рассчитывая на впереди лежащую пересеченную местность. Гонка началась, гик и выстрелы огласили воздух.

Горцы гнались уже близко, и пули, свистя, пролетали над головами несшихся, во все поводья, пластунов, которые на скаку снимали то того, то другого джигита, отделявшегося от товарищей. Кони однако тупели все более и более; плеть мало надавала им ходу, и хотя седла были сброшены на скаку, для облегчения коней, но и это мало помогло. Еще последнее усилие — и пластунам удалось доскакать до обрывистого высокого кургана, покрытого густым лесом. Здесь они спешили и засели, метко посылая пуля за пулей в налетавших на них горцев, которые роились как комары перед непогодой, все более и более увеличиваясь числом от вновь прибывавших. Пластуны решились дорого продать свою жизнь; потеряв надежду на спасение, Подрезов отдался полному отчаянию: его не смерть страшила, а то, что важное известие, полученное им от Уцмиева, пропадет бесследно. Уверяют, что надежда угасает только с жизнью: Подрезов жил, однако надежда умерла в его сердце... Так отбивались хлопцы около часа; трое уже были порядком ранены; но спасение их было недалеко... Из-за высот, лежащих за рекою Андрюк, показалась пыль столбом, несясь все ближе и ближе. Вот сверкнул и грянул орудейный выстрел, за ним другой, третий, и масса казаков с гиком и выстрелами неслась на оторопевших горцев. Не ожидая удара на себя, они пустились на уходящую «чия добра» до синевшегося недалеке леса... Эту неожиданную помощь оказал отряд полковника барона Шилинга, который, заслышав перестрелку, помчался во все поводья, и кстати поспел на выручку уже потерявших надежду на спасение храбрых пластунов. Подрезов передал все сведения барону; тот, сообразив все сообщенное ему, счел за [202] лучшее идти на соединение к отряду генерала Козловского, а Подрезова, дав ему свежего своего заводного коня и выбрав полсотни самых доброконных казаков, отправил вперед.

На мою партию случайно наткнулся знакомый уже, по моим запискам, Магомед-Белей, пробиравшийся в отряд с теми же почти сведениями, какие сообщил Уцмиев Подрезову, но далеко не столь подробными. Мы прибыли в отряд на заре, а часу во втором дня прискакал и Подрезов, партию которого мы не нашли в условленном месте, не видя обычных наших пластунских примет, т.е. залама ветвей и повивки травы на сборном месте. Мы же, оставив наши условные знаки о своем возвращении, вернулись в отряд.

Сведения, полученные от обеих конных партий, частью подтвердили и пешие партии Мандруйки и урядника Фомичева. Они захватили башелбаевского старшину Науруза Батырева и притащили с собой. Последние две партии вернулись на конях, добытых ими от беспечно пробиравшихся в сборище, поодиночке и парами, горцев.

Обстоятельства эти изменили намерение предпринятой экспедиции.

Генерал Козловский, чтобы удостовериться в основательности полученных сведений, приказал генералу Евдокимову сделать большую рекогносцировку со всей кавалерией. Результат рекогносцировки подтвердил сведения. Окрестные аулы были пусты. Полковник Шилинг с отрядом своим, едва успев отдохнуть, был возвращен на Кубань для наблюдения прохода карачаевских ущелий. Начальник центра, получив сведения, принял самые деятельные меры к ограждению края и началась переборка мирных кунаков эмира. Отряд генерала Ягодина пожег часть хлебных запасов и, не найдя никого в ближайших аулах, также возвратился на Кубань, равно и главный отряд экспедиции, после двухнедельного движения за Лабой и Белой. Войска были распущены.

Потеря во все время была, в убитых и раненых, до восьмидесяти человек, да около полутора сотни коней выбыло из фронта.

Таинственное свидание муллы Абдула объяснилось самым прозаическим манером: он долго крепился, надеясь, что его выкупят или разменяют, но, не дождавшись, сообщал, что он уговаривал Хаджи-Юсуфа ехать в отряд и передать о замыслах Амин-Магомеда. Признание это ему не помогло: он был сослан на жительство в черкесские станицы на Дон.

Амин-Магомед, видя, что все его козни, так таинственно устроенные, были раскрыты, угомонился надолго, и, вместе с [203] роспуском, обольщенного будущими добычами, скопища, много упал в доверии подвластных ему племен. Долго потом подорванный кредит его не поднимался в общественном мнении.

В этом рассказе я подробно описал наши разведки, чтобы нагляднее видеть и оценить ту трудную службу, какая выпадала на долю пластунов, и ту пользу, какую они приносили во время горной кавказской войны.

XXVIII

АУЛ ТЕМРЮК.

Перед праздником науруза, т.е. нового мусульманского года, генерал Ковалевский сосредоточил значительный отряд в станице Некрасовской и в ночь двинулся к реке Белой с пятнадцатью сотнями казаков, шестью ротами пехоты, при шести полевых орудиях и двух горных единорогах.

Порывистый, сильный ветер гнал целые стаи облаков, напирал одну на другую, или, разрывая их клочьями, открывал полный диск луны. Окрестность то меркла в полумраке, то, ярко облитая серебристым отсветом, выступала вперед, теряясь и уходя в даль... Шесть сотен Лабинской бригады, под командой начальника линии подполковника П.А. Волкова, отделяясь от главной колонны, оставшейся на левой стороне Белой, полной ходой подошли к речке Пшевс. На восточном горизонте появилась пурпуровая полоса и, отразясь на окраинах облаков, зарумянила как их, так и вершины снежного хребта... Перейдя вброд по тебеньки («Тебеньки» крылья у седла, чтобы всадник не тер ногами об подпружные пряжки.), сотни скрылись в лесу и, пройдя им с версту по извилистым тропам, выбрались на узкую поляну, расстилавшуюся на несколько верст, окаймленную с обеих сторон редким лесом и упиравшуюся в уступы отрогов Черных Гор. На этой поляне, среди роскошной зелени, виднелись, как бы грязными заплатами, трупы абадзехских хуторов; дальше вой и лай собак сливались с ревом, ржаньем и бляньем скота, предвещая богатую добычу. Пять сотен, разделяясь по полусотенно, тронулись с места на полных рысях по направлению к обеим окраинам леса, и вскоре скрылись в зарослях; остальная сотня, с подполковником, медленно подвигалась прямо по арбяной дороге к хуторам... Уже рельефно выдавались сакли и плетни хуторов, из неуклюжих труб местами вился дым, уходя в воздух, как бы играя с первыми [204] лучами солнца, озарившего долину; совершенная тишина на хуторах доказывала, что горцы не ожидали набега. Обогнув опушкой леса, передовые полусотни с обеих сторон съехались, и тем замкнули входы в ущелья и подъемы на откосы отрогов, покрытых частым кустарником.... Затеплились, ровно свечки, дальние склады хлебов и копны сена... с двух сторон, в разных направлениях, раздались выстрелы и гик казаков, стремительно бросившихся на хутора... Одна за другой запылали сакли, ближайšie к лесу и ущельям... Хуторяне были охвачены с трех сторон пожаром; пламя, быстро истребляя сухие плетушки жилищ и проворно перебегая по плетневым загородам, охватило все, что только могло гореть, и наконец покрыло сплошным огненным столбом и густым черным дымом каждую из отдельных групп построек... Большая часть горцев спросонья не понимала, что творится вокруг их; они металась ошеломленные, не зная куда спастись. Испуганный скот с ревом бросался в поляны, но опытные линейцы живо скучивали табуны и отары, гиком и выстрелами направляя их навстречу идущей им сотне. Везде гибель, огонь, нигде помощи, нигде спасенья. Только страшная смерть гуляла, широко размахивая своей косой... Не прошло и двух часов, как хутора, с запасами хлебов и сена, обратились в пепел, над которым носился душливый дым, мало по малу уносимый ветром. Было захвачено до тысячи голов рогатого скота и коней, до двух тысяч баранов и более пятидесяти пленников, по словам которых на хуторах погибло до трехсот душ.

Мы отступили к речке Кара-су, из-за которой вскоре появились четыре сотни полковника Шульца, командира Кубанской бригады; он только что успел отбиться от горцев, засевших на вершинах ущелья, через которое повел его вожак-лазутчик, абадзех Аайтек-Барулы. Этот негодяй еще в Прочно-Окопской станице (штаб 2-й Кубанской бригады) вызвался указать Шульцу самый ближайший путь к хуторам и кошам, и изменнически повел его на засаду, от которой крайняя осторожность, быстрота соображения и распорядительность Шульца в совершенно незнакомой местности, да стойкость кубанцев при отступлении спасли казаков. Тут же были совершены суд и расправа над вожаком: сук и петля были его наградой. Оказалось, что изменой негодяя человек до тридцати казаков поплатились жизнью или тяжелыми ранами.

Дело это происходило так. Полковник Шульц, пройдя уже половину ущелья, тянувшегося версты на полторы, был озадачен [205] выстрелами с вершин и летящими камнями с тыла и спереди, с целью затруднить движение сотен и долгие удерживать под огнем. Окинув быстро местность, Шульц (бывший офицер генерального штаба) в миг усмотрел

узкое дефиле вправо, пошел на полных рысях, и, пока горцы занимали его, казаки успели проскочить и выбраться на более открытую местность. Пройдя по ней с версту, Шульц наткнулся на кош, и на ходу сжег его, захватив десять человек отарщиков, один из которых и вывел его на настоящую переправу через Кара-су, за что тут же получил свободу.

Соединившись, оба наши отряды двинулись с такой быстротой, с какою позволяли идти скот и отары. Мы шли к реке Белой по направлению к аулу Темрюку, близ которого должен был остановиться главный отряд. Орудийные выстрелы и частая ружейная перепалка вынудили Волкова передать Шульцу пленных, отбитый скот, раненых и убитых (у нас убитых возили перекинув через седло, а для раненых были конные носилки), и идти на рысях на выстрелы, согласно диспозиции.

Хорошо укрепленный и сильно защищаемый аул держался твердо, не взирая на усиленный натиск хоперцев с полковником Васмундом; часть казаков, обойдя аул с восточной стороны, менее укрепленной, ворвалась на нижнюю площадку, и пожар быстро охватил разбросанные на ней сакли. Жители, отчаянно отбиваясь, проворно бросились вверх по откосу скалистой горы, на которой по уступам, как гнезда ласточек, лепились сакли, а засевшие в них горцы осыпали осаждающих градом пуль. Мы подошли к аулу с западной стороны, командовавшей местностью; с нагорья, поросшего по окраинам частым кустарником, нам, как на ладони, виднелась вся картина боя. Маскируемый кустами и высью, отряд быстро обогнул аул и, поднявшись на самый гребень, очутился над головами горцев, засевших по саклям. Четыре сотни казаков, спешась, перескакивая с уступа на уступ, или карабкаясь, как векши, кинулись выбивать засевшего неприятеля. Всюду раздавались выстрелы и, вторимые эхом, замирали в ущельях, как предсмертный вздох умирающего...

Пошли в работу шашки и кинжалы... Все слилось вместе; гик, гам, свист и треск пожара заглушали стон, проклятия и самую мольбу о пощаде... Оторванные глыбы известняка, объятые огнем бревна, вместе с убитыми и полуживыми людьми, летели с уступа на уступ; огонь охватывал на пути все, что попадалось сгораемого. [206]

Среди этого хаоса мелькали казаки, то опаленные, то облитые кровью врага, и всюду беспощадно преследовали его. Кругом, густые клубы дыма то закрывали завесой, то, разрываемые порывистым вихрем пожара, метавшего огненные снопы, открывали на огненном фоне страшную картину истребления, пока ветер не наносил нового покрова... Чтобы иметь точное понятие, надо быть самому очевидцем такого погрома, где встречаем нос к носу курносую смерть, широко взмахивающую косою на все стороны; тогда только вполне уяснится что видит глаз, что испытывают чувства... Опустясь с первых уступов по следам казаков, я пробирался по тропинке над обрывом пропасти; справа и сзади высился огромный, голый уступ шиферной скалы; по ту сторону обрыва, из-за кустов, мелькнул папах, за ним другой... Один за одним раздались мои выстрелы, и ближайший горец, оборвавшись, полетел в пропасть, а другой, пошатнувшись, поскользнулся на узкой покатоной площадке, но успел ухватиться за куст и с усилием карабкался назад, висая над бездной... Я обернулся и, прислонясь к каменному устою, начал было заряжать свою двустволку, как невольное мое внимание было обращено на несколько казаков, спускавшихся ко мне и огибавших выступ над страшной стремниной... Один было оступился, но ловко справился, и я, не рассчитывая на расстояние, гаркнул во все горло одобрение и тут же мысленно улыбнулся своей выходке... Затем, обернувшись, чтобы посмотреть что случилось с раненым горцем, я увидел ствол винтовки, прицеленной прямо в мою грудь, в расстоянии двух, трех шагов... Инстинктивно подался я всем корпусом назад, как бы желая пробить собою скалу, а горец, с прицеленной винтовкой, злобно улыбаясь,

то подымал ствол, целясь в лоб, то опускал до груди. Как видно, он наслаждался моим безвыходным положением... Неизбежная гибель сжала сердце; точно гальванической ток, дрожь пробежала по всему телу; я невольно обернулся лицом к лицу врага; глаза его искрились, как у пены... Но первый момент пролетел, и рука, по привычке, сжала рукоять кинжала... Мгновенно блеснула мысль... злоба закипела в груди, и я, как тигр, бросился вперед. Отбив левой рукой ствол, разразившийся выстрелом, удачным ударом снизу вверх я всадил кинжал в бок горца... Скачок и удар так были сильны, что мы оба повалились и скатились на самую окраину пропасти. Горец судорожно охватил меня руками... В исступлении я душил руками горло врага, боровшегося в [207] предсмертной агонии; кровь хлынула у него горлом и с тяжелым вздохом душа покинула тело, а руки мои все еще душили его. Да, поистине сказать, припоминая теперь этот эпизод из моей боевой жизни, невольно призадумаетесь... Два подбежавшие казака подняли меня с тела горца, предварительно оттащив его за ноги от окраины. Казаки невольно отступили — так злоба и месть исказили мои черты... Это был один из замечательных случаев моей кавказской жизни, где рассудок и добрая воля изменили далеко неженственной натуре...

Огненным шаром высоко стояло багровое солнце; белые тучки небольшими стаями бежали к нему; не было еще часа до полудня, а от большого и хорошо укрепленного аула осталось одно пепелище. Смердный черный дым закрывал широкой завесой то место, где, за несколько часов, кипели жизнь и страсти людские...

С богатой добычей казаки медленно отступали, неся на бурках раненых товарищей и унимая по-своему отчаянные стоны пленниц и визг ребятишек; мужчины, молча и озираясь, шли как автоматы... Лошади наши, сведенные с кручи, ожидали нас близ аульного кладбища. Разбатовать («Батовать коней» значит продевать поводья в поводья, надевая их на седельные луки, так чтобы голова одной лошади приходилась в крупу другой, вследствие чего они остаются на месте.) коней, навьючить добычей — было делом нескольких минут. Сотня за сотней потянулась, ведя коней в поводу, лишь изредка размениваясь пулей с начинавшими собираться из смежных аулов джигитами, спешившими занять впереди лес. Но расчет их далеко был неверен. Пехота всего отряда была уже там и приветствовала их орудийным и ружейным огнем, а мы продолжали двигаться к роскошной Псенафинской долине, обрамленной, подобно подкове, лесистыми высотами. Здесь мы остановились, поджидая пехоту. В ожидании прошло часа два, три; отряд, соединясь, перешел вброд реку Псенафу и остановился на ночлег; да и пора было отдохнуть: силы изменяли после такого долгого и отчаянного боя... Наша потеря была довольно значительна: не столько было убитых, как раненых, ушибленных и обрывавшихся с уступов. Пленных взято немного более сотни душ обоего пола.

Во время схваток, не только мужчины, но и марушки отчаянно защищались чем попало, чему всего более способствовала самая местность. Хотя прихотливая судьба, играя и тешась, кинула на мою долю немало случаев быть очевидцем и участником в [208] больших погромах аулов, где жизнь и добыча были ставкой, но темрюкского погрома я не забуду никогда.

Широко раскинулся отряд на долине; ярко запылали костры, освещая котлы, между которыми то там, то сям, припав на корточки, казак или солдат дружно хлопотали, поджаривая шашлык. Глухой говор, ржание, рев и бляение животных сливались в одну дикую гамму кочевого быта кавказского отряда. Эту картину освещали последние лучи заходящего в черные тучи солнца, которое играло на загорелых, опаленных порохом, беззаботных лицах боевых сотоварищей и на их оружии. А небосклон все более и более померкал; облака, сплетаясь беспредельной цепью, затягивали кругом горизонт и сквозь

сумрак, обманывая взор, рисовались то синими горами, то лесом, то воздушными замками фей... Ближе и ближе они теснятся одно на другое и образуют одну грозную, черную тучу. Издалека несется глухой рокот; огненная струя прорезывает мглу, извиваясь змеем. Бесперывные удары грома потрясают воздух; окрестность вторит его перекатам, дождь льет ручьями, вихрь ломает деревья — все спешат укрыться. По прошествии часа гроза умолкла, черные тучи рассеялись и не осталось никаких следов мятежа стихии: небо опять чисто и ясно, земля, как испуганное дитя, улыбается сквозь слезы, которые еще дрожат на ее лице. Еще час — и все возвратилось к прежнему спокойствию; величавый месяц облил серебром бивуак. Вновь запылали костры; говор и шум, на время умолкшие, опять вступили в свои права. С рассветом отряд, провожаемый гиком и выстрелами, двинулся к Лабе. Ясный закат солнца осветил нас уже в станице Некрасовской.

XXIX.

НЕУДАЧНЫЙ НАБЕГ.

За несколько дней до праздника Рождества Христова, сосредоточен был отряд в станице Вознесенской. Начальник фланга, генерал Ковалевский, прибыл, около полудня, в сочельник и отряд, в составе батальона Ставропольского егерского полка, шести рот вновь прибывшей 14-й пехотной дивизии, восьми сотен казаков, двухсот всадников кубанской милиции, при дивизии конно-казачьей № 13 батареи, двух горных единорогах и взводе пешей облегченной батареи, выступил часу в пятом пополудни к посту Подольскому. Более недели погода стояла пасмурная, теплая; снегу [209] еще не выпадало, хотя кругом бродили стаями нависшие седые облака, с которыми солнце играло в «гулочки», в прятки. Едва отряд поравнялся с джентельместскими высотами, как подул горный порывистый ветер и тучи, громоздясь друг на друга, покрыли землю мокрыми хлопьями снега, а к свету явились целые ворохи снега над отрядом, расположившимся в глубокой подольской балке, плотно прилегавшей к подножию поста. С появлением утренней зари начало морозить, а с тем вместе стал порхать сухой снег, и деревья покрылись густым инеем. Лениво поднявшееся солнце выглядывало грустно из-за пробегавших туч, ни грело, ни живило погребенной в снежном саване земли. Огней разводять не дозволялось для того, чтобы дым не выдал скрывавшийся в балке отряд, и людям пришлось согреть коченеющие члены прыжками или похлопыванием рука об руку.

Сваренная на посту пища и выпитая чарка горилки не надолго согрели; мороз все крепчал сильнее, замораживая колом одежду; невзирая на все усилия гимнастики, носы и руки коченели; люди громко протестовали сильным словцом, вырывавшимся неволью, и на мороз, и на запрещение разводять огонь, но все досады скоро улеглись перед очевидной необходимостью и надеждой на хороший бой, а воображение рисовало добрую поживу и отдых в теплой станичной хате. В глубокой тишине выстроился отряд, взобравшись на гору. Выбираясь из балки, части следовали по-одиночке, где какой было удобнее, и только часа за два до рассвета войска двинулись к каладжинскому броду на Лабу; люди, скользя и падая, скатывались кубарем до самой подошвы крутого обледенелого ската Подольской горы. Мне велено было с полусотней испытать твердость льда. Спустился с крутого обрыва на лед, конь проломил его передними ногами, но удар плети — и верный мой боевой товарищ, скользя и быстро спохватываясь, спешил легким шагом вперед, оставляя за собой треснувший лед. Я уже был почти на половине реки, как услышал за собой сильный треск льда и всплеск воды, как бы от брошенной огромной массы: Действительно, это была целая махина в образе инженер-поручика Шатилова с его буцефалом, ринувшимся с обрыва на лед; ноги богатырского коня скользнув разъехались, он грянулся всей массой на бок; тонкий лед не выдержал, конь и всадник погрузились в воду; но Шатилов, скоро справясь, решил, что не стоит опять садиться в седло, чтобы вновь принять несколько

подобных ванн, пока переберешься на берег, погнал перед [210] собой коня и, по проломанному им следу, пустился бродить пехтурой. Выбравшись на берег, он и не подумал переодеться, хотя верхнее платье и бурка стояли колом. Так Шатиллов оставался до самого отступления отряда на Лабу.

Началась переправа: артиллерию по настланным доскам перенесли на руках; кавалерия прошла вброд, а дежурная сотня лавой заняла переправу ниже брода, чтобы подхватывать упавших с коней солдат и их оружие, уносимое сильным течением.

Пять сотен спешась отдали коней пехоте, а две переводили их в поводу. Кто не видал нашего прежнего пехотного солдата на переправе, и притом на переправе через такую бешеную реку, как Лаба, тот с трудом может себе представить, как, стойкий и храбрый в бою с неприятелем, он делался робким и неповоротливым «пехтером» на казачьем седле. О сидящем на крупе за седлом и говорить нечего: каждый из них лучше согласился бы снять свои длинные сапоги и босиком перейти даже выше пояса воду, чем переправляться на коне. Говорю это о старом нашем кавказском солдате, который уже видал виды; представьте же себе небывалого новичка, как это было с людьми 14-й дивизии: они то и дело слетали с коней в воду: не было никакой возможности вразумить их, чтобы не хватались за поводья, и не затыгивали на ходу, не жали ногами конских боков; от подобных движений лошади делали прыжки или поддавали задом. Между тем старые кавказцы, сняв обувь, гусем тянулись по льду, где проваливаясь, где скользя и проворно выбравшись на берег и обтерев полую ногу, живо надевали сухие сапоги. Так длилась переправа около двух часов; мороз все крепчал, ветер выл по лесу и ущельям, напоминая стаю голодных волков, и, при таких-то условиях, пришлось пехоте месить снег выше колена, растоптанный прошедшей конницей. Колона, точно черепаха, едва двигалась; конница быстро ушла вперед, оставив одну сотню, и перешла вброд малую Лабу, или, по нашему, «Лабенок»: этот приток Лабы начинается верстах в двадцати от нее выше каладжей, и круто поворачивает на запад к Черным Горам; затем, пробежав верст тридцать пять или сорок, одним рукавом пропадает в шавдонах поросших камышом, а другим вливается в Лабу у поста Шалоховского. За густым, невысоким лесом, идущим по обоим берегам Лабенки, тянется гряда высот; бешеные потоки, бегущие с них во время таяния снегов, изрыли высоту руслами и образовали глубокие впадины, на окраинах которых, как орлиные гнезда, [211] лепятся сакли султановских аулов. Их то мы и шли разорять. Около двух верст надо было пробираться целиком по лесу в один, в два и в три коня; едва поднялись на высоту, как три небольшие аула уже были обскаканы кругом; бросились в них, но они оказались пустыми. Предупрежденные горцы скрылись в дальние аулы со всем своим имуществом; прискакавший лазутчик с двумя нашими пластунами донесли генералу, что до двух тысяч лучших джигитов версты за две стоят в большом Ерыковском ауле, что скрывавшиеся в лесу караульные горцы хорошо выследили наше движение, и заняли теперь все удобные места, чтобы встретить нас на возвратном пути. Горец добавил, что оба наши вожака, предварительно сговорясь с земляками, взяли навести отряд на засаду, готовую встретить нас и с торжеством проводить восвояси. Живо допытались признания от бездельников; один из них, уздень Харцыг Баргушев, взялся провести нас до пехоты, если ему подарят жизнь. Делать было нечего, так же как и выбирать было не из чего: генерал решил ввериться вожаку, знавшему отлично местность и засады.

Горец, сообщивший нам об этой ловушке, был наш старый кунак Магомед-Билей, который, конечно, ни за какие блага не согласился бы лично объясняться с Харцыгом, но, зная отлично этого молодца, он ручался за его опытность в деле вожака, советуя все-таки впоследствии наградить его петлей.

Пока шли переговоры, товарищ Харцыга уже качался на суку. Велено было прибывшим пластунам взять жоака на «глазок» и мы тронулись в путь. Более двух часов мы делали обход засад; идя к Черным Горам и перейдя Лабенок, мы стали спускаться по его течению, и полный рассвет морозного, туманного дня с угрюмо нависшими, сизыми тучами встретил нас у костров, разведенных на прогалине нашей пехотой.

Неопытность ротных командиров и самих солдат, бывших еще в первый раз в набеге, наделала всем нам кучу хлопот, а им немало бед. Остановясь на месте в ожидании возврата кавалерии, они развели огромные огни; промерзшие новички бросились греться, не оттерев окоченевших членов; многие из них не только чуть не лезли на костры, но еще снимали обувь, оттаивая замерзшие ноги. Вышло то, что ноги опухли и не лезли в сапоги. Не взирая на все усилия отрядных медиков помочь оплошным, число их было так велико, что вынудило сбросить и сжечь весь десятидневный провиант и фураж с [212] повозок и транспортных фур. Эту мороженую рать не только разместили на повозках, на орудийных лафетах, на ящиках, но и усадили на упряжных лошадей; наконец, спешили всех тех казаков, которые были в сапогах, а не в чевяках («Чевяк» — азиатская обувь из сафьяна, вроде башмака, с одним швом внизу на подошве ноги. Наши линейцы заимствовали одежду, вооружение и иногда обычаи у соседей-горцев, в том числе и обувь, по ее дешевизне и удобству для конной езды.), и заставили их вести в поводу коней. Обмороженных было много; отряд двигался медленно. Измучились казаки, пока добрались до Лабы, а тут новая невзгода: снег повалил хлопьями, поднялась страшная «кура» и вьюга прямо в лицо. Спасибо еще горцам, что не вздумали преследовать большими массами: было их лишь несколько десятков для наблюдения за отрядом, а то плохо бы нам пришлось с морожеными, тем более на переправе. Переправа длилась часа четыре и, благодаря только смысленной опытности и расторопности казаков, обошлась без утопленников, хотя не могла миновать купанья и без того мерзнувших солдат. Но как бывает всему конец, то и полузамерзших дотянули до поста Подольского. Здесь, вся эта команда, не оттираясь снегом и не слушая и не понимая ничего, ввалилась в натопленные казармы. Надо полагать, что это и была главная причина, почему так много поплатились отмороженными членами.

Когда отряд собрался у поста, командовавший пехотой подполковник П*** доложил генералу, что, после подъема на Подольскую гору, многих людей не досчитывают в ротах; куда они делись — неизвестно, тогда как они уже были на нашей стороне реки.

В это время я забрался в офицерскую комнату, занятую генералом и главными начальниками отрядной артиллерии, пехоты и кавалерии, и вздумал было понежиться... Тщетная надежда! Генерал и начальник линии дали мне приказание отправиться опять на мороз, взять две лабинские сотни, идти на переправу, рассыпать казаков по всей горе и подобрать отсталых и разбредшихся от треклятой вьюги заблудившихся солдат; затем выпроводить за Лабу жоака, которому дарована была жизнь за провод казаков от аулов до пехоты. Войсковой старшина Братков, я и две сотни казаков отправились обратно на каладжи; дорогой мы наткнулись на солдата, стоявшего опершись на ружье; он уже ничего не видал и не слышал — мороз отбил окончательно память. Перекинув его ничком через седло, два казака, поддерживая его точно бревно, отправились в гору. Напряженный шаг коня мало [213] по малу разогрел окоченевшие члены; бедняга все более и более сгибался, и когда достигли поста и солдата оттерли снегом, он был здоровым возвращен к жизни. Не все так счастливо отделались: более десятка мы подняли уже мертвыми. Но довольно говорить об этой грустной катастрофе из быта кавказского солдата; она и на нас, привыкших хладнокровно взирать на страдания и лишения всякого рода, наводит тяжелую, безотрадную грусть. Если я и пишу эти строки, то единственно с целью выяснить ту борьбу, какую приходилось выдерживать и испытывать нашим кавказцам,

борьбу не с одними горцами и их горами, но и с самой природой, где надлежало одолевать все для того, чтобы снова весело и беззаботно встречать новую преграду. Подобрал отсталых, я велел десятку казаков проводить Харцыга за Лабу и наградить его добрым десятком плетей. Мои хлопцы не удовольствовались этим и распорядились отпустить его почти в костюме Адама; негодяй этот, вследствие ли данной ему припарки, или уже по своей натуре, не замерз, а провалялся только несколько месяцев и опять приходил с предложением услуг вожака...

Едва успел я возвратиться и явиться к генералу на пост, меня в ту же минуту снова послали в Верхне-Зассовскую станицу за подводами для перевозки мороженных. Пришлось проехать еще верст пятнадцать, пока наконец добрался до теплой хаты и залег на нашу родимую русскую печь.

Наутро все больные были отправлены и размещены по госпиталям и лазаретам на нашей линии. Много выбыло добрых солдат из фронта от неосторожности своей и нераспорядительности ближайших начальников, которые, впрочем, и сами тоже поплатились; но всего грустнее то, что менее всех виновный генерал Ковалевский ответил за всех. Мы его лишили: он был переведен на службу во внутрь России, а впоследствии пал героем при штурме Карса.

Каждый честный солдат и казак, служившее под начальством генерала Ковалевского, отдадут ему полную справедливость и помолят Господа об успокоении души храброго, доброго и честного человека!

Аполлон Шпаковский.

Текст воспроизведен по изданию: Записки старого казака // Военный сборник, № 3. 1872

- © текст - Шпаковский А. 1872
- © сетевая версия - Thietmar. 2009
- © OCR - Over. 2009
- © дизайн - Войтехович А. 2001
- © Военный сборник. 1872

ШПАКОВСКИЙ А.

ЗАПИСКИ СТАРОГО КАЗАКА

XXX.

(См. «Военный Сборник» 1871 г. №№ 4, 8 и 11 и 1872 г. № 3.)

БЫЛОЕ.

Начало заселения Лабинской линии окончательно вынудило закубанских горцев уничтожить аулы по протяжению большей части течения реки Лабы, до ее впадения в Кубань, что составляет около двухсот верст; вместе с тем, и низовья ее притоков, рек Кунактау, Дженока, Фарза, Ходза, Чифграга, Уля, Псефира и других были оставлены горцами. Еще с первым появлением постов и укреплений в пределах между Кубанью и Лабою, аулы, расположенные в низовьях рек Урупа, Чамлыка и Окарта, переселились частью к отрогам Черных гор, и частью заняли долины, прилегавшие к Длинному, Псеменскому и Черному лесам; то же самое сделали горцы, поселясь по верховьям лабинских притоков и по реке Белой.

В числе племен, оставивших свои пепелища, частью занятые казачьими станицами, было довольно сильное Махошевское племя.

Старшим и более влиятельным махошевским князем в то время был Магомед Багарсуков — личность замечательная во многих отношениях и щедро одаренная природой, как в физическом, так и в умственном развитии. Он прежде других понял всю невыгоду борьбы с закубанскими пришлецами; он очень хорошо предвидел последствия по тем распоряжениям, какими сопровождалось заселение станиц, одновременно с сооружением укреплений и постов.

С целью обусловить, насколько возможно, мирным путем взаимные отношения, он старался всеми силами сблизиться с [404] основателем и начальником линии. Частые приезды Багарсукова для переговоров в станицу Вознесенскую (При первоначальном занятии линии, штаб Лабинского полка и управление линии были в станице Вознесенской и уже по сформировании, по новому войсковому положению, в 1846 году 2-й войсковой лабинской бригады, перемещены в станицу Лабинскую, построенную близ бывшего махошевского укрепления, с водворением станицы упраздненного.) сблизили его с П.А. Волковым. Он успел уже заслужить доверие, как дельный и толковый человек, нужный не для одной роли верного лазутчика; со своей стороны, сам безусловно подчинился обаятельному влиянию благородного характера, непреклонной воли и львиной храбрости — неотъемлемых достояний личности Волкова.

Чтобы нагляднее выяснить первые сношения наши с закубанскими горцами, с начала занятия Лабы станицами, постами и укреплениями до появления среди них эмира Шейх-Магомед-Амина, считаю долгом очертить здесь эту личность.

Магомед-Амин имел средний рост при плотном и стройном телосложении; его бледное, рябоватое от оспы лицо с орлиным носом, обрамленное темно-русой небольшой бородой, хитрые, сверкавшие умом глаза сильно запечатлевались в памяти у всякого, кто даже раз его видел. А встреч с ним за долгую пластунскую службу выпадало мне немало. Голос его был тих и мелодичен, но речь лилась бурным потоком; он обладал замечательным даром убеждения, чему и был непосредственно обязан своим сильным влиянием на горцев.

Появление Магомед-Амина среди полудиких закубанских племен было для них обаятельно и по новизне, и по цели (Горцы с правого крыла, с усилением заселения линии, почувствовали всю тяжесть своей неурядицы, и утомились в постоянных неудачах своих набегов на линию. Страх разгрома их пепелищ вынудил большинство влиятельных лиц, из числа недовольных Магомед Багарсуковым, послать к имаму Шамилю просьбу прислать к ним сына своего Кази-Магомеда, в качестве наместника. Шамиль, не полагаясь в столь важном деле еще почти на мальчика Кази, послал своего томаду (доверенное лицо), истого мюрида — Магомед-Амина.). Проповедуемый им «мюридизм» и «казават» (религиозная война с неверными), обещанные рай и гурии за гробом, увеличивали в них страсть к грабежам и к добыче при жизни, для чего необходимо было единение власти. Эти подстрекательства, и без того разбойничьей натуры горца, еще более разжигали их, тем более, что такая склонность присуща горцу с самой его колыбели и, постепенно развиваемая аталыками (воспитатели), глубоко укоренилась в нравы и обычаи. Умно и ловко составленные речи шейха Магомеда, [405] проповедовавшего полную свободу и равноправие, увлекли умы не только слабых, но и благоразумных, следствием чего было общее увлечение племен. Но он, желая утвердить прочно свою власть, не ограничился этим, и, как человек дела, начал с того, что прибрал к рукам большую часть народных представителей: т.е. влиятельных князей, старшин, и узденей; тех же, которые вздумали протестовать против его деспотизма, он, с чисто-азиатским расчетом и хитростью, старался истребить один другим, ссоря их на всевозможные лады. Но встречались личности, на которых и эта тактика не влияла, а потому он прибегал к обману: заполучив их к себе открыто, в глазах народа, изменнически убивал. Так случилось и с князем Магомед Багарсуковым.

Этот небольшой пролог находится в тесной связи с настоящим рассказом.

Глубокой ненастной осенью, часу в девятом вечера, в окнах небольшого красивого домика, на углу площади в станице Вознесенской, виднелся яркий свет, ложившийся длинными полосами на грязной площади и поперек улицы, отражаясь в лужах. В рабочем кабинете этого домика, убранного с изящной простотой боевого сибарита, огонь нескольких свеч, на письменном столе, покрытом зеленым сукном, ярко освещал кругом развешанные по стенам красивые группы военной арматуры древнего и нового ручного оружия, среди которого панцыри, шишаки, луки, колчаны и окованные серебром седла, драпировались простреленными в разных местах разноцветными значками на длинных куртинских пиках. Камин пылал, озаряя лежавшую перед ним огромную черную собаку из породы водолазов, гревшую умную свою морду и по временам оборачивавшую ее к хозяину, как бы вслушиваясь в звук его голоса. Это был кабинет начальника линии П.А. Волкова. Здесь он сидел в глубоком мягком кресле, облокотясь рукой на стол; против него на стуле сидел князь Магомед Багарсуков. По его встревоженному, красивому лицу, как молнии, пробегали, по-видимому, не радостные думы; по временам, умные, задумчивые глаза князя вспыхивали ярким блеском, но, скоро опущенные, грустно меркли. Он тяжело дышал.

Так я застал их, войдя вместе с нашим словесным переводчиком, урядником Нариком Гадзевым, приходившим за мной. [406]

— «Аполлон! Тебе надо будет часа через два отправиться за Лабу с Багарсуковым. Ты возьмешь с собой урядников Фомичева, Еремкина и Ермолаева, да человек пять-шесть

доброконных пластунов. Приготовься поскорее и приходи сюда», сказал Волков, обращаясь ко мне.

На вопрос: «зачем?» он отвечал: «за делом, и делом серьезным».

Зная коротко моего обожаемого начальника, на подобное объяснение нечего было и отвечать. Менее чем через час, я подъехал к крыльцу, вооруженный с ног до головы, со своей командой.

Войдя в кабинет, я молча ждал приказаний.

— «Дорогой, Багарсуков расскажет тебе о цели поездки: она должна быть секретна; он посоветует, что нужно будет делать. Работа будет нелегкая. Смотри не рискуй; ты еще, пока, мало-опытен, но я надеюсь на тебя. Взяли ли вы собак?.. Они, пожалуй, понадобятся. С Богом, Господь с вами».

Этот твердый и храбрый человек обнял меня, крепко поцеловал, и непривычная слеза блеснула в его ясном взор.

Невольно как-то сжалось сердце — «Значит, работы будет вволю; опасности еще больше», мелькнуло у меня в голове. Как бы отвечая, на мои мысли, Волков добавил: — «Помни кабардинскую поговорку: «хет-уана жего, тратха ар-уж ке-коне», т.е. «кто рано седлает, поздно выезжает»... Смотри, чтоб на тебе она не оправдалась. Вот тебе моя памятная заметка: я ее сейчас набросал; из нее ты увидишь, что надо делать, но она не должна стеснять тебя. Соображайся благоразумно с обстоятельствами и с теми случайностями, какие могут встретиться. Ну до свиданья — храни тебя Бог!»

Волков вышел на крыльцо вместе со мной и Багарсуковым, поздоровался с командой, отдал всем нам последние приказания и дружески пожал руки мне и князю. По-видимому крайне встревоженный, он долго оставался на крыльце. смотря вдаль, пока мы не скрылись в темной мгле.

Едва мы выбрались за станицу, как темная ночь охватила нас: мгла была так велика, что мы едва могли видеть головы коней; Плотно завернувшись в бурки и башлыки, мы ехали без дороги, напрямик к Лабе. Мысли роились в моей голове; мне хотелось скорее узнать о цели таинственной поездки. Я несколько раз обращался с расспросами к князю. Он, казалось, был погружен в тяжелую думу, и раз только ответил, да и то как бы нехотя: — [407] «Дагошипсе, иги Лябе дешекижм, бесуча мезли-бже чанос, вскорык» («подожди, друг, вот, переправясь Лабу и укывшись в лесу от погоды, я тебе все скажу»).

Лаба, страшно вздувшаяся от продолжительных дождей, бурно катила мутные волны и, пенясь белыми валунами, мчала стрелой карчи и целые деревья, вырванные с корнями. Густой туман стоял над водой; вдали, к горам, слышались слабые раскаты грома; молния, как зарница, загоралась то там, то сям, и на миг освещала вершины гор. Воздух, насыщенный электричеством и пропитанный влажными испарениями, был густ и удушлив. Сквозь редевшие стаи облаков, по временам выяснялась вся окрестность, облитая грязным, матовым светом. Как-то особенно трудно дышалось.

Казаки, с четырьмя махашевцами князя Багарсукова, отыскивали на берегу реки огромный рогатый и суковатый карч и столкнули его в воду; завернув в бурки оружие, одежду и седла, мы разместили все это на карче и, привязав вьючками и заарканыя его, сели на коней... Холодные волны охватили нас. Мы спустились по течению; казаки и горцы

плавил карч, сдерживая арканами от напора массы воды, уносившей его далеко вперед... Вот мы обогнули косу; кони, фыркая, храпели, сносимые быстрым течением, и, натужа грудь, напрягали все силы разрезать волны; подвязанные бурдюки (Бурдюки, сделанные из шкур небольших козлов, шерстью вверх, и пропитанные нефтью, надувались мехом, а то и запросто ртом, и на двух ремнях подвязывались посредством пряжки на холке, под грудь коня, как пузыри для плава. Они обыкновенно хранились у нас на всех почти переправах в секретных складах, близ быстрых и глубоких рек. Тут же сохранялась на случай и запасная пища; все это зарывалось в яму, тщательно закрывалось и ставилась близ склада особая примета: камень, заруб на пне или на дереве, обруб ветвей на кустах и проч. и проч. Переправа, здесь описанная есть переправа без помехи, т.е. не под неприятельскими выстрелами; тогда же дело другое: прямо бух с конем в воду, как пришлось, хоть бы и с кручи, бурку на голову коня, удар плети и на лету открыть голову коня — было делом мига. Для всего этого необходима особая сноровка, также и для того, чтобы не замочить у оружия дул и замков.) мало приносили пользы, образуя большую площадь для напора течения, почему мы их и отстегнули на плаву; держась, кто за гриву, кто за хвост мы медленно подавались вперед. Наконец мы на берегу.

Кто не видал наших переправ в полуию воду на таких реках, как Лаба, Белая, Терек, Кубань, и притом в бурную ночь, тот с трудом может себе представить то, что нам приходилось преодолевать; между тем, в подобных делах мы не [408] признавали за собой ни малейшего подвига, а привыкли считать это делом обыкновенным.

Одевшись, вооружась, оседлав коней и спрятав в кусты бурдюки, мы выпили с истинным наслаждением по доброй чарке горилки. Окруженные со всех сторон густым лесом, мы, потянувшись в один конь по хорошо знакомой тропинке к глубокой котловине, притаившейся словно разбойник в засаде. Здесь мы остановились и развели небольшой огонек; люди окружили его, а коней держали в поводу, навесив им торбы с овсом. Багарсуков, переговорив со своими узденями, двух послал вперед; но зачем — я не расслышал, да и не интересовался, зная, что Багарсуков зря ничего не сделает. Сон начал меня одолевать; я попросил Багарсукова дать мне соснуть час-другой, если это не помешает цели нашей поездки, а после рассказать мне, свежому и бодрому, зачем и куда мы пробираемся. На это князь сказал, что мы оба лучшего ничего сделать не можем, пока возвратятся его посланные, которые не могут вернуться ранее двух-трех часов. Казаки сами назначили очередь для караула, и, намотав поводья на руку, тоже улеглись кружком. Вполне довольный этой обстановкой, я, подозвал своего «Соколку», верного и доброго пса, не раз выручавшего меня из беды своим дивным чутьем, уложив его, вместо подушки, поближе к огню, и заснул как убитый, нимало, не заботясь о том, что будет и как будет. Молодость, беспечность и привычка к опасностям взяли свое...

Часа за три или за четыре до рассвета, я был пробужден осторожным движением и ворчанием «Соколки». Относя это к грезам, я уже собирался перевернуться на другой бок, но вдруг лицо мое очутилось на влажной земле вместо мягкой шерсти «Соколки», который так быстро вскочил на ноги, что башлык и папаха слетели с моей головы; «Соколка» же с лаем, вместе с собаками Багарсукова и Фомичева, бросились вперед на дорогу. Мы все живо поднялись, схватясь за оружие. Караульный казак тотчас успокоил нас, сказав: «Не тревожьтесь; я давно прислушиваюсь, и хотя земля так промокла, что плохо передает топот, но мое ухо не обманется. Это наверно посланные князя. Их двое и у одного проездной конь (Проезд, особая хода горских и степовых коней, нечто вроде иноходи, но не утомляющая коней, как хода иноходца. Проездные кони чрезвычайно покойны для езды и бывают некоторые так быстры, что нужно доброго скакуна, чтобы опередить. Проездные кони ценятся дорого.), а если я ошибаюсь, то с двумя [409] легко будет справиться... Цукур-Долгов («Цукур» по-горски значит кривой. Урядник Долгов

был кривой на левый глаз. У нас нередко называли, вместо имени, по какой-нибудь особой примете.) с Евсеевым стерегут их на дороге».

Через несколько минут, собаки наши воротились, махая хвостами, а вместе за ними, вместе с пластунами, приехали и посланные Багарсуковым. Сойдя с коней, они отвели князя в сторону и между ними завязался тихий, но жаркий разговор, что можно было заключить по жестам.

Разговор продолжался минут десять. Багарсуков подошел ко мне и сказал: «Паллон! ми-эи-охур гух хунос, са козганонос Мурзук-Салай кагарейгуа, кахояр арс нах магар си гугар» (буквальный перевод: «Паллон (Я уже говорил прежде, что горцы меня перекрестили из Аполлона в «Паллона».)! дело будет трудное; я тебе оставляю Мурзук-Салая проводником; случилось то, чего я менее всего ожидал». Он продолжал: «Если мы успеем занять дорогу от Теректли-Мектепа к нашим аулам, то можем захватить живьем треклятого бездельника Магомед-Амина, а нет, так мне, пожалуй, придется поплатиться головой. Если мне его придется убить, то мы многого не узнаем. Я поеду устроить встречу, а тебя Салай проведет на засаду, в скрытное место на дороге к Мектепу, откуда Магомед-Амин, около полудня, поедет в аул к моему брату, с которым они большие друзья. Ты оставайся здесь с час времени, и пока прочитай что тебе записал Волков. В случае неудачи, Салай знает место, где вы скроетесь от преследования наших; а как возвратиться на линию — твои пластуны дорогу знают лучше горцев».

Багарсуков тяжело вздохнул и добавил: «Да, действительно, наши сами губят себя не изучая местности, как ваши пластуны: вследствие этого-то, их много, много пропало от неведения своей и вашей местности. У нас нет ни благоразумия, ни предосторожности, а, главное, нет единства; есть только какое-то безобразное соревнование, скорее вредное, чем полезное. Магомед-Амин этим пользуется, и увидишь, что, если он достигнет цели, то много будет бед нашим от вас, и вам от него на линии. Я поеду теперь в аул к брату, и если тебе не посчастливится захватить или убить Амина, то я там нужнее для общей нашей пользы, где могу узнать многое, не взирая на то, что Магомед-Амин ненавидит меня и страшится так же, как султана Ерынова... Брат [410] глуп и упрям, но любит меня; князя упали духом; горцы наши находятся под обаянием, но, несмотря на все это, я не отступлю: выдержу до последней крайности, не иначе покину мою цель, мои права, как истощив все мои усилия, все мои силы и средства, и если мне придется покинуть их, возвращусь, во что бы то ни стало, чтоб страшно мстить»!

Багарсуков вдруг замолчал: глаза его горели; он принял грозную величавую позу и был дьявольски хорош и ужасен в эту минуту.

— Я не желал бы, — отвечал я, — принадлежать к числу тех, которые отчаиваются или сомневаются в успехе нашей теперешней поездки, или в успехе в будущем; но так как ты желаешь, чтобы я высказал свое мнение откровенно, то не могу не заявить тебе сомнения в успехе нашего предположения...

— Понимаю тебя, Паллон, и соглашаюсь с тобой. Да, я сам сомневаюсь в успехе... Но, клянусь тебе, я не оставлю своего намерения... Придется только подождать... И притом, ведь поразить Магомед-Амина, где бы-то ни было, все-таки значить поразить его... Да и как не повести этого дела при таких важных обстоятельствах?... Лучше откажусь от всех благ в мире... Знаю, пройдоха Амин пронюхал что именно ему грозит, тем более, что мне раз уже не удалось его убить; он это подозревает и, конечно, охранит себя. Значит, опять препятствие... Нет, видно, ничего не выйдет из проклятой борьбы... Именно «проклятой» хотя ее и одобрил сам Волков... Беспрестанные помехи... Не то, так другое... Ну, да ты,

Паллон, что ты думаешь о моей цели? Скажи мне, прошу тебя, откровенно. Не будет успеха?.. А?..

— Я уже начал тебе высказывать свое мнение, но ты перебил меня, князь. Итак слушай: цель твоя, цель благая ты мирным путем хочешь достигнуть благоденствия своих горцев, не ссорясь с нашими, и на этом основать родовую свои власть, подорванную в основании Магомед-Амином; но ты ее вряд ли достигнешь этим. Князья, ты сам говоришь, упали духом, притом они никогда власти действительной не имели; народ за Магомед-Амина; он хитрый и умный проходимец; с ним бороться тебе не по силам, когда все и всё на его стороне, а наша помощь тут неуместна... У нас есть оружие, есть начальник линии, и мы не убийством Магомед-Амина, а силой и умом покорим не только Амина, а и всех горцев. Ты хорошо это понимаешь... У нашего Царя слова «победить и успокоить народ от [411] набегов горцев» составляют закон для его войск. Они не отступят ни перед каким препятствием.

— Пожалуй, ты по своему и прав, но я не так думаю. Слушай: если мне удастся убить Амина, то князья и старшины увидят во мне могучую силу и слепо будут повиноваться ей, а за ними и все горцы. Ты знаешь наших не совсем: это взрослые дети, для которых нужна нянька, и чем нянька больше будет их понукать, тем ее власть будет крепче и сильнее. Амин хитростью овладел их умами, я же овладею ими своею непреклонной волей. Ведь я подчинился безусловно воле Волкова для того, чтобы повести своих куда захочу. Соединясь с вами, мы составим твердый оплот на границах от Черного до Каспийского моря, и власть Шамиля разрушится в силу этого обстоятельства, чему способствовать еще будет его невыносимый деспотизм. Он останется один, а «один в поле не воин», как говорится у вас. Вот что я хочу сделать — и сделаю. Это не пустая мечта страдающего самолюбия, а будущность всех горцев.

— Положим, цель твоя хороша, да исполнить ее не так легко, как ты предполагаешь. Я знаю настолько горца, чтобы тебе сказать прямо: ты затеял реформу не только пересоздать нравы и обычаи, укоренившиеся веками вместе с фанатизмом мюридизма, но и историю горского народа. Казават, друг Магомед, был и не у таких дикарей, как горцы: он истребил сотни тысяч людей... Ты говоришь, что подчинился Волкову, и на этом влиянии хочешь основать свою власть на народ: но сравни себя с ним, твои средства с его средствами, и ты увидишь, что это дается не всем и каждому. Говоря по-дружески, скажу тебе: узнай горцев и то, что они говорят и думают о тебе, также и то, что говорят наши о Волкове».

Несколько минут Магомед стоял молча; казалось, новая мысль озарила его ум, но глубоко засевшая идея осилила и натура горца взяла свое, Он, махнув рукой, сказал: «Что будет, то будет, а я потягаюсь с Амином. Пока прощай или, лучше, до свиданья; мы и так заговорились, а время не ждет. Я надеюсь, что будет удача, и ты сделаешь все, что только будешь в силах сделать. Я не знаю что тебе Волков записал, но знаю, что он мне худого сделать, не захочет: это не по нем. Если же мне не удастся, то у меня явилась новая мысль: не знаю только, которая из них лучше... скажу только, что цель все одна и та же. До свиданья».

Легко вскочил на седло Багарсуков; нагайка свистнула в [412] воздухе, и сильный конь, вздрогнув от удара, вынес его птицей из котловины. Вскоре затих мирный топот удалявшихся всадников: один только ветер гулял по верхушкам могучих деревьев, ударяя одну о другую, да вдали выли шакалы, как бы напевая похоронную песнь...

По отъезде Багарсукова, я подошел к огню; мысли роились в голове, цепляясь одна за другую и не выдвигая вперед ни одной. Магомед Багарсуков еще первый раз так откровенно высказался мне, не взирая на то, что, пользуясь полным доверием Волкова, я знал большую часть намерений князя; но здесь он явил себя в новом свете. Чтобы уяснить себе цель моей настоящей поездки, я достал, данную мне Волковым, секретную записку. В ней я прочел, на сколько припомню, следующее: «Багарсуков — горячая голова с сердцем горца, он мне всегда пригоден; но помни, что он честолюбивый горец, а волк всегда волк. Будь осторожен, замыслы его дики, но нам они полезны: пусть собаки грызутся — это их дело; но мне жаль будет его как человека, если он погибнет, и погибнет без пользы: тогда Амин еще более повлияет на горцев, а это надо отвратить. Не рискуй, однако, без верного расчета на удачу: это мое желание, помни его; ведь ты хорошо понимаешь мои действия и образ мыслей: где служба, там я только начальник, а не П.А. Волков».

Теперь мне стало ясно все. Я решил не ждать, а стараться воспользоваться всеми случайностями... Костер был потушен, мы сели на коней, и Салай повел нас. Путь был неблизок, тем более, что нам, с наступлением рассвета, нужно было скрываться и проезжать по таким трущобам, куда сам шайтан не сунется без оглядки, а пока, под кровом тумана, нужно было проскочить тенью равнину и пробраться прогалиной между Длинным и Псеменским лесами до ущелий в отрогах высот, прилегающих к Черным горам. Я сказал об этом Салаю; мы взяли наших собак на своры и понеслись на полных рысях, следуя на хвостах друг друга.

Под такт конского бега, мои мысли опережали одна другую; не оставляя главной темы намерений Багарсукова. Соображая их с письменной-данной мне инструкцией Волкова, мне в первый раз приходилось быть в неопределенном, двусмысленном положении; но этого требовала двойная обязанность: к исполнению службы пластуна и по чувству к человеку. Багарсуков, в самом деле, был один из тех людей, которые способны действовать, [413] но не направлять действия. Его энергия была удивительная и полезна, когда при нем были сильные двигатели, или даже один необыкновенный человек. Но он ни по происхождению, ни по натуре не был способен без постороннего участия совершить необыкновенный подвиг... Ему не доставало на то силы. Под влиянием своей мысли и П.А. Волкова, он готов был на решительный подвиг; но теперь, как он намекал мне о том, его роль значительно изменилась: ему теперь приходилось не открыто сражаться с врагом, а строить новые ковы, а в таком опасном деле трудно приискать помощников. Но, как видно, он надеялся на тех самых людей, в силу которых убедился на опыте: на атлета султана Ерыкова и Магомед-султана Урупского. Но он, по-видимому, не рассчитал, что у них у всех трех одна цель, и что Магомед-Амин зорко следил за этим триумvirатом.

Стлавшийся густыми слоями туман начал подниматься; на востоке стало светлей; моросивший дождь, как бы слившись в одну массу с туманом, уносился свежим восточным ветром. Кони, ободренные появлением утренней зари, прибавили ходу, и, весело фыркая, попрашивали поводья, как бы спеша навстречу грядущему ясному дню.

Мы давно уже миновали равнину между Длинным и Псеменским лесами. Впереди, верстах в двух, по временам декоративно выступали из-за туманного крова, облитые розовым отливом, гигантские массы шиферных скал с уступами предгорий Черного хребта, и с их мрачными ущельями зиявшими черными пастьми, среди которых валил седой туман. Восток все более алел, переходя в огненный пурпур. Поднявшийся туман дружно примкнул к валунам туч, гонимых и разрывааемых порывистым ветром, мчал их к снежному хребту, оставляя задевавшиеся за вершины гор облака, как будто закрывая их шапкой, или они, стелясь длинной лентой, бежали по уступам скал. Мы начали зигзагом

взбираться на крутую, поросшую зарослями отрогу, чтобы обогнуть аул Кубати Батыева, и достигли уже до полгоры. Собаки наши давно были спущены со свор и шныряли по сухим кустам, то впереди, то сзади нас. Вдруг мой «Соколка» подал голос и бросился стремглав под гору, а за ним все псы, заливаясь как «по-зрячему». Это заставило нас остановиться. Левее нашего подъема, выехали на только что оставленную нами долину четыре всадника. Они, по-видимому, еще не замечали нас, но собаки обратили их внимание, и они остановились в раздумье, полагая, [414] вероятно, что то аульные псы, начали кликать их по-горски. Я послал Салая и Фомичева (которого и самый опытный глаз не отличил бы от шапсуга или убыха, как по одежде, вооружений, так по лицу и выговору), отвлечь горцев, пока мы спустимся с высоты и угоним их. Салай с Фомичевым должны были разыграть роль охотников. Это нам вполне удалось. Горцы, видя спускавшихся прямо на них двух всадников, стали их поджидать. Они съехались. Наши ловко завязали разговор. Немного погодя, они все вместе потянули по дороге мимо кладбища, что нам давало полную возможность спуститься незамеченными и отрезать путь к аулу. Салай и Фомичев мастерки их задерживали, пока мы имели время засесть на засаду в балке, поросшей кустами близ самого кладбища. Оставив коней с тремя пластунами, мы взобрались на окраину и притаились в кустах. Ермолаев три раза крикнул фазаном. Фомичев понял условный сигнал и, подозвав собак, отделился с ними вперед, как бы посылая их поднять птицу. Он выхватил из чехла винтовку и, миновав нас, остановился, оборотив коня навстречу едущим. Сверкнули выстрелы, и трое горцев грянули оземь без жизни и движения. Четвертый остался невредим, и его легко раненый конь, взвившись на дыбы, бросился стрелой прямо к аулу; но Фомичев был начеку и бросился наперерез. Горец, повернув коня к небольшому леску прилегавшему к аулу, летел птицей... И Фомичев, с собаками, погнался, однако не далее выстрела близился, выигрывая, на каждый конский скок своего чубарого кабардинца. Наконец, оба исчезли за леском. Ермолаев понесся следом за ними. Салай, по-видимому не ожидавший такой разделки за неосторожную встречу, совершенно растерялся; но я его скоро утешил, отдав ему свой пистолет и пять монет, т.е. целковых, взамен чего взял лучшее оружие с убитых, которых мы сбросили в балку. Коней и оружие получше пластуны взяли себе.

— Салай! ведь ты знаешь зачем мы едем? — спросил я, — «так жалеть этих дураков нечего; кто они такие? ты их знаешь?»

— Знаю, — отвечал он, — это баракай-касаевцы из аула Кенды, и тот, что ускакал — мой кунак. Беда, если он останется жив: у него два брата и канлы (кровомщенья) мне не миновать. Пропал, я, пропала моя семья».

— Не бойся; ты знаешь Фомича и Ермолая: они и у шайтана в когтях вырвут твоего кунака. [415]

Как бы в подтверждение моих слов, вдали раздался одиночный выстрел и затем все притихло кругом. Мы насторожили уши. Так прошло около часа.

Лучи веселого осеннего солнца все выше, да выше взбирались наверх и заглянули через горы в долину, осветили камни на могилах кладбища, играя в блестящих каплях оставшейся росы.

В ауле появилась жизнь; несколько сакельных труб задымились; скот потянул к водопою на речку...

— «Слышите», сказал Цукур, и припал ухом к земле: «это наши, но их только двое едут, вот с этой стороны; знать горским конем они не поживились».

И, действительно, минут через десять или двенадцать показались из-за угла в конце балки сперва собаки, а за ними оба урядника: у Ермолаева были две винтовки за плечами, ясно свидетельствовавшие, что горцу не удалось уйти. Когда они подъехали, мы сели на коней без дальнейших расспросов, чего у нас и не водилось, коль скоро дело обходилось удачно. Уходили — так уходили: вечная память! Это была отличительная черта характера истого пластуна.

— По какой же мы дороге поедem? — спросил Ермолаев, — нужно ли спуститься к аулу брата Багарсукова?

Салай отвечал: — «Нет, Ермолай, вскарабкаемcя прежде наверх и потом поедem в обход: если нас увидят в низовьях долины наши махош или бесленей, то тотчас догадаются о цели нашего появления, и мы можем потерпеть неудачу. Отправимся обходным путем и потом спустимся к аулу князя Измаила Багарсукова; это хотя дальше, но зато безопаснее».

— Дьявол! — воскликнул Ермолаев, — это адский подъем! Бедный мой конь до того утомился в гоньбе за горцем, что едва передвигает ноги. Черт!..

Но делать было нечего. Невзирая на все неудовольствие, пришлось Ермолаеву подниматься вместе с нами действительно на адский подъем.

За час до полудня мы уже были на месте, назначенном для засады; но, чтобы добраться до него, нам надо было то подниматься, то спускаться почти по отвесным кручам, проезжать ущелья, мрачные и закрытые до того густым и влажным туманом, что одежда наша совершенно промокла. Мы миновали не один горный поток, до того глубокий и быстрый, что вода перекидывалась через [416] седло, или приходилось лепиться по едва заметной тропе над обрывом, огибая исполинский гигант, выступавший вперед из общей гряды и как будто стороживший товарищей. Сколько дивных каскадов свергалось с высот над нашими головами! Все эти дикие, но дивные картины озаряло веселое осеннее солнце. Одни лишь горные беркуты, гнездясь в расселинах, пронзительно перекликались, да порой появлялся горный тур и, испуганный нами, то прыдал через страшные пропасти, то свергался в них, падая на свои железные рога.

Мы все притаились за высокими каменьями, среди густых зарослей Аларадьгского ущелья, лежащего на середине пути между Теректли-мектепом и Махошевским аулом князя Измаила Багарсукова. Кони и собаки наши были помещены, под надзором пластунов Алемельева и Хорошеньского, в глубокой огромной пещере, прикрытой пожелтевшей, но еще густой листвой ползучих лиан, вьющихся между высоких зарослей, за которыми стоял густой камыш, замыкая собой вход в пещеру. Фомичев, Евсеев, Коротков и Цукур пошли осмотреть дорогу и ознакомиться с местностью. Мандруйко вымерял шагами расстояние, на которое нам приходилось стрелять наверняка. Все было подготовлено, все было между нами обусловлено и неудача не должна была иметь места. Возвратившись с обзора, старые пластуны сказали, что со вчерашнего вечера еще никто не проезжал по этой дороге, и мы стали терпеливо поджидать лакомую добычу.

Давно прошел полдень; солнце склонилось за горы, бросая вверх прощальные лучи, а кроме одного проехавшего бай-гуша (Бай-гуш — бедняк, оборванец.) на кляче, никого не появлялось на дороге; но мы надеялись дожидаться проезда запоздавшего Магомед-Амина, имея в виду слова Багарсукова, или если не Амина, то Багарсукова, или же посланного им по нашему делу. Наступила холодная и ясная ночь, а ожидаемых не было... Месяц украдкой выглядывал из-за высившихся уступов впереди нас, порой и совершенно

скрывался от нас за набегавшие тучки. К свету нужно было ждать мороза; Оставив двоих на засаде, мы развели огонь в глубине пещеры, в верху которой трещина служила нам трубой, и принялись застряпню, причем главную роль разыгрывали: «накульт, шиказы, кой-нет чирем, ливжа и кой» («Накульт», копченая колбаса с чесноком, перцем, солью и всякой всячиной; «ши-козы», конина завяленная полосками на солнце; «кой-нет чирем» так же приготовленное мясо, только не конское; «ливжа», сушеное мясо дичи высушенное в печи вместе с костями и столченное в порошок; «ливжа» заменяла бульон и была приправой ко всему, что только готовилось на воде. «Кой», или по-ногайски и кумыкски «бышлек», соленый овечий сыр с пряностями. При этом калмыцкий чай играл не последнюю роль.). Эти походные наши запасы, после [417] долгого поста и после доброй чарки горилки, казались превосходными.

Крепко и здорово нам спалось в сырой и душной пещере, и только появление первых лучей солнца морозного утра вызвали нас на воздух. Всю ночь, посменно, очередовались хлопцы, карауля на засаде, но все было тихо и спокойно.

Как только смерклось, я послал Салая к Багарсукову узнать что-нибудь положительно о настоящем положении дел и что значит его молчание. Перед рассветом Салай возвратился.

— Ну что, Салай, привез нового? — спросил я его.

— Много, да мало хорошего.

— Ну, говори скорее, да говори дело; ты знаешь, я не люблю попусту болтать и не люблю тратить попусту время, когда дело на носу.

— Я и сам не краснобай-сказочник... Слушай: князя Магомеда нет в ауле; его вызвал Мамомед-Амин в Мектеп, куда пригласил также много князей, старшин и узденей. Мулла Качук-Ирбанов и хаджи (Хаджи — богомолец, бывал сам в Мекке и Медине, или нанимавший за себя поклониться Каабе, священному камню в мечети Мекки. Отличительная принадлежность хаджи есть чалма ила белый завив из кисеи, бязи или полотна. Зеленый же завив обозначает потомка пророка Магомеда. Они носятся горцами на папах.) Керам Наврузов, да Балай Адды-хан поехали тоже. Дело будет большое, верно опять шарият, опять «адагосса», т.е. совет старшин; но о чем — никто у нас в ауле не знает. Прежде я заезжал в аул князя Измаила; там был наш князь, но пробыл недолго и, вместе с братом, уехал в свой аул, а оттуда они поехали к эмиру. Дома Магомед долго спорил и ругался с хаджи Керимом и братом, а о чем — мой брат Изукой не понял; только видно, что о Магомед-Амине была речь (они говорили по-кабардински, а Изукой не понимает хорошо этого языка). Уезжая, князь сказал Изукою: «если увидишь Салая, то скажи, чтобы он до послезавтра т.е. нынешнего утра, оставался там, где был, и ждал до полудня, и даже до вечера, а если не дождется, то пусть приедет в Мектеп».

— Ну все это хорошо, да немного же ты узнал; впрочем, спасибо и за то. Подождем до вечера, а там ты опять ступай, и [418] если сам не вернешься к свету, то скажи князю Магомеду, что я вернулся на линию.

— Хорошо, я возвращусь до рассвета, а теперь дай поесть и немного соснуть: крепко устал, да и невесело на сердце. Не будет тут добра, где сам шайтан думает надвое.

— Иди, Салай, ешь и спи, я тебя разбужу, когда будет время ехать.

Обманутое ожидание и неопределенность положения тягостно повлияли не только на меня, но и на мою испытанную команду, и притом настолько, что Фомичев, Еремкин и Ермолаев предлагали мне свои услуги: отправиться разведать, что такое творится в Мектепе. Фомичев, которому первому пришла эта отчасти благоразумная мысль, добавил: «Все пойдет хорошо для нас и дурно для них; мы отложим свое предприятие до более удобного времени, откроем, во что бы то ни стало, предателей, а они должны быть у Магомед-Амина... Князь Магомед умен, это правда, да не умеет похитрить, там где следует, и легко попадает в западню, считая себя крепко разумным и проникательным, а, главное, сильно рассчитывает на преданность к нему его махошевцев, из которых и десятка не наберется, на кого бы он мог вполне положиться. Если мы сами примемся за дело уходить Амина, так будет вернее... мы выследим зверя в его норе».

— «Так-то так, я согласен с тобой, да это несогласно с приказанием Волкова, а потому будем теперь делать все то, что только возможно, чтобы исполнить данное приказание, а после увидим, что и как надо сделать».

Едва мы перестали говорить, как по дороге от аула Измаила послышался конский топот. Мы притаились, заняв каждый свой пост. Через несколько минут показались два всадника и в одном из них мы узнали нашего давнишнего кунака, махошевского узденя Магомед-Билея: другая личность, на сильном и статном коне, была не видна из-за выброшенного на лицо башлыка, из-под которого виднелись только одни глаза. Конь и оружие соблазнили моих товарищей-пластунов, и я не успел распорядиться — остановить их, как сверкнули два выстрела по всадникам, поравнявшимся с нами... Неизвестный горец тихо, без стога, скатился с седла и повис на стремях: он так крепко стиснул пальцы руки державшей поводья, что конь его начал крутиться на месте, затянутый поводом. Магомедка ошалел было на миг, но вслед затем взвилась в воздухе плеть, и конь, задержанный на поводках, [419] взвился в дыбы и бросился широким скачком вперед... Было уже поздно. Два пластуна точно из земли выросли перед удивленным Билеем спереди и двое тоже с винтовками наголо позади его. «Слезай, Магомедка, с коня, ведь не по тебе стреляли; ты не бойся, кунак, мы тебя сами бережем». Слова эти заставили Билея, волей неволей, повиноваться, и он, как истый горец, попавшийся врасплох и крепко струсивший, чего ему никак не хотелось выказать, быстро соскочил с коня и сказал: «Благодарю, что бережете меня, видно Магомед нужен. Эх вас шайтан угодил куда забраться; да на этой дороге вы пожалуй перестреляете как фазанов встречного и поперечного».

— Ну, здорово, кунак; «ни хабар» — что нового?

— Не знаю, Паллон, что будешь спрашивать, а нового у нас много; дня через три-четыре я хотел ехать в Вознесенскую, и рассказать Волкову, что творится в горах с новыми порядками и распорядками Магомед-Амина. Но здесь говорить не место: нас могут увидеть, и тогда ни мне, и, пожалуй, ни вам несдобровать. Веди лучше сесть на коней и поедем в ущелье Адагир; оно в нескольких шагах; мы там будем ровно в крепости.

— Не беспокойся; я говорить с тобой буду не на дороге, которую мы, как ты видишь, стережем, и потому ее не оставим; об этом разговаривать нечего, а в Адагир ехать незачем. Пойдем со мной и веди коня; у нас, дружище, есть где принять и угостить дорогого гостя.

— «Да, спасибо! ловко твои меня встретили и вкусно бы угостили, если бы я так же закутался как мой спутник. Мои кунаки ровно «шайтан пхуз, ана сектым», добавил он, ругнув, по обычаю горцев, скоромным словом.

— Кто он!

— Мюрид, хаджи Агассы-оглы — Чамбу, присланный имамом Шамилем к шейху Магомед-Амину по важному делу, и он ехал с «кагатом» (пропуск) в Мектеп.

Слушая его рассказ, мы достигли пещеры, куда вошли сами и куда введены были кони убитого мюрида и Билея. На засаде за старшего я велел оставаться Фомичеву, строго приказав не увлекаться вперед ни конем, ни оружием едущих и помнить наказ Волкова — «осторожность». Если же заметят что-нибудь особенного, то в ту же минуту давать мне знать. Ермолаеву я приказал прийти в пещеру. Я знал, что от этого опытного пластуна, умного, расторопного и отлично знавшего не только все горные наречия [420] правого крыла, но и до самых сокровенных тайников натуру горца, не ускользнет ни малейшее обстоятельство из того, что мог сообщить Билей. Он всегда как-то особенно мастерски умел выведать нужное.

— Ну, кунак! видишь, какая у нас кунакская (Кунакская сакля, кунакская приемная комната, тоже, что наши приемные парадные комнаты. Вообще азиатцы, даже бедняки, ни за что не примут стороннего на семейной половине; исключения чрезвычайно редки, особенно не для единоверца.), не хуже ханского дворца.

Молча озирался Билей; по всему было видно, что он не только не знал, но и не подозревал существования этого вертепа.

— Эк, Паллон, куда ты забрался! я здесь давно не был и забыл про эту «богождаг», пещеру. Как ты ее отыскал, когда наши горцы и не подозревают ее существования?

— Э, любезный, мало ли что мы знаем лучше, чем вы в своих горах. Ты видишь, мы здесь, а ты не ври, что попал сюда не в первый раз. Хочешь араки (т.е. водки) и закусить, а потом поговорим?

— «Кодго-вишь, сигнапсальта зы зангапсох зыбенангижи гус, нахавш мажальтам нахораса дугоссальтандра си схагам, а мюридир кзепсальташ са, ар схаосуго-кичас («Хорошо, дай развязать язык и освежить голову; сытый лучше голодного, а я со вчерашнего дня еще не ел ничего: этот мюрид проговорил мне на животе дыру»). Привожу здесь эти несколько слов, как образец манеры и оборота кабардинской речи моего кунака, славившегося даром и игрою слов между своими; по-русски я перевел слово в слово.

— Откуда ты его взял?

— Меня посылал Магомед-Амин за Кубань, для встречи его в Карачае, недалеко от вашего поста Яман-Джами, в ауле Джембота; знаешь?..

— Знаю, а у кого он там останавливался?

— У хаджи Кубати Адасарова; а тебе на что это знать, Паллон?

— Да так, к слову пришлось.

— Биллях! большой руки плут этот хаджи!

— Ну, теперь больше плутовать не станет.

— Теперь он, пожалуй, думает надуть самого шайтана, которому достался на шашлык...

Так, перекидывая словами, мой кунак исправно оказывал [421] честь нашей походной трапезе, и выпитые им две-три лишние чарки араки совсем развязали его язык.

В настоящем моем рассказе я передам кратко самую суть сообщенного мне Билею о ходе событий относительно преднамерений Магомед-Амина, которые впоследствии в скором времени, большей частью, подтвердились, и потому сведения эти были фактическими и заслуживающими своего рода внимания.

Нелишним считаю заметить, что личность Магомед-Билея рельефно выступает из ряда его земляков того времени. Он вырос в Стамбуле, куда был продан еще ребенком, и, попав к анатолийскому сардарю, выучился арабской грамоте, вообще образовал себя настолько, что впоследствии занимал довольно видное место при покойном султани, и только страсть к прекрасному полу остановила его блестящую карьеру. Он, после неудачного посещения султанского гарема, чтобы спасти свою голову, должен был бежать на родину. Светлый и хитрый ум его, умнее ловко пользоваться всякими средствами для достижения цели, делали его самым деятельным и лучшим нашим лазутчиком. Он вел так хорошо свои делишки, что был в большом уважении и полной доверенности не только у всех влиятельных народных личностей, но пользовался и особой внимательностью самого Магомед-Амина, считавшего его за слепое свое орудие.

Магомед-Билей рассказал мне почти все подробности борьбы между князьями, народом и Магомед-Амином с изумительно верным и с точным описанием всех предшествовавших событий, частью уже изложенных в моем рассказе — ссоры Амина с Багарсуковым, Ерыковым и Магомед-Султаном. Он, кажется, проник в самые сокровенные мысли этих соискателей на народную власть и, зная каждого, ловко и верно обрисовывал личность каждого, и только, по-видимому, боялся одного султана Ерыкова, а потому более других его ненавидел. Багарсукова он, быть может, любил и уважал по-своему, но не поздоровилось бы ему, если бы князь подслушал речь его о нем. Магомед-Султан он презирал, а Магомед-Амин, как видно, был его любимый конек и на нем он рассчитывал проехаться в мутной водице. Кажется, только одна была у него личность, которой он не мог постичь — личность Волкова, всегда щедрого, всегда скрытного и всегда умевшего выпытать у Билея что нужно, который не смел соврать «ни на абасс» (Абасс, грузинская серебряная монета в 20 копеек серебром.). [422]

Наконец, Билей перешел к событию недавно случившемуся, именно, что Багарсуков, задетый за живое резким отзывом о нем при собрании старшин и народа, решил убить Магомед-Амина, для чего подговорил человек более десятка махосевцев, и они засели в засаде. Но Магомед-Амин, вероятно предупрежденный, в этот день не поехал, а на утро собрал себе нечто вроде почетного конвоя, числом с полсотни людей, и, окруженный ими, отправился, как видно нарочно, по дороге, где была засада. Багарсуков не выдержал, рассчитывая, что его соучастники сделают то же, выстрелил, но пуля задела только папаху Амина. Произошла «тамаша»; все конвойные бросились по зарослям на выстрел, но Багарсуков успел скрыться и ускакал в отчаянии домой. Узнав это, Амин не сказал ни слова бывшим на засаде, но, обратясь к своему конвою, выставил поступок Багарсукова, объявив что он будет требовать народного суда, пренебрегая личной мстью. Таким образом для него объяснилась причина поездки Багарсукова в Теректли-Мектеп, где собрался «адагосса». Об убитом пластунами мюриде, Билей сумел выведать, что он послан был имамом с решительным поручением принять его именем народную власть, рассчитывая на преданность своего найба, т.е. заместника, но Магомед-Амин хлопотал не для своего патрона, а хотел власти собственно для себя. Шамиль предназначил с

открытием весны поднять весь Дагестан, взволновать обе Чечни и обе Кабарды, действуя одновременно от Качкальковских высот на обе стороны, чем думал заставить наши войска разъединиться. При этом он сильно рассчитывал на содействие Магомед-Амина на правом крыле, которому советовал обольстить всеми мерами мирных и вызвать с их стороны враждебные действия заодно с немирными, а также поднять и нагайцев, живущих аулами по Кубани. В Карачаев от имама был послан также доверенный мюрид. Этим последним известий Магомед-Амин еще не знал, а нам они дались как клад в руку.

Весна была еще, далека, и планы не могли частью осуществиться, так как рано наступившая зима была крепко неблагоприятна для замыслов горцев и по своей суровости, и от непрерывных наших набегов. Ко всему этому, Амин крепко хлопотал о своей народной власти, в чем его поддерживали в Константинополе, для чего нужно было уничтожение влияния племенных князей и старшин. Но обратимся к Багарсукову. [423]

До времени отправления Салая к князю, Фомичев несколько раз давал мне знать о проезжающих по дороге к Мектепу горцах. Они ехали, большей частью, партиями от 2-5 человек, и только раз проехало их человек более двадцати. При всей заманчивости поживы, пластуны, как было приказано, терпеливо выжидали, и это терпение спасло не одну жизнь. Салай был разбужен и отправлен, причем произошла не многоречивая, но до крайности комическая сцена между им и Билеем, не знавшим о близости опасного свидетеля его рассказа, свидетеля по-видимому спящего, но также могшего и не спать. Ермолаев выручил Билея из неловкого положения, сказав Салаю: «Что ты вылупил глаза на Билея, или не узнал его: он, любезный, попал к нам из-под пули с засады, на которой убит его товарищ, а ты все это время дрыхнул; ну, да и тебя пора отпустить к твоей марушке, ты тоже попал к нам неволей. Смотри: если словом, делом или даже взглядом выдашь нас, так помни меня — от моей канлы, милый, не спрячешься и в утробе самого сатаны. Пойдем, я выпровожу тебя на дорогу к твоему аулу». С этим словом, сметливый урядник вышел с Салаем, взявшим своего коня. Речь Ермолаева и самое изумление Салая достаточно успокоили Билея. Он убедился, что Салай, действительно, спал и попался тоже случайно к нам в гости, как и сам он, и что жизнью обязан верно только старому куначеству с Фомичевым и Ермолаевым. При этом Билей вспомнил о себе и придумал сыграть комедию с Магомед-Амином.

— Ты, Паллон, как будешь уезжать отсюда, уведи коня и возьми мое оружие, я за ними приду к тебе скоро, а меня привяжи с завязанным ртом к дереву, что на дороге из ущелья к Мектепу. Я скажу Амину, что мы на троих конных пластунов нечаянно наткнулись, и они, убив мюрида, меня обобрали только, благодаря знакомству не убили, а привязали. Ну, да я уже знаю как лучше сказать.

— Хорошо, это твое дело; я тебя велю не только привязать, а, если хочешь, пожалуй и повесить хоть за ноги на любом суку.

— Нет, кунак, так пожалуйста даже в шутку не говори; ты знаешь, что вернее меня у вас нет лазутчика.

И затем, выпив на грядущий сон добрую чарку араки, наш кунак заснул мертвым сном, как видно совершенно успокоенный, в полной уверенности, что получит хорошее вознаграждение от Волкова за все сообщенное мне. [424]

Далеко до рассвета возвратился Салай; его встретили на месте засады, окликнув условным сигналом, чтобы опять не дать ему встретиться с Билеем.

— Ну, что же ты сделал Салай?

— Сделал-то я ничего не сделал, а слышать и видеть довелось многое. Нашего князя будут судить и непременно изведут эти мошенники «адагосса», которые боятся Магомед-Амина больше чем попасть в джегенем (ад).

— О! это еще не так легко!

— Легко, Паллон, — возразил Салай. — Я видел и слышал, о всех хитростях Магомед-Амина и его друзей, может быть так же ясно, как они сами их видят, и если бы я не был так ничтожен, если бы у меня всегда доставало смелости, я бы сказал судьям...

— Посмотрим, что бы ты сказал? говори.

— Что бы я сказал им? — проговорил в раздумье Салай. — Ну, да очень просто, Паллон, слушай!

Тут Салай принялся комментировать и опровергать слышанную речь Магомед-Амина, говоренную им старшинам при народе. Из слов Салай видно было, что Магомед-Амин имел в нем небессильного обвинителя перед народом. На все мои возражения у Салай был готовый ответ.

В заключение своей речи Салай добавил, что князь Магомед надеется оправдать себя в глазах всех; но как теперь пока еще не время, да и невозможно исполнить его намерение относительно Амина, то Багарсуков советует мне втихомолку возвратиться на линию, чтобы и не подозревали его в сношении с нами относительно засады. Затем Салай поехал обратно. «Адагосса» должен был собраться в Мектепе на утро.

Было еще около двух часов до рассвета и я велел собираться в путь. С Билеем мы поступили, как он просил, т.е. связали и оставили привязанным к дереву близ Теректли-Мектепа, куда переволокли на коне тело убитого мюрида, чтобы еще удачнее разыграть затеянную Билеем комедию с Амином. Салай более он не страшился потому, что они оба знали друг за другом разные темные делишки, а потому должны были полагаться на взаимную скромность.

К вечеру того же дня мы были уже в Вознесенской. Я отдал полный и подробный отчет начальнику линии о нашей неудавшейся поездке. [425]

Через пять-шесть дней, почти одновременно, приехали в Вознесенскую станицу Магомед-Билей, явившийся прямо к Волкову, и Мурзук-Салай, остановившийся у меня. Они оба рассказали почти одни и те же подробности бывшего «адагосса» и затем о внезапной смерти Магомед-Багарсукова.

По их словам, около полудня, на майдане (Майдан, по-горски, площадь.), в ауле Теректли-Мектепе собралось до полусотни князей, старшин, мулл, кади, хаджи и узденей; простых горцев было более трехсот из среды всех племен, и по преимуществу все «асакаллы» (Асакал — большая борода. Франты окрашивали ее хной в красный цвет. У азиатцев нередко ум и опытность меряются длиной и сединой бороды.).

Магомед-Амин в длинной речи изложил настоящее положение горцев, теснимых русскими в их вековых владениях, ярко выставил и осветил картины разорений и указал на ничтожное вознаграждение от грабежей на линии и за Кубанью; сказал, что причиной

всего этому их неурядицы; долго говорил о силе и могуществе Шамиля в Дагестане и в Чечнях, соединившего в себе власть, но и тут ввернул словцо о его деспотизме, как бы ненароком сравнивая себя и выставляя свою личность в лучшем свете. Проповедуя единение власти, он ловко перешел к казавату. Высказал много примеров из прошлого, до занятия Лабы казаками, еще свежего в памяти стариков времени, когда сборища, и даже мелкие партии, безнаказанно грабили за Кубанью и возвращались с богатой добычей скота и пленных, и все это приписывал известным влиятельным личностям, которые жили между собой, как одна душа в разных телах. Одним словом, явил себя в полном блеске великим оратором-краснобаем, сильно повлиявшим на умы слушателей. Видя произведенное впечатление, он указал на князя Багарсукова, как на виновника настоящей неурядицы властей, как на «туарека», т.е. вероотступника и друга русских, который добивается единовластия с тем, чтобы предать всех горцев русским; прибавил, что тогда их поодиночке перешлют в Сибирь и будут брать в солдаты. Доказательством всего он приводил домогательства князя о старшинстве среди князей, его дружбу с Волковым, и, наконец, излил всю злобу за посягательство на него, Амина, убить из засады, причем сослался, как на очевидцев, на свою охранную дружину и на узденя Магомед-Махоша. Он просил рассудить его с [426] Багарсуковым и, кого признают виновным, пусть определяют примерное наказание. Если обвинят его, то он смиренно покорится решению такого сильного и славного по составу «адагосса».

Он замолк... Все оставались немые под влиянием витийства хитрого, умного и бойкого на слово шейха. Магомед Багарсуков, разъяренный, униженный как изменник, начал свою защиту но слова его не нашли и тени сочувствия у земляков. За ним выступил с речью Салай, но и его преданная, умная и дельная защита была заглушена криком со стороны лиц преданных Магомед-Амину.

Багарсуков и Салай были поставлены между двумя страшными крайностями...

Видя все это, Магомед-Амин обратился к собранию и сказал: «Я думаю, вам известно теперь, зачем я вас призвал? Выбирайте между мной и Багарсуковым... Да, это печальная и ужасная крайность, но она необходима для блага всех нас правоверных».

Поднялся шумный спор и крик. Всякий желал заявить себя; хаос был во всем разгаре, так что не один уже мелькнул кинжал, как более убедительный аргумент в споре. В это время уздень Магомед-Махош подошел к Багарсукову и принуждал его сдаться, на что князь отвечал ударом Махоша в лицо кулаком.

В то же мгновение кто-то выстрелил из пистолета: пуля впиалась в бок князя, и он упал смертельно раненый, увидев перед собой лицо Магомед-Амина.

Князь Магомед Багарсуков умер на следующий день...

Шейх-эмир Магомед-Амин не замедлял ударов против своих прямых врагов; непобедимый и неотразимый, он, со смертью Багарсукова, достиг своей цели — единовластия в горах правого крыла, и из наиба имама Шамиля сам стал народным предводителем.

Аполлон Шпаковский.

Текст воспроизведен по изданию: Записки старого казака // Военный сборник, № 6. 1872

© текст - Шпаковский А. 1872

© сетевая версия - Thietmar. 2009

© OCR - Over. 2009

© дизайн - Войтехович А. 2001

© Военный сборник. 1872

ШПАКОВСКИЙ А.

ЗАПИСКИ СТАРОГО КАЗАКА

XXXI.

(См. «Военный Сборник» 1871 г. №№ 4, 8 и 11, и 1872 г. №№ 3 и 6.)

ПРИКАЗНЫЙ ВЛАСОВ.

С рассветом ясного осеннего дня 1852 года, выслана была за дровами колонна жителей станицы Лабинской. Рубка леса и нагрузка подвод были кончены при закате солнца; колонна благополучно добралась в сумерки до станицы. Во время рубки, выставленными пикетами не было замечено ничего предвещавшего близость хищников, а потому и не принималось особых мер предосторожности.

Начальник колонны, поручик Ставропольского егерского полка Р-н, хотя и немец, полагаясь на наше русское «авось» «сойдет», не послал разъездов за реку Лабу — оплошность непростительная на рубеже неприятеля, и такого неприятеля, как горцы; но «авось» и «сойдет» всегда и везде так присущи нашей беспечной натуре, что даже самые горькие опыты не убеждают нас, а остаются только в памяти как случайности, а не как неминуемые последствия. И это-то «авось» было причиной, что четыре внутренне-служащие казака, да отставной приказный № 2-го конного Лабинского полка, Власов (По войсковому положению, казаки у нас делились на малолетков от 17-20 лет, которые назывались «сиденочными», после чего они поступали в списки строевых; затем, прослужив в строю 25 лет, отпускались на внутреннюю службу, сроком на пять лет, и тогда уже увольнялись в чистую отставку. В период же службы, для поправки хозяйства, казаки по временам увольнялись от всех служебных обязанностей. Это называлось «льготой»), отстали от колонны и поехали на реку Лабу, чтобы повытрясти вентери (они делаются из ивовых прутьев, на обручах, с небольшим отверстием для входа рыбы, и состоят из нескольких отделений); лов был изобилен; саквы и мешки были битком набиты, и рыбаки пустились в обратный путь, громко разговаривая о будущих барышах... Горцы выросли как из земли и отрезали им дорогу к станице.

Серебряный рог луны выплыл из-за набежавшей тучки. Густой туман опускался на равнину и на реку. Воздух, напитанный благоуханием, был тих и отрадно струился прохладой. На горизонте темнело; звезды ярко мелькали чудесным блеском.

Озадаченные встречей, казаки успели, однако, спешиться и набросить через седла винтовки, кроме одного новичка, полтавского переселенца, который, понадеясь на коня, вздумал «втукать» [340] (утекать), но не отскакал он и сотни шагов, как был убит с конем. Горцы окружили казаков, осыпая их пулями, однако не решались еще броситься в шашки. Встречаемые редкими, но верными выстрелами, они держались поодаль, и только самые задорные джигиты кидались вперед очертя голову, разумеется платя за то жизнью или раной. Видя безуспешность блокады, горцы решились, наконец, сделать залп и броситься в шашки. Расчет был неверен, время пропущено. По тревоге, дежурная сотня неслась уже из станицы на выстрелы; хищники, уже спешившиеся, устремились к коням и в суматохе пустились на уход к лесу, не теряя еще надежды смять по дороге отрезанных казаков. Власов ободрил товарищей коротким, но сильным словом, сказанным вовремя; с гиком и выстрелами, перескакнув через трупы убитых лошадей, ринулись они навстречу скакавшей им партии горцев, человек в тридцать пять или сорок, прорвались через нее,

ловко работая прикладом и шашкой, и упали в изнеможении от ран уже в рядах своих избавителей.

Горцы потеряли десять человек убитыми, оставя их тела, да более пятнадцати коней, и только наступившая темь спасла остальных от преследования казачьих резервов, выскакавших на тревогу. Долго потом в горах рассказывали, как отбивались и прорвались казаки; горцам с трудом верилось, чтобы так молодецки можно было отделаться от врага, несмотря на многочисленные раны. Власов, получивший в этой схватке девять ран, был награжден знаком отличия военного ордена св. Георгия; товарищи его получили по пятнадцати рублей серебром; семейству же убитого, по особому ходатайству начальника линии В-цкого, одновременно выдано из войсковых сумм сто рублей.

Старик Власов еще жив; он уже давно урядник и не одно трехлетие исполнял должность станичного судьи Лабинской станицы.

XXXII.

ТИПЫ.

В начале моих записок было сказано, из каких элементов составилось население Лабинской линии, слившееся в одно целое и стяжавшее громкую славу храбрых казаков. Считаю нелишним, в дополнение к прежнему, набросать краткий очерк тех типичных личностей, с которыми сталкивала меня судьба, и которые имели непосредственное влияние на сотоварищей-казаков.

В числе их особенно замечательна личность Евстафия Васильевича Скрыплева по своим приключениям и по своему влиянию среди [341] персидских выходцев, водворенных на Лабинской линии в станицах Чамлыкской, Михайловской, Петропавловской и, частью, в Лабинской.

Скрыплев, сын довольно зажиточного помещика Бахмутского уезда (Екатеринославской губернии), начал службу гардемарином в черноморском флоте; впоследствии, быв уже подпоручиком в одном из пехотных полков, участвовавших в персидской кампании 1827 года, он, по причине каких-то столкновений с батальонным командиром, еще юношей бежал в Персию и явился к командовавшему корпусом войск Самсон-хану (некогда штаб-трубачу Нижегородского драгунского полка, бежавшему в начале восьмисотых годов). Красивый и бойкий молодой офицер заинтересовал Самсон-хана, который не только благосклонно принял беглеца, но немедленно отправил его в Тебриз, а отсюда в Тегеран, где Скрыплев был представлен Фетх-Али-шаху, тогдашнему властелину Персии. Шах назначил его состоять при сыне наследника своего Аббас-Мирзы, Наиб-Султане, Магомед-Мирзе. По восшествии Аббаса-Мирзы на престол Ирана, Скрыплеву было поручено сформировать и образовать гвардейский батальон «сарбазов» (телохранителей), род регулярного войска из беглецов и взятых в плен русских, водворившихся в Персии и обзаведшихся семьями. Успешное выполнение этого поручения снискало Скрыплеву полную милость шаха, невзирая на все интриги английских инструкторов: он был назначен командиром «сарбазов», с чином «сарганги», т.е. полковника, и из беков возведен в сан хана. За отличие в делах с туркменами, куртинами, курдами и другими кочевыми племенами, был награжден не только всеми степенями ордена «льва и солнца», но и званием «беглер-бея» (правителя области). Романическая женитьба на молочной сестре наследника престола, дочери Самсон-хана, сильно повлиявшего на шаха, поставила Скрыплева в высокое положение; он уже не страшился интриг, но шел им наперекор и

открыто ссорился с английскими и других наций агентами, образователями персидских войск. Эти ссоры порождали, впрочем, преоригинальные случаи; он был несколько раз разжалываем до чина «султана», т.е. капитана, который персидская политика не позволяла себе снимать с русского офицера, что однако, не мешало Скрыплеву по нескольку дней сидеть прикованным к цепи. После каждой такой невзгоды, он опять являлся в новой силе, осыпанный милостями.

Покойному императору Николаю Павловичу угодно было изъявить [342] желание наследнику престола (нынешнему шаху) Наср-эддин-мирзе, чтобы все русские были возвращены, и дать знать, что все прошлое будет им прощено. Желание государя было исполнено новым шахом: Скрыпалев играл главную роль в этом деле, так что посланный главнокомандующим кавказским корпусом, бароном Розеном, адъютант его, Альбрант, нашел в Скрыплеве самого ревностного деятеля в выводе из Персии до шести тысяч русских, с их семействами. За такие заслуги, Скрыплев, с чином сотника, был зачислен в наше кавказское линейное казачье войско, а впоследствии, при занятии Лабинской линии, вместе с выходцами, водворился на ней и был назначен станичным атаманом Чамлыкской станицы; вскоре, потом он был произведен, за отличие в делах с горцами, в есаулы. После стольких приключений, этот руссо-персиянин сильно и непосредственно влиял на умы бывших своих «сарбазов», из которых большая часть не умела даже говорить по-русски, особенно молодежь, почему его назначили, сверх атаманства, еще старшиною всех выходцев, водворенных на линии. Я знал Скрыплева уже хилым человеком, лет пятидесяти; зрение его было плохо от персидского образа жизни — харема и от «хны» (краска минеральная и растительная), которой он сурмил брови и ресницы; но светлый ум заменял зрение, невзирая на всю полуперсидскую натуру и обстановку.

Мы все вообще любили Скрыплева за его радушие и патриархальное гостеприимство. Как-то мне пришлось, в одну из частых моих поездок по линии, захватить к Скрыплеву во время обеда; он угостил меня котлетами, приготовленными по-персидски, на рициновом (касторовом) масле, и, как я ни был голоден, однако едва мог проглотить несколько кусков. С этой поры он уже никого, кроме своих сарбазов, не угощал гастрономическими блюдами Ирана. Жена его, Марья Самсоновна (по матери армянка, грегорианского исповедания), была добрейшее и, по восточному, самое раболепное существо. Не было на нашей линии ни одного офицера, который бы не отозвался с самой задушевной похвалой об этой радушной семье, всегда готовой принять, угостить и одолжить иногда выше своих средств.

Одряхлел Скрыплев, но не утратил ни своей оригинальности, ни прежнего влияния на своих «сарбазов». Он уже не мог, участвовать в наших набегах за Лабу; тем не менее одно его слово было непреложным законом для наших персо-казаков: [343] стоило только сказать: «вот я пожалуюсь сарганьгу» — и каждый лез в огонь и воду.

Из множества анекдотов, чтобы хотя несколько выставить рельефнее эту своеобразную личность, расскажу следующий. Начальник правого фланга, генерал Ковалевский, собрал в Прочно-окопской станице несколько сотен казаков из закубанских бригад, при дивизионе № 13-го казачьей конной батареи, с целью набега за Лабу. Не дав знать о том на линию, он, поздно вечером, прибыл в станицу Чамлыкскую и потребовал начальника станицы (генерал был человек образованный, но привык не стесняться в выражениях, употребляя зачастую чисто-народные эпитеты). Скрыплев, являсь по службе, ждал приказаний; генерал, поговорив о посторонних предметах, вдруг, обратясь к нему, сказал: «а что, старина, дашь мне сена?» — «С удовольствием, ваше превосходительство; я сейчас велю привезти воза два-три». «Как, два-три воза, когда у меня девять сотен казаков и дивизион артиллерии?» — «Да, в. п-во, больше не дам, да и это сено даю из моего

собственного, для ваших только лошадей, а отряду не дам ни клочка; моя станица не трактовая для сбора войск, — а потому в ней нет для них ни фуража, ни провианта; войскового же я не вправе дать, потому что раз я уже рискнул это сделать, и поплатился, сверх кармана, строгим выговором. В. п-ву, как начальнику фланга, подчинены все строевые войска линии, но собственность жителей, их запасы общественные, принадлежат бригаде и, без разрешения ее хозяина, бригадного командира Волкова, я ничего не могу сделать.

— Так ты казакам не дашь сена?

— Не дам ни за какие блага.

— Так убирайся же!..»

Скрыплев, отступив на несколько шагов, сложил по восточному руки на груди, поклонился в пояс и отвечал: «Ваше превосходительство! тридцать слишком лет служил я двум моим государям и трем персидским шахам, но до сей поры не случилось еще мне слышать таких слов...» Поклонясь вторично, он вышел и впоследствии не являлся генералу, посылая с рапортом станичного судью (Состав станичного управления заключался в пяти лицах, избираемых обществом и утверждавшихся в должности наказным атаманом войска, а именно: начальник станицы, т.е. атаман, два судьи, эконоом и станичный писарь. Они избирались на три года из среды офицеров, урядников и почетных казаков.). [344]

Совершенная потеря зрения и та существенная польза, принесенная при начале водворения «сарбазов-тезиков» (солдат-выходцев Персии), были лучшими ходатаями: Скрыплев, награжденный чином майора и полным пенсионом, уволен в отставку с исключением из войскового сословия.

В начале шестидесятых годов, я видался еще со старым сослуживцем на Лабе; он более и более хирел и, видимо, тяготился жизнью. Прошлое оживало в его памяти все яснее и светлее; его величие в Персии, в контраст с действительностью, сильно повлияло на расстроенный организм: он сделался брюзгой, и так и переселился в вечность.

Есаул Яков Захарьевич Асташек личность загадочная. Из его послужного списка видно, что он еще в восьмисотых годах из поручиков «бессмертного» гусарского полка был разжалован за завербовку в гусары соборного протодьякона и за резкие ответы не только начальнику губернии, но и архиерею, которому он сделал подобное же предложение. Вскоре потом он все милостивейше был прощен.

Вербунец его был впоследствии отчаянным партизаном, командовал гусарским полком, и стяжал славу храбрейшего в кампанию 1812 года. Полковник К-ин, сохранивший искреннюю дружбу к своему старому вербовщику, постоянно переписывался с ним. Асташек, до поступления вместе с малороссийскими казаками, после польской кампании 1832 года, в состав нашего войска, как бы стушевываясь на жизненной арене... Из его дружбы и частых сношений с черноморскими соседями-казаками, остатками Запорожья, и из их взаимных отношений, вырывавшихся случайно в резкой, лаконической речи старых сечевиков, оказывалось, что он еще до 1775 года был куренным атаманом в славной Запорожской Сече. Всего же более удивляло в Якове Захарьевиче толковое знание и понимание языков: латинского, греческого, турецкого, французского, немецкого,

английского и итальянского; вообще его научные знания проглядывали сквозь грубую оболочку завязтого «хохла», которою он прикрывался, как щитом от докучных расспросов. Он умер, как жил, впереди своей сотни, пробитый пулей в грудь навывлет, во время отражения набега горцев на станицу Лабинскую. По смерти старого холостяка, нашли в его доме кучи изорванных бумаг на разных языках, много томов древних классиков и почти целую печь бумажного [345] пепла. При вскрытии же его духовного завещания, оказалось, что он все свое имущество и деньги, тысяч более десяти, назначил раздать бедным казакам, своим и черноморцам. При опускании в могилу смертных останков усопшего, не по одной седой бороде скатилась непривычная гостья—слеза. Покойника почти все любили и уважали, а его отвага и бешеная храбрость не по годам заставляли молчать зависть.

Мир праху твоему, странный, непонятный, но лихой казак!.. Вровень ему по удали, и почти ровесник по годам боевой жизни, но совершенный контраст во всем остальном, был у нас старый Голиаф, есаул Петр Павлович Лобода, оставивший войску на память по старому казачеству четверых завязтых вояков-сыновей, наследовавших всю удаль «батьки». Еще при жизни «старого» двое старшие были уже офицерами.

И много, много было у нас на линии разного люду, хорошо еще помнившего время и службу при Екатерине II.

Если на передовой, новой, линии было много замечательных типичных личностей, водворившихся из старых станиц, то в этих последних их оставалось, конечно, во сто раз более. Так как мои записки не биографический очерк, а только рассказ о былом, и по преимуществу из боевой жизни, то, не вдаваясь в биографические подробности, упомяну мимоходом о Бабалыковых, Янковых, Жуковых, Рассветаевых, Братковых, Капустиных, Кравцовых, Есауловых, Федюшкиных, Скляровых, Комковых, Ильиных, Предимировых, Алпатовых... Нашлось бы что порассказать, но это была бы дань и лепта только некоторым отдельным личностям, а они слишком популярны в войске, и своими заслугами, и своим влиянием на новое поколение. Потому ограничусь двумя очерками лиц, которые хотя стоят на низшей ступени войсковой иерархии, но могли бы занять высокое положение, если бы не злодейка-судьба, неловко подштутившая над ними.

Это урядник Семен Жаркелов Атарщикова, житель Наурской станицы, Моздокского полка, и казак Епифан Сехин, Кизлярского полка, станицы Старогладовской. Два друга и товарища по службе еще при Алексее Петровиче Ермолове, они были при нем словесными переводчиками; о них у нас говорили, что быть на левом фланге в притерских станицах и не знать двух друзей тоже, что быть в Риме и не видеть папы. За свои «деясы» они не по разу прогуливались по зеленой улице, т.е. сквозь строй, и головы их [346] бывали в петле виселицы; но Ермолов, ценя заслуги, прощал; а они свои головы выручили, привезя из гор головы в то время отчаянных разбойников Бей-Булата и Камбулата-Хамурзина. Епишка Сехин вполне обрисован в записках «Охота на Кавказе», графа Толстого... Всегда с балалайкой, всегда с песней и прибауткой, он каждое утро делал обход по офицерам, и первое его слово было: «а что, добрый человек, пора Епифану Ивановичу косманчика», т.е. водки. Обычная эта речь не изменялась ни в первом, ни в последнем доме.

Все угощали Сехина, за что он отплачивал на охоте за кабаном или медведем. Охота была его коньком, и он мастерски управлял ею, являясь всегда там, где более опасности, с верной выручкой. Он восторженно любил двух братьев графов М. и Н. Толстых,

служивших в пешей батарее, расположенной в Старогладовке, да инженера Ф.Ф. Рейнбота.

Епишка остался без потомства; Атарщиков, украшенный георгиевским крестом и медалью на шее «за храбрость», на георгиевской ленте, в числе сыновей оставил войску генерал-майора, бывшего на службе в собственном конвое Государя Императора. Молодое поколение, жадно слушая былины отчаянных подвигов ими рассказываемых, которым свидетели были на лицо, ценило их заслуги и добродушно прощало недостатки. Отвага и удаль Сехина и Атарщикова, как завет глубоко запавший в душу, вызывали молодежь на молодецкие дела; они очертя голову бросались на грозную опасность, подобно своим дедам и отцам, и много совершено было ими славных подвигов и сообщая, и в одиночку.

XXXIII.

НАБИС-ОЛСУН.

(Фатализм ислама в коране гласит: «набис-олсун!» «да совершится судьба!» Это изречение корана, повторяемое не в одной его суре, т.е. главе, подтверждает, что предопределенного аллахом при самом рождении каждому человеку ни отворотить, ни избежать нельзя, что оно непреложно должно совершиться. И предопределенное так неизбежно, как невозможно смертному в этой жизни узнать сотое имя аллаха.)

Перед праздником Рождества, летучий отряд быстро возвращался на линию.

Холодно; небо ясно; солнце подымалось все выше и выше из-за вершин векового леса Черных гор, золотя горизонт и бросая косвенные лучи на обширные равнины, покрытые снегом и инеем.

Чудная кавказская природа являет во всякое время года очаровательные картины. Даже суровая зима имеет дивную [347] своеобразную прелесть. Блестящий снег часто превращает горы и долины в мраморные пейзажи. Среди этой метаморфозы, запоздалый «на разведке» джигит-горец, или казак-пластун, возвращается домой; конь его, папаха и бурка, покрытые снегом, холодят путника; в мыслях его светится вдали отрядный огонек родного очага близ Белой или за Лабой, в ауле или в станице. Огонь манит к себе ярким светом, а дым, выходящий густыми клубами из трубы, показывает, что ждут путника в родной семье.

Но увидит ли он свою семью?

Зачастую пустынная сцена оживляется; эхо повторяет выстрелы, гик охотников за вражьей кровью и лай собак-ищеек, напавших на свежую сакму врага. Испуганный как лань он выскакивает из чащи, несется с трепетом через поляну и исчезает в противоположном лесу. За ним мчатся чуткие псы и их хозяева; все они летят с быстротою вихря и также теряются в лесу, куда скрылся беглец...

На обширных равнинах, покрытых зарослями, и среди горных ущелий опять воцаряется мертвое молчание, прерываемое только однообразным завыванием совы, да воем шакала.

Такие картины нередко встречались за Лабой, на всем том пространстве, где жили горцы. Но это отдельные эпизоды из повседневной, будничной жизни на передовой линии. Ту же самую пустынную тишину часто тревожили летучие отряды, несшиеся как тени в ночной туманной мгле. Вот они быстро исчезают, переходя равнину, едва оставляя на ней след; с

ними мчатся рука об руку смерть и истребление... За этим призрачным явлением наступает грозная действительность: вставшее из-за гор солнце кротко озаряет картину гибели. Там далеко, далеко, эхо перекатом, словно злой горный дух, грохочет и повторяет, замирая вдали, выстрелы орудий, ружейную частую дробь, слившуюся с победным криком, отчаянной мольбой и проклятьем...

Летучий отряд, в составе восьми сотен казаков, четырех конных орудий № 13 казачьей батареи, при восьми конно-ракетных станках, под командой начальника правого фланга, генерала Евдокимова, перейдя проток Малой Лабы, остановился на растах. Внезапный, быстрый набег на аул, хутора и коши князя Магомед Херписова вполне удался; добычи и пленных захвачено много, что вызывало веселый гул говора отряда, державшего путь по снежному ковру раздольной долины, стлавшейся к Лабе.

Аул князя Херписова исчезал летом в деревьях, как [348] гнездо в зелени; зимою, теряя свой зеленый плащ, он открывался издали.

Замерзшая речка Агиш, освещенная полной луной и первым проблеском зари, выдавалась серебряной лентой с двойным светом; на противоположном берегу виднелись сакли, то скучившиеся как стадо баранов, то разбросанные неправильными линиями вдоль речки, или лепившиеся, будто гнезда ласточек, по исполинским уступам каменной гряды, по ущельям которых валил и кишил густой серый туман, охваченный, как оковами, холодным утренником. Стая диких голубей вилась над аулом; дым, лениво выходя из труб, густым слоем вздымался в морозной атмосфере; стада тянулись, понуря головы, к кошам; огромный арбяной воз с сеном медленно тащился вслед за ними. Животные и люди спешили избавиться от ночного холода и согреться живительными лучами восходящего солнца, которое величаво поднималось полным диском из-за горной гряды.

Закрытый уступами шиферных скал и лесной трущобой, в могильной тишине стоял отряд, ожидая сигнала к нападению... Далеко еще до зари, четыре сотни и все станки ракетной команды, обскакав, за горными вершинами, аул, хутора и коши, отрезали всякую возможность к спасению через побег в горы и в трущобы черного хребта, теперь белевшего снежным саваном на темно-голубом фоне безоблачного звездного неба. Тихо переданы приказания генерала о движении вперед; части войск, назначенные для нападения на аул, без шума тронулись из засады. Едва головная колонна выдвинулась из-за скал на равнину к берегу, сигнальная ракета взвилась... Дивизион артиллерии, маскируемый сотнями, развернул фронт и подскочил к речке в карьер. По команде своего батарейного командира, войскового старшины А.Д. Есакова, орудия повернули налево кругом, прислуга слетала с коней к лафетным станинам, коноводы с передками поскакали к зарядным ящикам. Раздался первый выстрел... Дым орудийного огня задернул завесой дивизион, и, постоянно увеличиваясь вследствие очередного орудийного огня, повис сизой тучей и закрыл берег. В это-то время две спешенные сотни ворвались в загоравшийся аул... и пошла обычная потеха: выстрелы, отчаянная резня и рубка с плеча. Стоны, крики, мольбы о пощаде, свист и треск пожарного вихря слились в дикий, страшный хаос, способный потрясти самую грубую натуру.

Наблюдая, по приказанию генерала, с пятидесятью казаками [349] дежурства за отступлением буквально навьюченных добычей казаков, я случайно и совершенно невольно обратил внимание на донца, приказного Кузнецова (одного из десяти казаков в составе дежурства начальника линии). Он то припустит коня, уклоня пику наперевес, то возьмет ее на ланец, или осадя разом лошадь, старался, во всю длину пики, концом копья достать какой-то предмет, по-видимому ускользавший от него за отвесным уступом огромной скалы, высившимся на несколько футов над его головой. Это заняло меня. Я

знал Кузнецова за сорви-голову и лихого казака, и потому, не рассуждая долго, пустил коня во все повода с целью помочь в его неудаче, и, обогнув уступ, как раз наткнулся на сцену. Кузнецов летел в карьер, подымаясь по откосу прямо на площадку уступа: он был в нескольких десятках шагов от горской девушки, упавшей в ужасе на колена с поднятыми вверх руками, как бы прося невидимой защиты от верной смерти. Безотчетная жалость вмиг охватила все мое существо; сильно осаженный конь, поднявшись на дыбы, сел назад, как раз перед несчастной беглянкой. Этим движением мне удалось вовремя остановить донца, скакавшего прямо в разрез.

Черты лица горянки, одетой в одну канаусовую рубашку и такие же «гушлек» (женские шаровары), с ожерельем на шее, с золотыми «туакуша-рильт» (серьги) в ушах, с «аух» (браслет) на руке, и, притом, с босыми окровавленными ногами, поразили не только меня, но и донца: они сохранили идеальную прелесть, как бы в доказательство, что и самый ужас смерти не может стереть благородную печать, которую природа кладет на лица своих избранных. Девушке было не более пятнадцати лет. Продолговатое ее лицо отличалось нежной белизной. Густые длинные ресницы до половины прикрывали ее синие глаза. Пух молодости украшал круглые, с выступавшим румянцем, щеки. Пурпуровый ротик шептал молитву; тонкий орлиный нос и подбородок с ямочкой обрисовывались изящными линиями. Светло-каштановые волосы, спускаясь на щеки, вились за ушами и исчезали под белой чадрой (покрывало), которою были обвиты голова и стан красавицы. Невзирая на дезабилье и чадру, легко было заметить ее стройную талию, античные руки и ноги.

Эта немая сцена живой картины, в которой мы с донцем играли незавидную роль представителей «джегенема», т.е. адских джентельменов, если бы была передана кистью художника полотну, наверное поселила бы у многих личностей ненависть к войне. [350]

Первый опомнился Кузнецов: «Ваше благородие! черт возьми эту девку с ее монатками! я не смогу ее загубить, у меня все нутро перевернулось, так ее жаль... Не сгубите и вы ее»...

— Вот дурень! Зачем таких красавиц убивать: отведи ее в отряд к пленным. Оставить ее здесь не годится... Ты знаешь, наши еще не все вернулись с кошей.

Сказав слово утешения красавице, я поворотил коня к своим, отошедшим от аула уже более версты.

Донец слез с коня, бережно посадил бедняжку впереди себя, и на полных рысях скрылся за углом уступа.

Через час времени, отряд, перейдя по льду Агиш, приостановился, чтобы поверить все ли собрались, перевязать раненых и затем выстроиться в походный боевой порядок к отступлению. Надобно было ожидать преследования горцев, а у нас было около сотни пленного обою пола и всякого возраста, да более двух тысяч баранты и до тысячи голов рогатого скота и коней; пехоты же ни солдата, чтобы занять по пути лежащие частые перелески да заросли пересеченной местности, и выбраться на открытые равнины к Лабенку (Малая-Лаба, или Лабенок, рукав отделившийся далеко от самой Лабы.).

Практичный, боевой расчет генерала Евдокимова оказался верен: целые легионы горцев стекались отовсюду, массами и в одиночку; они бешено бросались со всех сторон на быстро-отступавший отряд, но, одушевленные удачей набега, обремененные богатой добычей, казаки смело подвигались вперед, отчаянно отбиваясь на каждом шагу. Так мы прошли верст девять или десять. Оставалась за отрогой одна последняя балка, покрытая

зарослями, а за ней стлалась скатом великолепная равнина Лабенка, вплоть до высот речек Кунактау и Дженоко.

Горцы, зная хорошо эту равнину, где им не удалась бы никакая бешеная атака, пустились обгонять отряд, чтобы занять последнее ущелье, между крайней отрогой спуска, служащее единственной дорогой в глубокую и более версты тянущуюся балку, усеянную камнями, зарослями и камышом.

Вмиг две сотни, с четырьмя ракетными станками и взводом артиллерии, отделились от отряда и понеслись в карьер, и, благодаря скорости исполнения этого ловкого маневра генерала Евдокимова начальником линии В-цким, успели занять проход прежде всей массы горцев. Незначительная часть их уже металась, как угорелые, по зарослям, но после трех-четырёх картечных [351] выстрелов и нескольких ракет они очистили балку; главная же толпа джигитов, попав между двух огней, отхлынула, и весь наш отряд прошел грозное ущелье и балку с самой ничтожной потерей в арьергарде от неприятеля, сильно напиравшего сплошными кучами и отбрасываемого картечью, которая очищала свой полет целыми улицами устланными трупами. Выйдя к равнине, отряд сделал растах. Вне области орудийного выстрела, группы горцев то съезжавшихся, то разъезжавшихся или стоявших кучами, были картинны на снежной поляне, освещенной розоватым отсветом солнца, стоявшего над грозными уступами скал. Место, где остановился отряд, принадлежало к самым живописным пейзажам на Лабенке.

Дорога, прорытая колесом арбы в подножии одинокой, огромной скалы, то поднималась, то опускалась и, идя извилинами вдаль, терялась в долине. По окраинам дороги, усеянной лозами дикого виноградника и кустов терновника, напудренных снегом и инеем, не успевшим растаять от лучей зимнего солнца, благодаря защите скалы, лежали большие камни причудливых форм. Дальше высились вершины, которые вдруг как будто раздвигались, образуя роскошную долину. Через нее можно было видеть далеко леса и Черные Горы, главный хребет, и голубую даль, теряющуюся на небосклоне.

С другой стороны, потоки, прорывая себе русло посреди скалистых обрывов, уносились в долины, покрытые купами кустов дикой розы, или доходили до другой цепи возвышенностей и устилали их богатым белоснежным ковром.

Солнце ярко горело на голубом небе и освещало разнообразные тени окрестных предметов. Хотя была оттепель, однако пурпуровая полоса на горизонте означала, что атмосфера посвежела и образовались уже предвечерние туманы.

Находясь на возвышении, мы могли далеко осмотреть окрестность, покоившуюся зимним сном; но никто, кажется, не обращал особенного внимания на великолепную природу, а всякий усердно хлопотал то около коня, то около костра, готовя пищу.

Генерал приказал переписать пленных и накормить их. Это была прямая моя обязанность, а потому, распорядясь на счет пищи я начал перепись. Красавица-горянка оказалась дочерью князя Магомед Херписова (Князь Херписов принадлежал к кабардинскому племени. Часть кабардинцев, несогласившихся на мирные предложения при занятии Кабарды русскими войсками, еще в начале настоящего столетия переселилась за Кубань (об этом есть официальная переписка в военно-ученом архиве главного штаба), и потому их, в отличие от притерских, называли «беглыми кабардинцами»). Ее звали «Задет», что в переводе [352] значит «милая знакомка». Отец ее и два брата погибли смертью храбрых в неравном бою, во время разгрома аула. Казаки не пощадили и старуху-мать, разрубая ей

голову в глазах дочери. Обезумевшая от страха, бедная сирота сама не понимала и не знала, как очутилась за аулом, где едва не поплатилась жизнью от пики Кузнецова.

После трехчасового отдыха отряд двинулся на линию. Женщин и детей разместили где только было можно посадить, не исключая и лафетных станин.

Мороз крепчал с часу на час. Серебряный серп месяца был окружен матовым кольцом; на небе ни облачка; только снежная равнина блестела мириадами искорок, да звездный небосклон осенял пустыню. Давно уже горцы бросили бесполезные попытки преследования и мы подошли к Лабе нетревожимые ни одним выстрелом. Через час мы были в нашей Лабинской. Пленных поместили на станичном казачьем резерве, отделив мужчин от женщин и детей. Помещение было до крайности тесно, так что в комнате в три квадратных сажени, и притом с огромной русской печью, набралось тридцать женщин и более пятнадцати разного возраста детей. Пятьдесят горцев буквально были скучены в караульной комнатке резерва, так что караул расположился в сенях или под конюшненным сараем, вместе с лошадьми.

На утро больных и раненых перевели в бригадный лазарет; но все еще помещение было тесно и воздух заразителен, чему немало способствовала обычная горская неряшливость, доходящая до неописанной мерзости.

Через несколько дней стали приезжать из гор родственники и кунаки пленных и началась «сатовка», т.е. обмен пленников; но никто не являлся и не справлялся о дочери князя Херписова. Так прошли урочные четыре месяца; две трети пленников опять были в родных горах, и лишь бедная красавица-сиротка грустила в злой неволе. По распоряжению наместника князя Воронцова, попавшиеся в плен горцы и их семейства, если в течение четырех месяцев не были выкупаемы или разменены на наших пленных, отправлялись в землю Войска Донского и там их водворяли в так называемых «черкесских станицах». Эта [353] грустная доля ожидала и красавицу Задет в том случае, если бы она не приняла христианства, с которым ей давались и гражданские права, и полная свобода по достижении совершеннолетия.

По обязанности службы нередко посещая пленников, как то особенно становилось грустно при виде сироты, брошенной далеко не бедной родней: девушка всегда была тиха, безнадежно-грустна, слепо покорялась своей горькой участи, без веры, без надежды и упования в будущем... Одна старушка, наша казачка, посещая пленниц и принося подаяния, особенно сожалела красавицу и частенько советовала ей креститься, объясняя, как могла, ожидавшую ее будущность и перемену участи. Должно быть, девушка-горянка долго колебалась, но видя, что нет надежды на родных и друзей отца, быв свидетельницей отправки нескольких семейств на Дон, решила быть христианкою, и просила дежурного урядника послать за мной. Как теперь помню, это было в конце апреля, перед вечером чудного, великолепного дня. Я пришел к сиротке. Она была еще грустнее, еще бледнее и только по временам появлялся на щеках болезненный румянец, да ярче загорались дивные глаза, или туманились горячей слезой во время нашего разговора. Передам часть его насколько припомню:

— Ты, Задет, присылала за мной? Чего ты хочешь? Между прочим, чтобы не забыть, скажу, что через несколько дней тебя и всех остальных пленных отправят на Дон.

— О! нет! зачем меня отправлять туда! Мне говорила старушка, что если я буду христианкой, то буду свободна и меня не пошлют далеко, далеко. Родные меня бросили,

так и я не хочу их знать, буду жить здесь, чтобы видеть свои горы... Скажи, Паллон, что нужно делать, чтобы так было?»

— «Надо, как говорила тебе старушка, креститься.

— Так делай же это скорей.

— Хорошо, сейчас я пойду к начальнику линии и скажу ему о твоём желании. Надеюсь, завтра же устроится все, что только будет для тебя к лучшему.

Девушка схватила меня обеими руками за руку и вперила пристальный огненный взор, полный веры и убеждения... Щеки ее пылали; голосом, дрожавшим от сильного волнения, она сказала:

— Са сифась сисох, мох сивась увигар! — т.е. «я тебе верю, верю тебе! О, не обмани меня!»... И слеза скатилась на побледневшую щеку.

— Нет, Задет, я даю тебе слово сделать все, что только [354] может обрадовать тебя. А теперь успокойся... До свиданья, завтра... прощай пока.

Взволнованный неожиданной сценой, я отправился к В-кому и, как видно, с большой энергией и увлечением рассказал ему о желании красавицы Задет принять христианскую веру. Он улыбнулся как-то особенно и предоставил мне полное право заняться этим делом. Мне только того и было нужно.

Придти домой, велеть оседлать коня и взять трех конных вестовых — было делом не часов, а минут. Спустя час времени, я был уже в станице Владимирской (Станица Владимирская, в десяти верстах от Лабинской, водворена на месте бывшего Житомирского поста, расстоянием от реки Лабы в пяти верстах, на самом гребне гряды, идущей к Подольскому посту.), у моей кумы, жены станичного начальника, хорунжего Н-ва.

Хорошенькая, романическая головка моей кумушки принялась живо работать, создавая целый рой фантазий и, кажется, готова была проболтать целую вечность, не говоря ночь, а необходимое-то оставалось на заднем плане. Наконец мы условились о главном, именно: Задет будет у нее жить в качестве подруги; она будет ее учить по-русски и готовить к принятию христианства, под руководством станичного священника. Зная небогатые средства кумушки, я предложил свои, как холостяк, которому немного нужно, распорядился относительно туалета нашей protegee и с веселым сердцем и покойной душой возвратился поздно ночью в Лабинскую.

Наутро надо было видеть немой восторг и благодарные слезы бедной пленницы, когда она села в тарантас, одетая в платье, привезенное мною от неугомонной кукушки. Я сам отвез Задет и сдал ее с рук на руки.

Не буду описывать неопитизма Задет, ее быстрого развития умственных и душевных способностей. Этой щедро наделенной натуре легко было усваивать себе все; но задатки горского воспитания глубоко пустили свои корни, и доброе и злое начала гнездились и боролись в прелестном созданин. Не одолевая одно другого, они проявлялись под первым впечатлением, и увлекали ее, как бешеный конь неопытного ездока, потерявшего стремя и поводья.

Месяца через два Задет была наречена при святом крещении Зинаидой; крестным отцом был начальник линии В-ий, а матерью ее воспитательница и друг Варвара Флорентьевна Н-ва. [355]

Новая христианка, как майская махровая роза, расцвела пышно. О, как она была хороша, как шел к ней наряд смеси полуазиатской с полуевропейским! Она все реже и реже вспоминала свое детство, вольные аулы и горы. Прелести дикой горской жизни потеряли свое обаяние; они являлись пылкому воображению девушки только неясными призраками сонного видения; словом, красавица стала жить новой жизнью — жизнью цивилизующегося ума и доброго сердца.

Редко проходила неделя, чтобы я хотя на час не улучал свободного времени видеть нашу общую любимицу. Привязанность к ней росла не по дням, и было отраднo, и легко на душе, слушая ее наивную болтовню.

Однажды я привез ей подарок В-кого, богатый «бгирибх», пояс с маленьким кинжалом. Восторгу не было конца. Зина не разлучалась с ним. Когда я рассказал В-му об этом и о других ее забавных проделках, он отвечал: «мне кажется, что счастье тех, кого мы любим, нам гораздо отраднее собственного нашего счастья, потому что в наслаждении личным блаженством всегда есть тень эгоизма». Так ли не так, но прошлое, бывшее ожило и согрело зачерствевшее не по летам сердце... Никогда, не только делом, но и в мысли не было желания бесчестно оскорбить это милое, но до крайности безалаберное существо, и я принял твердое намерение расстаться с холостой жизнью. Едва сказал я о том Зине, она бросилась ко мне на шею со словами «набис-олсун», и так поцеловала, что и без того не рыба кровь закипела горячим ключом... Я едва мог совладать с собой и вырваться из дорогих объятий...

С тех пор, как начал себя помнить, я и до сей поры никогда ни в чем и ни у кого не просил совета относительно того, что касалось лично меня. Может быть, это порок, но он так привился к моей натуре, что ни время, ни горький опыт не изменили и не излечили недуга.

Вот почему, не сказав никому, я решился на этот шаг, будучи вполне уверен, что желание мое так же примется от души, как было сделано и предложено.

Нетерпеливая Зина, не видя меня два дня, оделась в подаренный ей полный мужской горский костюм, и, вооружась с ног до головы как на бой, велела оседлать своего «бачу» («Бача» — особая порода лезгинских и тавлинских небольших лошадок, чрезвычайно красивая, быстрая и цепкая в горах Дагестана, как дикая коза. При таких качествах, неоценимых в горах, «хода» или «проезд» бачи особенно плавен и быстр.). Не сказав [356] никому куда и зачем едет, она ранним утром разбудила меня своим входом в спальню во всеоружии. Первым ее словом было:

— Вставай, моя «джаным» (т.е. душа). Теперь ведь я твоя жена и приехала к тебе, чтобы более не жить одной.

Озадачила и обрадовала меня эта эксцентрическая выходка моей нареченной; но я, кажется, ни за что в мире не согласился бы ее оскорбить отсылкой назад. Слово «приличие» в лексиконе Зины не существовало, да небольшое значение и вес имело оно в общем нашем станичном этикете. Зина сейчас же вступила в должность хозяйки, живо распорядясь напоить меня чаем, во время питья которого, по ее просьбе, я послал письмо

к общему нашему другу Варваре Флорентьевне, чтобы приехала сама и привезла все Зинино.

Начальник линии уехал в Ставрополь; на линии и в бригаде было затишье и мы несколько дней жили собственно для себя... Мысленно пробегая теперь былое, невольно скажешь: да, то была лучшая пора в моей жизни, полной превратностей и приключений... Ну, да стоит ли вспоминать то, что кануло в бездну!..

Окружавшие нас обстоятельства так сложились, что мы, проживя вместе более месяца, совсем забыли, что еще необвенчаны: мы оба вполне были уверены, что это непременно должно совершиться. Тем более, что мое намерение было всем известно, и все наши и не наши считали Зину моей женой, окружая ее уважением и относясь к ней как к хозяйке дома. Но не так решила судьба, и к этому то несчастному случаю невольно применишь слова Зины: «набис-олсун» (да совершится судьба!) Предопределение совершилось непреложно, безвозвратно, и коса смерти разрубила гордиев узел, связывавший наше бытие...

Наступил исход августа, а с ним время окончательной уборки посевов, как у нас, так и у горцев. Обыкновенно в это время года, мы и горцы старались нанести друг другу наиболее существенный вред, мешая убираться с полевыми работами, садами и бахчевниками («Бахча», место где растут дыни, арбузы, тыквы, патложаны, бадраджаны и прочая огородная овощ и зелень, что можно видеть и в вашей Малороссии.). С этой целью, начальник Лабинской линии предпринял экспедицию, чтобы тем отвлечь горцев от набегов на линию, дать своим спокойно убираться в полях, и между прочим нанести набегом ощутительный ущерб горскому [357] хозяйству, потоптав посевы, истребив запасы в складах, — словом, как у нас выражались, «прокатить шаром», т.е. уничтожить все то, что можно было уничтожить.

Экспедиционный отряд из двух батальонов Ставропольского и Кубанского егерских полков, девяти сборных сотен линейных и донских казаков, двух сотен кубанской милиции, дивизиона пешей облегченной батареи, двух взводов конных орудий, казачьих № 13-го и 14-го батарей и двух горных единорогов, с шестнадцатью станками конно-ракетной команды правого фланга, вошли в состав отряда (Эти сведения и результат экспедиции хранятся в поданных донесениях в военно-ученом архиве главного штаба, за 1852 год.).

Накануне выступления, все назначенные части войск собрались в станице Лабинской. Отданным приказом по отряду, он должен был выстроиться, перед вечером, в шестом часу, за станицей совсем готовым к движению. Мы отправлялись в экспедицию недели на две погостить непрошеными гостями к соседям, и потому большая часть начальников отдельных частей собрались у меня с вечера. Мы не заметили, как минула светлая ночь. Нам редко приходилось на линии собираться вместе; такие незатейливые дружеские сходки бывали преимущественно во время сбора больших отрядов. Не имея никаких общественных удовольствий, мы, конечно, пользовались всем тем, что попадало под руку, и потому, где собралось общество офицеров, там хор песенников был необходимой принадлежностью. На этот раз мы с истинным удовольствием слушали хоперцев сотника Фисенки. Чистые, мелодичные голоса и мотивы всегда дорогих казачеству малороссийских песен лились отрадно в душу, вызывая ретивое то на грозный бой, стон и жалобу, то на разгульное веселье.

Зина, первый раз слышавшая малороссийские песни, была в каком-то обаянии; особенно ей понравились слова песни:

Ой, ты знав

На що мене брав:

Я не вмию жаты

Наймы мини холобуду

Я буду лежаты!

Згдувала мене маты

Тай намулевала,

Дала мени счастья долю

Щоб я понувала!..

Почему-то Зина применяла эти слова к себе, заучила их и во [358] весь вечер вполголоса напевала, уморительно выговаривая слова на свой лад. И этот вечер, и эти слова до сей поры живут в моей старой памяти...

Настало утро. Воздух был тихий, благоуханный. Густой туман опустился на равнину и на реку. Горы, виденные издали, походили на древние феодальные замки с бойницами и рвами; при занимавшейся заре, почти прозрачные вершины их терялись в желтом отливе горизонта. Нет ничего восхитительнее в природе, как восход солнца, поднимающегося из-за гор желто-красным диском, и разгоняющего вокруг себя агатовые облака. Воздух был так чист, что местами видны были еще звезды. Мы купались долго, пока солнечные лучи не достигли степени нетерпимости, а между тем на берегу Лабы, под кровом густой листвы и древесных кущ, моя молодая хозяйка, напевая занявший ее мотив, готовила нам чай и завтрак.

Бодрые душой и телом, мы возвратились в станицу, чтобы заняться каждый своей обязанностью. Я отправился к начальнику линии. Возвратившись домой, я застал у себя нескольких офицеров, жарко разговаривавших о предстоящем походе. Зина подошла ко мне и начала тормошить меня за плечо. На вопрос: что тебе нужно, «эжаси тана»? (моя дорогая) она сказала:

— Я хочу быть с тобой в отряде.

— Ты, кажется, с ума сошла?

— Нет! прошу тебя, позволь: иначе я умру от страха за тебя. Мне несколько дней снится, что нас разлучает Джабраил (т.е. архангел Гавриил), и всякий раз он уносит меня, грозя тебе своей шашкой. О, тебя убьют! мы не увидимся больше! я это предчувствую! мне такой же сон снился, когда убили отца, мать и братьев... — И град слез хлынул потоком за этими словами.

Чтобы утешить и успокоить дорогое для меня существо, я сказал: «хорошо, Зина, ты можешь быть в отряде и будешь моим нукером». Надо было видеть детский восторг своенравного ребенка. Она всхлопоталась так, что мы без смеха не могли смотреть на ее

сборы и, конечно, каждый из нас хорошо знал, что каприз не будет иметь последствий и останется капризом дома. Но не так случилось.

Еще солнце стояло высоко; отряд, выстроившийся за станицей в боевом порядке, готов был к движению. Вскоре наш молодцеватый начальник линии соколом облетел стройные ряды [359] испытанных в боях молодцов, и, по его команде, отряд, быстро вытянувшись в линию, тронулся в путь.

Так мы отошли от станицы версты две-три вверх по Лабе, в направлении к Ахмыловскому посту.

В это время сверкнул огонь с угловой башни поста и густой дым закрыл завесой батарею. Отгрянув гулом единорожного выстрела, эхо помчалось по Лабе, неся тревожную весть линии.

Быстро отделилась от пехоты и обоза вся кавалерия, с конными орудиями и ракетами, и помчалась стрелой на выстрел. Тревога оказалась фальшивой. Прискакавший с поста донец доложил В-му, что с вышки была замечена значительная партия на реке Ходзе, но что она повернула обратно, вероятно увидав с высот наш отряд. Мы остановились. В-кий приказал спешиться, в ожидании пехоты, двигавшейся за нами верстах в пяти.

Бурки были разостланы в стороне от дороги на ковре богатой кавказской флоры, и мы невольно увлеклись великолепной и необычайной картиной дивного заката солнца. На горизонте поднималась дуга светло-оранжевого цвета и другая золотистая, потом еще одна, светло-золотистого цвета, превращавшаяся в темно-синюю. Посреди этой радуги солнце бросало последние лучи на роскошную природу. На юго-западе рисовались силуэты Черных Гор, облитые фантазмагорическими переливами теней и необычайного света, а за ними снежный хребет рельефно выдавался грядою на ярко-синевшем небе. Человеческий язык слишком беден, чтоб описать гармонию и красоту величественной картины, чудеса которой сменяются быстро одни другими.

После заката солнца, настает тотчас же ночь. На горизонте вдруг является зодиакальный свет; горы одеваются розовым отливом, вода в Лабе принимает лиловый цвет. Через четверть часа феномен исчез, и луна бледным светом озарила окрестность, одевая всю природу в саван.

Прошло около часа, как пехота присоединилась к нам; но мы все еще стояли на одном месте. Не обаятельная картина природы задержала нас, а прискакавший нарочный от начальника фланга. Генерал Евдокимов, одобряя намерение и цель начальника линии, вместе с тем уведомлял, что и он, вслед за нами, выступит из Прочного Окопа, также со значительным отрядом, и направится против центра Лабы на Белую, вниз по ее течению, для той же цели, но он требовал точных дислокационных сведений о войсках, находящихся на линии, с обозначением, где и какая [360] часть расположена, со строевым ее списком. Требуемые сведения были так важны по своей точности для передовой линии и для фланга, что малейшая в них неверность могла не только вовлечь в заблуждение, но и причинить существенный вред. Вот почему прошло более двух часов, пока нарочный поскакал обратно.

Наш сибарит В-кий, всегда любивший окружать себя целой свитой, и на этот раз остался верен привычке. Он взял в отряд целый кагал своих поклонников и в числе их начальника Лабинской станицы, есаула К-ва, личность довольно нелюбимую и исполнявшую должность «мажордома» своего патрона. Большая часть офицеров отряда и мы, штабные,

расположась кружком при свете луны и воткнутых в землю факелов, закусывали во славу аллаха гастрономическими произведениями кухни нашего В-го. Закусив, я, облокотясь на К-ва, как древний римлянин возлежал за трапезой и для сварения желудка велел подать трубку. Мой чубукчи-паша, запорожец, чем-то крепко занялся в обозе. Зина, услышав, что вестовой спрашивал трубку, вздумала услужить мне. Я уже говорил, что у этого капризного ребенка первая мысль, как бы она безалаберна ни была, в тот же момент обращалась в действительность и приводилась в исполнение. Так и теперь случилось: взять у запорожца трубку, закурить и подать мне было делом минуты. Можно себе представить мое удивление, когда, обернувшись взять трубку, я встретился лицом к лицу с проказницей. Я совсем забыл, что сам был виноват, хотя и невольно: разрешение идти в поход я дал с целью только успокоить и отвязаться от баловницы. Я живо вскакнул и проворно увел ее. В-кий, сидевший насупротив меня и не выдавший ни разу в мужском костюме и всеоружии Зины, не узнал ее, был поражен красотой мальчика-казаченка, как он полагал, и спросил меня по моем возвращении: «Откуда вы выкопали такого красавца вестового? он верно еще не в строевых казаках? А вы знаете, как я люблю красивую прислугу — уступите мне казачка, а себе вы опять найдете». Я постарался отделаться шуткой. Этим бы дело и кончилось и присутствие Зины знали бы только в обозе; но услужливый язык К-ва, под влиянием порядочного возлияния даров Бахуса, отрезвонил «самое суть». Нахмурился В-ий и, конечно, имел право сделать мне хотя деликатное, но тем не менее щекотливое замечание. Это меня взорвало. Я назначил трех казаков отконвоировать в станицу проказницу; однако В-ий остановил распоряжение, сказав мне: «Я знаю, что это случилось не [361] потому, чтобы вы так хотели, а необдуманно; рисковать же теперь жизнью и ее, и казаков не дело. Об отряде известно неприятелю, и можно ли ручаться, что за первым кустом не сидит горец? Оставьте мою крестницу в обозе, пусть она едет в моем тарантасе: лучше этого мы с вами ничего не придумаем».

Отряд двинулся к переправе через Лабу. На горизонте все темно; только луна отражается в речных волнах, да звезды ярко мелькают чудесным блеском... Роса падает сильная; туман обвил пеленой окрестность; воздух охладел; все мы дышали свободно, полной грудью, упиваясь ароматом, веявшим с гор и долин.

Не доходя урочища Ханкеты, мы остановились. Команды конных и пеших пластунов отправились на разведки, и, в ожидании их возврата, мы, держа коней в поводу, прилегли. Предрассветный сон смежил глаза не только людей, но и животных; не было слышно ни фыркания, ни ржания коней; все дремало, точно подражало окружающей нас природе.

Разведки оказались более удачными, чем можно было ожидать. В принятом нами направлении, горцы, по-видимому, не ожидали появления отряда, и потому много их целыми семьями ночевали на полях близ Мекензиевского аула.

Первые лучи тихо поднимавшегося солнца озарили отряд во всем грозном его величии. За сожженным аулом, на горских пажитях, травля началась... Встревоженные горцы грозно скликались по вершинам и лесным трущобам, спеша со всех сторон. Нужно было ожидать жаркой схватки.

Где только проходил отряд, роскошные нивы превращались в безобразную массу истоптанной травы или пепла; во всех направлениях мелькали огни, брошенные враждебной рукой на труд человека... И пламя широко стлалось, гонимое ветром, волнуясь и переливаясь, как адская река. Не одни засеянные поля подверглись истребительной силе огня: самая трава, начинавшая блекнуть и усыхать от продолжительной засухи, с треском и свистом несла пламя, то разносимое вихрем огненными островами, то широко стелясь массой раскаленной лавы, бросая кверху

длинные языки и образуя огненные столбы. Густой черный дым вился к облакам. Воздух, пропитанный гарью, давил грудь, ел глаза и, среди еще зеленевших оазисов, вдруг вспыхивал и горел, как свечка, одинокий стог или копна. Стада диких животных, пораженных ужасом, забыв свою природную вражду и хищность, дружно [362] скакали к лесу или к воде. Стаи разнородных птиц, гнездившихся в пажитях и траве, вились с криком в воздухе, жалобно зовя своих птенцов, не смогших улететь и сделавшихся добычей огня. И вся эта горевшая арена оглашалась выстрелами, гиком и проклятием враждующего человечества...

Так канул в вечность памятный горцам день. Вред, нанесенный им, по последствиям был неисправим, и хотя стада и табуны они успели еще при первых выстрелах угнать дальше в горы, но голод был неминуем в такой местности, где никогда и никто не запасался на черный день. Горец вообще живет по нашей пословице, применяя ее к делу, «день да ночь — сутки прочь», а с этим правилом недалеко уедешь на жизненном коне.

Целый день боя с ожесточенным неприятелем, за истребление его насущного существования, был жарок и много наших легло головами. Горцы дрались отчаянно, уступая шаг за шагом силе и превосходству свое достояние.

Вечерело. Отряд остановился среди большой поляны в баговских ущельях близ Белой, катившей перекатом волны, спертые скалами. Быстрая и светлая речка Ярык-су, перерезывая долину, извивалась серебряной змейкой и исчезала в чинаровой роще. В арьергарде гремела артиллерия, ружейный огонь сыпал дробью. Горцы наседали отважно; пехоте пришлось отступать перекатной цепью из гая в гай по частым густым рощам дикой, пересеченной местности. По данному сигналу, арьергард, рота за ротой, выдвигался на открытую местность, но стрелковая кубанская рота штабс-капитана Иванова, залегшая на опушке в густой роще справа от нас и закрытая местностью, не слышала общего сигнала к отступлению. Не желая понапрасну терять людей и длить бесполезную перестрелку, В-ий послал меня с приказанием к Иванову о немедленном отступлении.

Зная по опыту, что снять перекатно-залегшую на окраине пехоту дело далеко не утешительное, потому что приходилось конному быть целью для горцев, занявших опушку по деревьям или залегших за их стволы, за камни и по кустам, надлежало, чтобы не губить напрасно казаков, совершить поездку с одним вестовым. Расчет выходил верен: если убьют или подобьют коня, так останешься пеший, имея цепь впереди; если же эта доля выпадет самому, так пехота принесет брненное тело тихо и осторожно. И, сверх того, стараешься скакать фронтом, чтобы не представлять большой мишени, держась боком к опушке; но [363] не всегда эта мера применима к исполнению: хорошо если наскочишь прямо на офицера или горниста; в противном случае, поневоле поскачешь по перекатной цепи, под градом пуль.

Пересев на свежего заводного коня, я обернулся к дежурству сказав: «эй, кто-нибудь один за мной... И, не оборачиваясь, поскакал к цепи. Случай наткнул меня на Иванова. Передав поспешно приказание под сыпавшимися кругом меня пулями, я, едва круто поворотив коня, хотел дать нагайку и повод, чтобы скакать назад, как раздирающий душу предсмертный вопль знакомого голоса остановил меня.

Бедная, несчастная Зина лежала в густой траве, придавленная своим бачей, бившимся в предсмертных судорогах. Я обезумел от ужаса... Но во мне еще жила надежда, что Зина только ранена и не может встать из-под лошади. Два подползшие егеря помогли мне

освободить Зину. Схватить ее, броситься на коня и помчаться с дорогой ношей было делом мгновения.

В немом отчаянии, опустив на землю несчастную и став на колено, поддерживая дивную головку, я ждал, как преступник, смертного приговора — приговора нашего бригадного медика С-кого, на жизнь и смерть. Отчаяние, надежда быстро сменяли друг друга. Эти минуты, казалось, были целыми веками... Я чувствовал, что рассудок оставляет меня, что моя железная воля сломана как ржавый прут... Долго и внимательно осматривал Зинины раны С-кий... Его африканская физиономия то оживлялась надеждой, то становилась так грустна, что я готов был обнять его, и сам, теряя надежду, утешал его. Впоследствии выяснилось, что наш эскулап сам был далеко равнодушен к обаятельной красоте Зины... Наконец она открыла глаза с тяжелым, судорожно вырвавшимся из груди вздохом, но это были уже не те чудные, пламенные очи — они были туманны и, только встретясь с моими, блеснули радостным огнем. Этот огонь был проблеск смерти: она силилась сказать, звук не выходил из простреленной груди; помертвевшие губки, шевелясь, оставались немые. На миг ожила было у нас обоих надежда, и вслед за тем явилась страшная действительность. Собрав последние силы, Зина приподнялась, схватила меня за руку... слеза скатилась на мраморную щеку... Умиравшая едва слышно прошептала: «олсун», судьба! Мгновенно за этим последним проявлением жизни наступила тихая агония, тело опустилось на мои руки, и душа, с легким вздохом, улетела в свою небесную отчизну... [364]

Долго, и медик, и я, смотрели мы на бездушный труп начинавший холодеть, но надежда еще жила в нас, невзирая на действительность. Подошел В-кий и, взяв меня за руку, увел в свою кибитку. Что он мне говорил, я не слышал, не понимал: мне казалось, что тело мое не имело жизни, что жизнь моя улетела с жизнью Зины. Бессознательно выйдя из кибитки В-кого, я сел у костра. О чем я думал, что чувствовал, передать трудно: являлось только сознание, что жизнь снова разбита, что меня окружает тяжелое одиночество, что оно давит душу всей силой своего гнета. Так прошла ночь. Рассвет озарил смертные останки Зины, по лицу пробежали тени. Дико вскрикнув, я бросился к трупу — он был холоден... Эта действительность, это прикосновение к смерти сохранили мой улетающий рассудок; воля вступила в свои железные права...

Перекаты заревых барабанов и орудийный салют рождению грядущего дня отгрянул в горах, повторенный хором недремлющего эха. Первые лучи солнца, прорезав розовые тучки, осветили вырытую могилу и, на краю ее, завернутый в простыню труп Зины. Отрядный священник совершил обряд; мы зарыли тело в родной ему земле. Казаки, наскоро сколотившие крест, водрузили его над могилой. Это была добровольная дань, знак их безмолвного уважения к усопшей... Такие же два креста были поставлены возле на могильных курганах накануне убитых двадцати семи казаков и солдат.

Отряд поднялся с места ночного бивуака, неся смерть и истребление.

С той минуты, как я зарыл в землю все, что было для меня отрадного в той жизни, какая выпала на мою горькую долю, я не щадил ни своей, ни чужой жизни, и, если был случай, губил не разбирая ни пола, ни возраста, отмщая за потерю мимолетного счастья.

Но время взяло свое: осталось одно грустное воспоминание бывшего, и теперь волнующего старую кровь.

После десяти дней отряд наш вернулся на линию. Он понес хотя и значительную потерю в людях и конях, но существенный вред, нанесенный горцам, был некупим. Слепой случай, или, пожалуй, «предопределение судьбы», жестоко отомстили за невинную смерть Зины.

Аполлон Шпаковский.

Текст воспроизведен по изданию: Записки старого казака // Военный сборник, № 8. 1872

© текст - Шпаковский А. 1872

© сетевая версия - Thietmar. 2009

© OCR - Over. 2009

© дизайн - Войтехович А. 2001

© Военный сборник. 1872